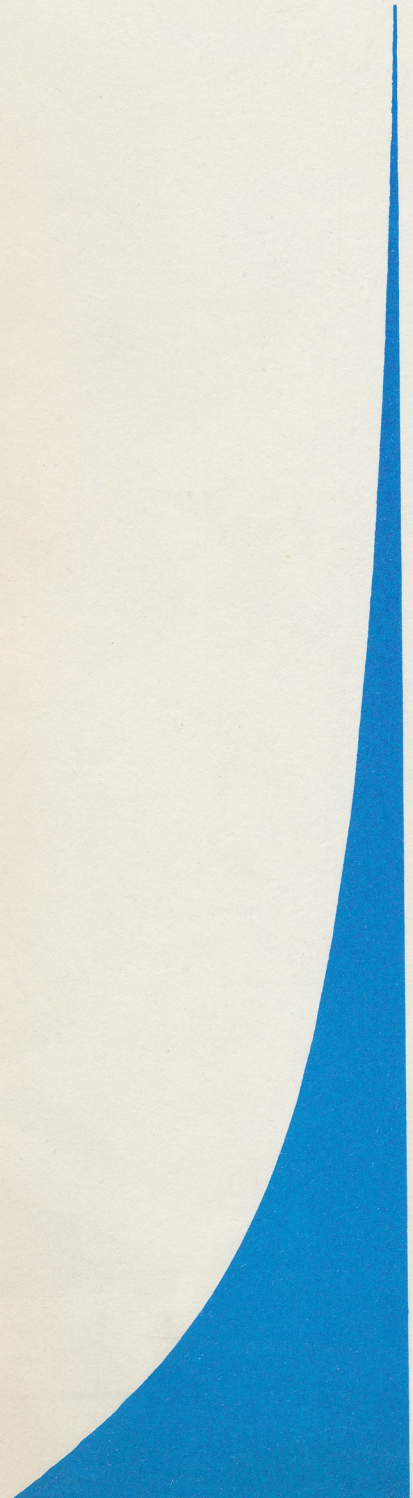
ISSN 0321 — 0677

Волга



4

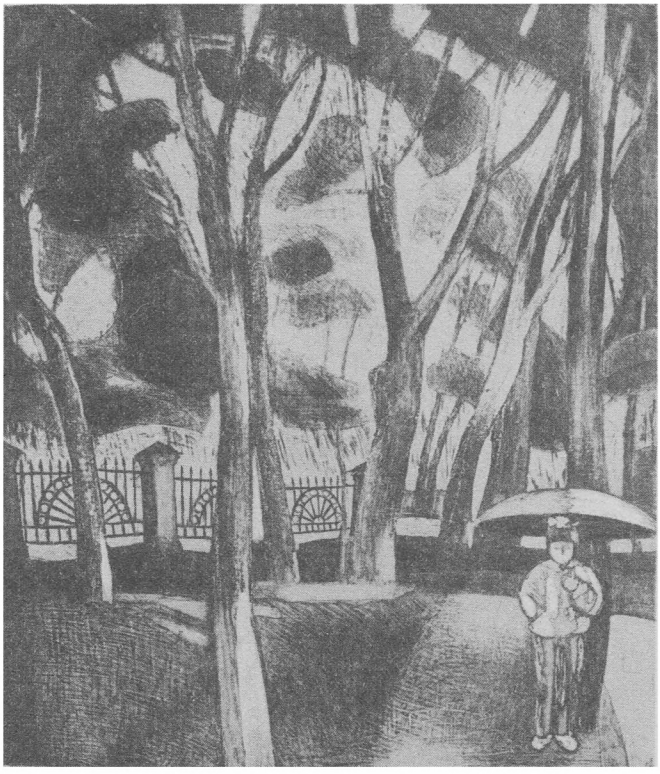
1996

Волга 4 1996

Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с января 1966 года
САРАТОВ



4

1996

Содержание

Светлана Кекова. КОЛЛЕКЦИЯ СНОВ 3

Рустем Юнусов. ИЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА 12

Николай Якушев. ВАМПИР КАРЯГИН 111

Мария Максимова. СТИХИ 119

Руслан Элинин. СТИХИ 126

Сергей Зубарев. СТИХИ 133

Laterna magica

Макс Ауслендер. Из сборника «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ». Перевод с английского **Василия Темнова.** Послесловие **Вадима Михайлина** 137

Ольга Лебёдушкина. ПЯТНАДЦАТАЯ ДВЕРЬ 152

Кирилл Кобрин. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ / ЛЮДВИГ 158

Среди книг и журналов

Виктор Селезнёв.— А. В. Сухово-Кобылин. Учение Всемир. Инженерно-философские озарения. **В. Вахрушев.**— В. Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. **Б.**— «Эта поддержка выражалась в форме гонорара». Вестник Архива Президента Российской Федерации. **В. Вахрушев.**— Валерий Подорога. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992—1994 годов. **О. Л.**— Художественный мир Венедикта Ерофеева. **В. Вахрушев.**— Лев Гурский. Перемена места. Лев Гурский. Опасность 163

Из общего тиража 2950 экз. Институт «Открытое общество» выписывает и направляет (периодичность выхода журнала — 1 раз в месяц) в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 1500 экз. журнала.

© «Волга», 1996

Светлана Кекова

Коллекция снов

* * *

Мне ночами бессонными снится,
что земной я оставила путь
и огромная райская птица
мне когтями раздвинула грудь.

Смотрит тело глазами пустыми,
как уходит душа между строк,
и лежит в Аравийской пустыне
Серафима зовущий пророк.

Если тело сгорает, как уголь,
то и дух мой подвластен огню.
Я не ведаю — недруга, друга ль
я сияньем и жаром маню.

И свою покидает обитель
восходящий во мраке ночей
Марс, неведомый бог, покровитель
врачевателей и палачей.

В этот час с непонятною силой
источает свеча парафин,
и по небу летит шестикрылый,
шестикрылый летит Серафим.

И со мной, трепеща и сгорая,
говорит, как мертвец с мертвецом,
птица Сирин, посланница рая
с человеческим жалким лицом.

Сон

1

Да, кровь моя отравлена и плоть
осквернена. Есть много мелких знаков
того, что я давно живу в аду.
Мой дух не в силах тело побороть,
как ангела незримого Иаков.
Кто написал мне это на роду?

2

Я жизнь мою у врѐмени краду.
Кукушка плачет за речной излукой,
в ветвях таится соловьиный Блок.
Вот Гоголь спит, держа в руках уду,
Ахматова ныряет хищной щукой,
и птица Сирин правит ветра слог.

3

Но небо — купол, а не потолок.
Ты, занятый работою подённой,
не угадал, в какое время дня
пространство будет отдано в залог.
В составе тела мышцей повреждённой
внезапно стало сердце у меня.

4

Так встань с постели, принеси огня,
какого-нибудь горького лекарства —
буры иль хинной, например, коры.
Хоть мы с тобой друг другу не родня —
крестьянка я, а ты наследник царства,
смиренно я приму твои дары.

5

На слабый запах крови комары
летят, как стаи мелких негодяев,
и дует ветер — кажется, пассат.
А ты во сне, слабея от жары,
бормочешь, что вокруг растёт Бердяев,
запущенный, как старый русский сад.

6

.....
.....
.....
.....
.....
.....

7

Апрель был лыс и август волосат,
и Байрону графиня Гвиччиоли
письмо послала в Грецию. Гонцов
привлёк внезапно здания фасад.

Но то была темница. Там в неволе
давно томилась сотня молодцов.

8

«Землетрясенье — сходка мертвецов», —
сказал однажды греческий философ,
отравленное пробуя вино.
И он был прав. Ведь смерть в конце концов
один ответ на множество вопросов,
ответ безумца. И не мудрено,

9

что увидать в глазу своём бревно
куда трудней, чем мелкую соринку
в глазу у брата. Щурится поэт, —
ему напрасно зрение дано,
и чей-то голос пляшет под сурдинку,
и память исполняет пируэт.

10

Она летит туда, где спрятан свет
и где луна, как ягода в крюшоне,
на дне бокала чёрного лежит.
Так жизнь проходит, но желанья нет
прочесть «Лючию в пёстром капюшоне».
Держу бокал я, а рука дрожит.

11

Спит Николай, и Анна ворожит,
поёт любовь отец приёмный Данта,
моя душа таится взаперти.
Лишь часовая стрелка пробежит
по кругу, как прогулка арестанта,
и бег свой остановит на шести

12

часах. И ничего нам не спасти.
Ты говоришь, но голос твой не слышен.
Часы стоят, металл изъеден ржой.
За эти строки ты меня прости.
Рассветный час под знаком чёрных вишен
так горек нам, как горек хлеб чужой.

* * *

Надо мною жук летает майский,
он кружит у самого виска.
И похож на сад цветущий райский
город узкоглазый и китайский,
весь в морщинах жёлтого песка.

Где-то русло высохшее Леты
ждёт дождя небесного — и вот
мокнут башни, храмы, минареты,
и бредёшь, измученный, к горе ты,
чтоб взобраться на её живот.

В Божьей славе или в Божьем гневе
райский сад — всё тот же райский сад,
но Адаму ведомо и Еве,
что в земле младенец спит, как в чреве,
и легка твоя дорога в ад.

Вьётся в листьях змей многоголовый,
и щебечут птицы целый день,
на горе прекрасной Соколовой
зацветает пышная сирень.

Есть сирень такая — цвета крови,
ей самой мучительно цвести...
Тот, Кто волен был в своей любови,
вечно держит звёзды наготове,
чтобы их на землю отрясти.

* * *

В этом царстве вещей непрозрачных
мы вино из стаканов прозрачных
пьём, и время по капле крадём.
Потому-то так жгучи и живы
и морщинисты листья крапивы
под коротким июльским дождём.

Жизнь тебе представляется в виде
смерти; жизнь в тесноте и обиде
среди жгучих, как оцет, услад.
А на улице Малой Затонской,
у подошвы горы Елеонской
Гефсиманский колышется сад.

Помнишь — время текло незаметно,
так безвидно, безвкусно, бесцветно,
что молю я, тоску утолив:
«Это право, Господь, подари мне —
видеть, как разбиваются ливни
о бессмертные листья олив».

* * *

Она пришла — и жизнь взяла взамен.
Не помню я — когда всё это было.
Мне друг гадал по Книге Перемен —
и вот китайским веером Кармен
на краткий миг лицо своё закрыла.

Есть у любви хороший адвокат,
и это смерть. Но в смерть нельзя поверить.
Был в окна виден розовый закат,
и некто в чёрном, весел и рогат,
учил печальных духов лицемерить.

Уже не отражали зеркала
лица Кармен. И, значит, смерти зона
съедала время, ширилась, росла —
так рос огонь. А жизнь моя была
как пыль дождя на влажных листьях клёна.

Куда ты дел бумажный веер, нож,
надетые на пальцы кастаньеты?
По телу жизни пробегает дрожь,
и ты, Кармен, уже не подберёшь
разбросанные по полу монеты.

Уснул давно тебя воспевший Блок,
и злые духи топчут потолок —
я их следов разглядывать не стану.
Они твердят, что смерть — запретный плод,
что ты танцуешь, пряча алый рот
как срезанную розу или рану.

* * *

Здесь речь не о любви, а о тщете,
о слабости её и нищете.

Однажды мне приснился инородец,
словами он зарос, как бородой.
Он был похож на куст или колодец,
заполненный сияющей водой.
Последний кмет из воинства любви
(кмет в переводе означает воин),
он был с самой любовью визави,
а, стало быть, горяч и беспокоен.
Луна магометанская плыла
там, в небесах, с медлительностью бальной,
а воин спал. Душа его была,
как и вода в колодце, вертикальной.

Он говорил (он говорил во сне):
«Да, я могу поклясться на Коране —
когда зима приблизится к весне,
она сама покинет поле брани.
А с кем любовь сражается? Воздам
я должное и пылу, и усердью,
с каким любовь, умна не по годам,
всегда воюет с собственною смертью.
Её поля засеет рожью смерд
(по-русски это значит земледелец),
и каталог её бессмертных черт,
её причуд и маленьких безделиц
пополнится, как житница зерном,
какой-нибудь чертой недостоверной...

Луна — богиня. В ракурсе ином
она, быть может, кажется каверной
на теле ночи. Отмирает ткань,
в усталом лёгком образуя полость...

Любовь жива, и, как её ни рань,
она мечтает сохранить весёлость».

И он умолк, потоком сна влеком,
он долго спал, был сон его несносен.
Уже оцепеневшим языком
не трогал он ни альвеол, ни дёсен.
А я сидела рядом, как в черте
оседлости.
В Казани ли, в Чите,
в сиятельном и пышном Петербурге
речь шла о страсти, о её тщете,
о том, что страсть гнездится в пустоте,
где скачет смерть, как всадник в чёрной бурке.

* * *

В Лапландии печальной так легко
сказать, что снег похож на молоко,
что в небе волк встречается с медведем.
Давай, мой друг, в Лапландию поедем?
В Лапландии, как северный олень,
пугливо время. Год пройдёт — и день
пройдёт, как год. Там время растяжимо.
Лапландия есть следствие режима,
в котором бьётся сердце. То с трудом
оно стучит, то в теле молодом
идёт на паперть, точно нищий с шапкой,
и просит денег. К девственнице в дом
приходит время повивальной бабкой.
Она, младенца в чреве не застав,
с печальною улыбкой на устах
уходит прочь. Туда уходит время,
где в рыхлой почве умирает семя,
чтоб из земли в воздушную среду
попасть уже не семенем, а стеблем.
В Лапландии мы только раз в году
живые струны памяти колеблем.
В Лапландии несутся облака,
как всадники. Там правая рука
при жизни не советуется с левой,
а после смерти тенью на лице
становится. Ты заперт во дворце
наедине со Снежной королевой
из детской сказки. В ледяном дворце
алмазами посверкивают льдинки.
В Лапландии все женщины блондинки.

Поедем же в Лапландию, мой друг!
Там люди умирают молодыми.
Старуха-вечность космами седыми
трясёт и сеет волосы вокруг.
И, выросши, как нежить, из волос,
какой-то мальчик, чёрен и раскос,
оброс, как стебель, деревянным платьем.
Он спит — как будто задаёт вопрос:
что радостью грозит и что — проклятьем?

* * *

Я там ещё, я в тех глубинах, где слово — камень и скелет
и где в гробах, как бы в кабинах, спят мертвецы на склоне лет,
звонят живым и в трубку дуют, и в этот час нездешний гость
над почвой каменной колдует, и заклинанья чередует,
вбивает в землю ржавый гвоздь.

А дождь идёт и землю мочит, доходит влага до корней,
и то, чего живой не хочет, — того он ждёт всего сильней.
Над лесом пляшут под сурдинку большие майские жуки,
а жизнь и смерть стоят в обнимку
на берегу одной реки.

И плещет рыба в водах вечных, и чешуя её, как медь.
Знакомый мастер дел заплечных из волн вытягивает сеть.
А в неводе трава морская, пустых ракушек скорлупа.
На волю душу отпуская, стоит прозрачных тел толпа.
Но чтобы телу стать прозрачным и чтобы дух его окреп,
Телец и Лев над ложем брачным горячий преломили хлеб.
Дыханьем Божиим согреты, они расстаться не хотят,
и крошки хлеба в волны Леты как звёзды чёрствые летят.

* * *

Пока душа ещё жива и плачет перед образами,
любовь, как щучья голова, блестит зелёными глазами.

Огнеопасный Гераклит стоит в шкафу на верхней полке,
и небеса на остров Крит роняют звёздные иголки.

И ты сквозь шум и звон в ушах боишься рёв услышать
бычий,
а щука в чёрных камышах следит за юркою добычей.

Скрипит безумный коростель, бормочет, головой кивая,
о том, что в тёплую постель с быком ложится Пасифая.

И страсть, как дерево о двух стволах растёт, подобно
лавру,
и вот уже не плоть, а дух приносят в жертву
Минотавру.

Но прежде чем судьбу винить, следи внимательно и жадно,
как щук на шёлковую нить ловить умеет Ариадна,

и всё, что в кровь въедалось мне, бесстыдно хлещет из
артерий,
и как младенец, на спине лежит поверженный Астерий.

Три стихотворения

1

Кончается время, как дождь проливной
на разные плачет лады.
Печаль возникает из персти земной,
а горе — из жёлтой воды.
Ты жёлтую воду ковшом зачерпни,
когда в городах умирают огни,
в пещере измученный прячется волк
и рвётся пространство, как шёлк.

Подобно кристаллам растут города,
но их отраженье в воде —
не город растущий, а просто вода,
и там она движется, где
есть место для тела, чтоб лечь и лежать,
и горькую речь на устах удержать.
Да, лучше молчанье, чем речи азы,
чем ржавые воды Янцзы.

Да, тело подобно текущей реке,
но дух нам Создателем дан,
чтоб бросить одежду на жёлтом песке
и вброд перейти Иордан.
Кто в водах крещения сделался наг,
не видит своей наготы.
И мне на закате сквозь холод и мрак
опять улыбаешься ты.

2

Возьми же муки для лепёшек квасных, посуду для прочих даров.
Исчезнет проказа со стен крепостных, и будешь ты жив и здоров.
Больную одежду сожжём на костре, не скажем об этом отцу и сестре,
жену пощадим и огню предадим мой дом прокажённый на Жёлтой горе.

Принёс ли ты, ангел мой, жертву за грех? Душа да пребудет чиста.
Вот шов родовой разъедает орех, земля раскрывает уста.
А ты помолчи и меня не жалей, корону утративший царь,
ты хлеб обезглавленный, соль и елей скорей возложи на алтарь.

И пусть поднимается дым к небесам,
и тянется пламя к моим волосам,
горячей рукой обнимает меня и тихо молитву поёт,
а ночью в железной короне огня луна над землёю встаёт.

3

Огонь съедает плоть. Он гложет кость и хрящ.
Чтоб хлеб предать огню, двойник мой тесто месит.
Но Гамлет в дом войдёт — и свой чернильный плащ,
как бы зловещий знак, на вешалку повесит.

Но Фауст в дом войдёт — и буду медлить я,
и промедленья миг мой друг сочтёт за счастье.
Вокруг меня царит разлуки толчея,
а в ней — твоей любви последнее причастье.

Да будет счастлив тот, кто пламенем пленён:
пылает плоти плащ, как лёгкая полова...
Я знаю: Бог — творец вещей, а не имён,
но вещество гореть не может так, как слово.

Рустем Юнусов

Из жизни сельского врача

1

Малыковская участковая больница расположена в тридцати километрах от районного центра и связана с ним разбитой, покрытой где крупным булыжником, а где мелкой щебёнкой грунтовой дорогой.

Представляет из себя больничка одноэтажное каменное, построенное Бог весть когда, но ещё крепкое, с толстыми стенами здание. С лицевой стороны оно когда-то было из благих побуждений оштукатурено и побелено извёсткой, но штукатурка местами отлетела, побелка пятнами пожелтела и посерела, и поэтому больничка с фасада стала представлять собой унылое зрелище, но с заднего двора она смотрится гораздо приличней.

Как зайдёшь по крыльцу в три ступеньки с главного входа в здание и откроешь тяжёлую, хлопающую на пружине дверь, тут же, по правую руку, каморка-кабинет главного врача; по левую руку — кабинет сестры-хозяйки, или, попросту, барахолка. Ещё дальше — дверь в коридор, по обе его стороны — палаты. Двери в палаты цвета лицевой стороны больнички, но нумерация на дверях, от первой до седьмой, намалёвана свежей тёмно-синей краской. В каждой из палат стоят по шесть железных, с провисшими панцирными сетками коек, и постельное бельё совсем не рваное, но штукатурка на потолке и стенах в трещинах, а одноцветный, как его прозвали санитарки, «поносный» линолеум местами истёрся, порвался, задрался. Когда у санитарок, которые все почти как на подбор зевластые бабы, при мытье полов швабра с тряпкой цепляется за эти махры, то они не просто бранятся, но порой, и не только в адрес главного врача, и не всегда лишь мысленно, матюкаются.

Покрыта больничка железной крышей, которую давно не красили, и хоть она с виду как будто бы и не проржавела, но течёт во время дождя безбожно. Объясняет это явление завхоз больницы Анатолий Петрович одним словом: «Задуват». Он ставит на подловке в местах течи тазы и ванны, которые часто воруют, но ничто не помогает, и потому во многих палатах и коридоре потолок и стены от сырости покрыты плесенью. Говорят, что был даже случай: ночью на больного, перепугав его до смерти, свалился с потолка, слава Богу ещё не на голову, увесистый кусок штукатурки.

Ещё, как и положено, в больничке есть операционная. Это видно по вывеске на одной из дверей, которая закрыта большим висячим замком. В операционной к потолку подвешены фонари, которые можно повернуть в нужную сторону, а под фонарями стоит с виду новый операционный стол, на котором, очевидно, мало кто работал — в больнице давно нет хирурга.

Рядом с операционной — перевязочная, маленькая комнатка, вдоль стены стоит кушетка, на которую можно, при необходимости, положить больного,

у окна шкаф с бинтами и «зельями», а посередине на полу большой, с отбитой местами эмалью, банный таз. Во время перевязок в него кидают грязные бинты, а когда в этом нет необходимости, его заталкивают под кушетку. Столовая, где больные кушают в две смены, располагается в такой же по размеру комнате, как и палаты. Здесь близко друг к другу стоят шесть алюминиевых столов. В углу на столе стоит работающий телевизор «Рекорд». Когда больные не кушают, здесь доктора пишут истории болезни и с санитарками и сёстрами пьют чай.

Пост дежурной медсестры в коридоре. У неё, как и у главного врача, на столе телефон, а резиденция санитарок в раздаточной — маленькой комнатке у плиты, на которой постоянно стоят вёдра с водой и кипит чайник.

Есть также в больнице и лаборатория. Здесь хозяйствует конопатая, лет под тридцать, незамужняя, с виду без явных признаков пола лаборантка. Ей нравится, когда, обращаясь к ней, её называют девушкой. Она определяет, «поглядывая в потолок», тройчатку: количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобин.

Тут же, метрах в двадцати от главного корпуса, стоит пятистенник, так что зимой, не накидывая на плечи пальто, можно бегать друг к дружке на чашку чая, посплетничать. Над дверью вывеска из половой доски. На доске не каллиграфическим почерком, всё той же синей краской, завхоз написал: «Родилка». В родилке заправляет акушерка с тридцатилетним стажем. У неё беззубый рот, но старуха она жилистая и боевая. Про неё сельчане говорят: «Большой в своём деле специалист».

Поодаль, в большой деревенской избе, — кухня. Посередине кухни — огромная, заставленная алюминиевыми кастрюлями печь. Здесь с ранней зари начинают суетиться две поварихи.

Ещё, на задах больницы, кирпичное здание с непомерно большущей, видно другой не нашлось, железной трубой, которую в вертикальном положении удерживают четыре проволочных растяжки, — это котельная. Когда пацаны по приваренным к трубе скобкам из баловства карабкаются вверх, чтобы посмотреть на село с птичьего полёта, завхоз, разгоняя их, с чувством собственной значимости так сильно, но добродушно матерится, что его голос слышно даже в кабинете главного врача. Вокруг котельной кучи разбросанного, перемешанного с землёй и шлаком угля. В прокопчённой, как дымовая труба, котельной два чугунных котла и два гоняющих по трубам воду мотора. У стены стол, сидя за которым играет в карты или выпивает больничная обслуга: два шофёра, слесарь, сантехник, конюх, завхоз главный по питанию, а также другие забредшие с улицы мужики. К котельной примыкает гараж. В нём санитарная машина, а полуразвалившаяся, без номеров, грузовая — под открытым небом.

Вокруг всего этого хозяйства кем-то когда-то были посажены яблони, которые хоть и зеленеют, но не цветут и выше двух метров не растут, а в ряд посаженные берёзы, радуя глаз, вымахали выше телефонных столбов и постоянно на ветру шепчутся. В их тени, по погоде, больные режутся на ровно спиленном большом дубовом пне в домино или в карты. Яблони, берёзы и больничные постройки обнесены деревянной прогнившей изгородью, и завхоз, периодически проявляя заботу о хозяйстве, обходит её вместе с сантехником. В руке Анатолий Петрович держит молоток и, подоткнув за ухо стомиллиметровый гвоздь, браня проломивших штакетник мальчишек, колотит по жердям.

Метрах в трёхстах стоит конюшня с навесом для сена, которое готовится на зиму для двух больничных лошадей, но его жуёт также и корова конюха Ивана Ивановича. Наш конюх — мастер своего дела и горд этим. Он даже может ковать лошадей, но не куёт, поскольку в хозяйстве нет четырёхугольных особых гвоздей. Я как-то спросил его:

— Иван Иванович, а почему нельзя ковать круглыми?

— Потому что они круглые, — ответил он и, словно разговаривая с ребёнком, свысока посмотрел на меня.

Ещё дальше находится деревянное, барачного типа здание. Одну его половину занимает амбулатория, а в другой, наглухо отгороженной от первой, располагается туберкулёзный или, как его у нас называют, «чахоточный» диспансер. Здание это очень старо, и мало кто в деревне помнит, когда же его поставили. Срублено оно было в своё время наверняка добротно, но пакля прогнила, местами заменённые полы прогнили, рассохлись и покоробились, косяки перекосились, но завхоз, который лазил на подловку, говорил, что стропила и балки под крышей сохранились на удивление хорошо и их ещё можно пускать не только на дрова, но и по хозяйству.

В амбулатории имеется и регистратура и процедурная, где делают до обеда внутривенные инъекции, а после обеда, что, конечно же, является нарушением всех правил антисептики, перевязывают нагноившиеся раны и фурункулы. В небольшом коридорчике стоят две лавки. Сидя на них, больные ожидают очереди в терапевтический, педиатрический и хирургический кабинеты. Кроме того, ещё имеется маленькая комнатка для медстатистика. Здесь работники амбулатории, делясь новостями, пьют чай.

В туберкулёзном отделении тридцать коек. Сюда попадают хроники-доходяги, иногда и из мест не столь отдалённых, но бывают и из близко расположенных районов.

Работают в диспансере сёстрами все как на подбор пенсионерки. Диспансер — это всеми заброшенный угол. Из районного начальства сюда никто не заходит годами, брезгают и боятся заразиться. Уже лет десять ходят разговоры, что это заведение следует снести или, ещё лучше, спалить. Здание уже не подлежит ремонту, и даже привыкшие к обстановке больные, заходя в хоромы диспансера, говорят:

— Срамота!

2

— Будете главным, — в первый же день работы сказала мне старшая сестра, широкая в плечах и бёдрах, с оспинами на лице, лет пятидесяти женщина.

— Почему? — спросил я.

— А у нас главным — фельдшер, — и рассказала, что до фельдшера главным врачом был Мансур Ибрагимович и выпивал, не сказать, что систематически, но срывался раза два в квартал, а когда срывался — имел странную привычку приходить в нерабочее время, большей частью поздними вечерами, к роженицам в родильное отделение «на обход», куда трезвый, если его не вызывали, никогда не заходил. Мужик к тому же он был здоровый и физиономию имел такую, что, увидев её, можно было подумать о чём угодно, но только не о медицине, а встретив ночью — испугаться.

Войдя в отделение, он перед осмотром рожениц мыл руки, а дежурная медсестра, санитарка и роженицы, зная его повадки, в это время убегали в главный корпус и запирались. Мансур Ибрагимович стучался в закрытые двери, а затем ложился на освободившуюся в родильном отделении койку и засыпал. Наутро он выпивал графин воды и тихо уходил.

Жена знала за мужем эту странность и иногда, заметив, что муж собирается с определённой целью в больницу, предупреждала персонал по телефону. В этом случае Мансур Ибрагимович, покричав и потолкавшись в запертые двери, шёл в котельную, где начинал «наводить порядок», и даже раз был случай: запер маленького, щупленького мужичишку-кочегара, который с испугу даже не сопротивлялся, в ящик с углём, где тот и просидел до утра.

Впрочем, все об этих странностях Мансура Ибрагимовича знали. При этом кто возмущался, кто добродушно посмеивался, и всё бы ничего, но както раз, подшофе, Мансур Ибрагимович проводил в тёмной комнате профилактическое рентгенологическое обследование женщин и, очевидно, дал волю рукам. Некоторые женщины возмущались, некоторые, кокетничая, повизгивали, а одна, жена председателя колхоза, — «В темноте ведь не различишь», — впоследствие оправдывался Мансур Ибрагимович, пожаловалась мужу.

Муж был депутатом райсовета и написал докладную секретарю райкома. Секретарь как будто бы посмеялся, но главному врачу района сделал внушение. После чего Мансура Ибрагимовича так и оставили на полставки рентгенологом, но с главных врачей сняли — и помогло: пить он перестал и странностей за ним больше не замечалось.

— А как врач он как, разбирается? — поинтересовался я.

— Да вроде ничего. И пишет — можно разобрать, — ответила старшая.

Узнал я также, что в больнице вторым терапевтом — Фёкла Алексеевна.

— Что за странное имя?! — удивился я.

— Как есть по паспорту, — ответила старшая и пояснила, что Фёкла Алексеевна обижается, когда её зовут Фёклой, и потому все обращаются к ней Фаина Алексеевна, а за глаза кличут: Фёкла. Это имя уже вошло в обиход, и если кто-то из деревенских кого-то спрашивает: «Куда пошёл?» — тот отвечает: «А к Фёкле».

Ей до пенсии оставалось отработать только один год, но по внешнему виду — не скажешь. Перед моим приездом на неё поступила жалоба на имя главного врача района от жены Паранина, тридцатипятилетнего мужика, который возил в колхозную столовую на впряжённой в телегу кобыле воду в бочке. Возил и себя не утруждал. Бывало, в летнюю жару ему лень из колодца черпать воду бадьёй, так он въедет в реку, кобыле по брюхо, а тут мальчишки купаются, он им крикнет, они ему и начерпают.

— Креста на тебе нет! Ведь не поросятам, людям возишь! — костерят его поварихи, с него как с гуся вода.

— Ничего, — говорит, — отстоится. Я сам с реки пью, и ничего не бывает.

Жена Паранина подробно описывала: «Завлекает Фёкла мужа бутылкой, и через неё он уж совсем спился. Берёт литр и на следующий день, чтобы никому не говорил, и на опохмелье, ещё бутылку. А он, дурная голова, ходит по деревне и всем рассказывает, и меня позорит...». На медсовете в центральной больнице жалобу зачитывали и обсуждали, и Фёкле Алексеевне задавали вопросы, но она, не моргнув глазом, на всё отвечала:

— Враки. — И в свою очередь на свою соперницу наговаривала неприличностей.

Игошкину, мужу Фёклы Алексеевны, всё это, конечно, известно, но он слабохарактерный, преподаёт в школе географию, и на его уроках ученики ходят чуть ли не на головах. Игошкин к этому давно привык: стоит перед глобусом и, ни на что не обращая внимания, продолжает вести тему.

Впрочем, по молодости, он за жену переживал и его даже один раз «сняли с верёвки» и откачали, но потом он как будто бы ко всему привык и они продолжали жить вместе, хотя всё у них было разделено: Фёкла Алексеевна жила в передней и спала на полутораспальной кровати, а он — в задней, где стояла раскладушка. Детей они также поделили. У неё был младший сын, который учился в институте и на каникулы приезжал в родительский дом, а у него старший, который уже давно жил в городе в общежитии без семьи и в деревню не приезжал.

Работала Фёкла Алексеевна в больнице на одном месте без малого тридцать лет. Сколько было главных врачей, со всеми она ругалась и всех пережила. На неё, особенно раньше, были жалобы, и не одна жизнь была на её грешной душе, но с годами она приспособилась: чуть что больного стала на-

правлять в центральную больницу или переправляла в палату к другому врачу. Тактика себя оправдывала. Врачи, конечно, на неё обижались, но, в конечном итоге, все на Фёклу Алексеевну махнули рукой.

3

— Очень, очень рад! — пожимая мне руку, говорил Хасан Хасанович, исполняющий обязанности главного врача. — Слава Богу, что отмаялся.

— А что так?

— Сказать по-русски: всем всё по..., а спрос с меня. К тому же все знают, что я временный, хозяйство запущено, работать никто не хочет, всё за бутылку, а где её — не из своей же зарплаты платить!

— Если плохо работают — выгнать, другого взять, — заметил я.

По губам Хасан Хасановича пробежала лёгкая ироническая усмешка.

— А кого? Путные мужики, которые в деревне, наперечёт: кто поближе к товару, в сельпо, кто в колхозе — можно корму для своей скотины взять, кто в дорожном — машина опять же, считай, в своих руках, а на наши оклады путный мужик не пойдёт. Завхоз — восемьдесят девять рублей. Шофёр санитарной машины — сто десять рублей пятьдесят копеек. Конюх — семьдесят пять рублей.

— Так на что же они пьют? — поинтересовался я.

По губам Хасан Хасановича опять пробежала лёгкая ироническая усмешка.

— Это у них спросите. Но вы молодой, энергичный, не ломаный, шесть лет чему-то учились. У вас получится, а у меня уж с сердцем плохо.

— А как народ-то здесь, в больнице и вообще?

— Народец-то? — Хасан Хасанович с хитрецой улыбнулся. — В основном маленько того, хотя с виду не скажешь. Завхоз наш и тот в шляпе ходит. Вон, кстати, идёт. — Хасан Хасанович показал глазами на мужика, который действительно был в мышиного цвета, потерявшей форму шляпе и, судя по походке, навеселе.

Очевидно, он хотел пройти больничным двором, но, заметив нас, сделал, как говорят в народе, «морду клином» и прошёл улицей.

4

На другой день на пятиминутке Хасан Хасанович, не скрывая своего удовлетворения, отрёкся от главврачовства. Все, с огоньками в глазах, посматривают на меня, ждут.

— Приказа нет, — говорю я, ибо главным врачом мне, конечно же, честно говоря, быть не хочется. «Ну какой же из меня главный врач», — рассуждал я.

Причём хороший руководитель, я полагаю, это — от Бога. Это особый дар, особые способности общения с коллективом и воздействия на него. Это умение учитывать и согласовывать разные интересы. И хорошие специалисты, а я тоже, чего греха таить, к таковым себя относил, — по молодости наш брат в главврачи не рвётся. К тому же материально, работая на полторы ставки (в районе все врачи работают так), я бы получал всего, без главврачовства, на десять рублей меньше. А если сесть в кресло, то: «хлопот воз и маленькая тележка».

Мансур Ибрагимович не может согнать с лица самодовольную улыбку, светится. «Вот, меня сняли, попробуйте теперь без меня», — очевидно, думает он.

— С одной стороны, может, и правильно, — ни к кому не обращаясь, сказала старшая сестра, — раз приказа нет, что он будет на себя принимать?

Но все знают, что приказ будет, и кое-кто уже проявляет ко мне повышенный интерес.

— Вам сколько человек записать на приём? — растягивая рот в заискивающей улыбке, спрашивает фельдшерица амбулатории.

Если я скажу: «Десять», — то остальные карточки она перекинет другим врачам. Я отвечаю:

— Сколько будет.

Фёкла Алексеевна тоже, по всему видно, хочет меня о чём-то спросить, но, присматриваясь, не решается, не знает, с какого боку ко мне подойти. Наконец спрашивает, а голос не уверенный — видно, наболело, потому и дрожит.

— Вы уж извините, Александр Леонидович, к вам обращаюсь. Когда вас ещё не было, я к Хасан Хасановичу три раза подходила, просила машину. Сам он, чай, на пять лет, пока машина была в руках, дров себе навозил, а мне отказать — не отказывал, но так и не дал. Как ни спрошу, то говорит, что сломана, то ещё чего, а сейчас к кому обращаться — концов не найдёшь.

— А муж чего? Пускай в школе возьмёт. У них машинёшка лет на десять новей нашей, а у нас: вроде, Фаина Алексеевна, посмотреть — она есть, но, по правде, считай, что нет. На ихней давно бы привезли, — говорит ей бывший при нашем разговоре завхоз.

— Ну, Петрович, когда тебя не спрашивают, ты всегда здесь. А то ты не знаешь, что у меня за муж, одно название, хуже вашей машины. Считай уж, что одиночка я, курицу зарезать не может, соседа прошу.

— Так-то оно так, оно мы знаем, но я бы на вашем месте, Фаина Лексевна, давно бы шофёру поставил. Он бы за литр и привёз бы, и нагрузил, и разгрузил, — глядя на неё лукавыми глазами, говорит завхоз, очевидно полагая, что и ему при этом что-нибудь перепадёт.

— С завтрева дня в отпуск идти, а заявление не у кого подписать. Никому ни до чего дела нет! — подойдя ко мне после Фёклы Алексеевны, говорит кастелянша. — А без подписи главврача бухгалтер в сельсовете не рассчитывает. «Моё какое дело, — говорит, — не положено. Разбирайтесь меж собой».

Всем им в ответ я только пожимаю плечами — ведь я же не главный.

Безвластие продолжалось девять дней, а на десятый старшая сестра поехала в центральную больницу за биксами со стерильным материалом (наш автоклав давно перегорел, и никому дела нет) и привезла бумажку. На ней отпечатано четыре строки: «В связи с производственной необходимостью назначить и. о. главного врача Малыковской участковой больницы Калинхина А. Л. Разрешить совместительство на полставки врача-фтизиатра».

— С назначением вас! — протягивая мне клочок папиросной бумаги, говорит она.

«Во-первых, не Калинхин, а Калинин, а во-вторых, со мной перед назначением могли бы, хотя б для этикета, посоветоваться, и, в-третьих, откажусь!» — подумал я. Ведь здесь: «Куда ни кинь — везде клин!». И не знаешь, за что взяться. А кадры — все как на подбор: завхоз, по физиономии видно, не просыхает, Гришку, второго завхоза по продуктам, за глаза все зовут: «Опарыш». Бабы-санитарки, все зевластые, каждой нужно для убеждения кулаком рот затыкать, и ни у кого нет ни к кому почтения, в том числе и к докторам. Кроме того, здесь, я уже приметил, признаком хорошего тона считается неподчинение кому бы то ни было и этим даже бахвалятся.

Впрочем, рыба гниёт с головы. Помню, как меня встретили, когда я приехал в район с направлением на работу.

Прождав около часа в приёмной, вхожу в кабинет к главному врачу. Всё здесь, начиная с порога, служит тому, чтобы показать, что он в силе. Главный, Ирек Галимзянович, сидит за столом и не замечает, что к нему по приглашению секретаря вошли.

Перед ним на столе — раскрытые научные медицинские книги, тут же бумажки из Минздрава. Дочитав бумажку, он её бережно отложил, затем повернул в хорошем переплёте книгу так, чтоб по обложке мне стало видно, какую именно он «умную» книгу читает; затем Ирек Галимзянович повернулся ко мне затылком и, видом показывая, что он шибко над чем-то важным задумался, стал смотреть в окно; затем взял с золотым пером ручку, достал из ящика стола тетрадку и в ней что-то записал; затем снял трубку телефона и, не повышая голоса, сделал кому-то внушение. После этого его глаза, якобы случайно, остановились на мне.

— Это ты? Ко мне в район на работу, — не предлагая мне сесть, сказал он, словно я пришёл наниматься к нему в батраки, и опять повернулся к окну. Затем, словно это был слиток золота, Ирек Галимзянович переложил с одного конца стола на другой стопку бумаг и, очевидно, наигравшись всласть в главного врача и думая, что произвёл на меня должное впечатление, видом и голосом показывая, что никто другой, а только он здесь главный, протянул мне выписку из приказа о том, что я назначаюсь в Малыковскую участковую больницу врачом-терапевтом.

— Остальное у секретаря, — сказал он, заметив, что с моих уст может сорваться вопрос.

«Дур-р-р-ак! Хотя бы, для приличия, мог поинтересоваться, что я за человек», — подумал я и вышел из кабинета.

«Непременно откажусь!» — думал я, решив поехать в центральную больницу на следующий день и объясниться, но с утра нужно было посмотреть больных, а после обеда — приём в амбулатории, к тому же дядя Ваня сообразил, что можно отдохнуть. И, всем говоря, что машина без ремонта рассыплется, отвинтил у машины, поставив её на колодки, все четыре колеса. На второй и на третий день всё повторяется, а на четвёртый я пришёл раньше всех на пятиминутку и сел в кресло. Да и как мне было его не занять? Из сельсовета, к примеру, звонит председатель, спрашивает: «Кто главный?». Ему говорят: «Новый доктор». Он обращается ко мне, я говорю: «Не я», — получается несолидно, по-мальчишески. К тому же я не страдаю по молодости излишней скромностью, самоуверен и полагаю, что если «у руля» буду я, то справлюсь и дела пойдут лучше. И ещё усмешка у всех на устах, смотрят на меня и, по своей простоте, не скрывают её. Не понимают, почему я отказываюсь, ведь Мансур Ибрагимович, с виду крепкий мужик и матерится дай Боже, когда его с главных сняли, на пятиминутке слезу пустил. А то прямо говорят в глаза: «Ну чего вы боитесь? И хорошо это будет, если фельдшер будет вами командовать?! А так — всё в ваших руках. Куда нужно, машина, считай, что личная, и достать, если что нужно — главврачу никто не откажет. Откажетесь — вас никто не поймёт. Тьфу, за человека не будут считать!».

Пятиминутку мы начинаем в девять, чтобы женщины успели (а у многих есть кое-какая скотина) потомашиться по дому. Все уже, кроме врачей, собрались на крыльце. Через окно им видно, как я занял кресло, и эта новость наверняка уже у всех на языке. Ровно в девять, и ни минутой позже, я стучу кулаком по раме так, что дребезжат стёкла, и все вваливаются ко мне в кабинет. Смотрю на лица, по их выражениям видно, что персонал мой поступок одобряет, и во взгляде почти у всех — доброжелательность. Я несколько смущён, но стараюсь выглядеть солидно, что со стороны видится, очевидно, комично, и потому по некоторым лицам блуждает шаловливая улыбка. От моего стола вдоль стены всего шесть стульев. На первом от меня стуле сидит Мансур Ибрагимович. Он, очевидно, надеялся, что я от «портфеля» откажусь, и сегодня его лицо мрачнее обычного. Следующий стул свободный. Фёкла Алексеевна, как всегда, опаздывает. Третий стул Хасан Хасановича. Его лицо, напротив, сегодня даже помолодело. Доволен человек жизнью. Да оно

и понятно, ведь он переживал, что я откажусь от «кресла» и тогда ему опять наверняка «хомут на шею». Остальные стулья без брони, и на них садится, как в общественном транспорте, тот, кто первый входит в кабинет.

Можно было начинать, но не подошли ещё с ночного дежурства медсёстры, и несколько минут мы, словно набрав в рот воды, сидим молча. Я, чувствуя, что все смотрят на меня, гляжу в стол, затем поднимаю глаза, выдерживаю взгляд и по выражениям лиц вижу, что все, изучая меня, прикидывают, какие для них будут плюсы и минусы от моего главврачовства.

Наконец, вошли две молоденькие, после училища, сестрички и, друг другу улыбнувшись, смотрят на меня. В глазах искорки. Их меньше всего интересует, что я главный, гораздо важнее, что холостой. Наклоном головы я показываю, что можно рапорт начинать.

Не успели девочки отрапортовать, как дверь открылась и в кабинет вошла Фёкла Алексеевна. Увидев меня на новом месте, она засуетилась и села на своё место, затолкав хозяйственную сумку, которая всегда была при ней, под стул.

Дежурные доложили, что ночь прошла спокойно, никого не привозили, а больные, кроме Петрова, которому сделали морфий, не беспокоились.

— Я сказал не делать! Зачем самовольством занимаетесь? — строго спросил Мансур Ибрагимович сестричек.

— Так он же грозится, — пролепетала одна из них.

— Нам надо с ним что-то делать, — вступилась старшая медсестра. — Каждую ночь вызывает, говорит, что боли в животе, а живот мягкий. Сделают вместо морфия анальгин, так он отличает, опять боли симулирует, наркотик требует. Каждый день от него никому в палате покоя нет, и целыми днями по больнице, как окаянный, шатается. Прошлый раз к санитаркам пристал: видите ли, ему заварки в чай мало положили. Выпишите его подальше от греха.

— Я сказал: не делать! Сразу сказал! Зачем делаете без назначений? — прицепился Мансур Ибрагимович к сестричкам.

— Так он же грозится, страшно! — пролепетала вторая сестричка.

Все посматривают в мою сторону — что скажу.

— С чем лежит больной? — спрашиваю я.

— Ещё не разобрались,— отвечает Мансур Ибрагимович так, словно главный врач не я, а он.

— Раз симулирует боли в животе, направьте его в центральную больницу к хирургу, если хирург ничего серьёзного не найдёт, тогда можно будет больного выписывать,— говорю я.

— Я сам знаю, что симулирует! — говорит Мансур Ибрагимович.

Понимая, что мне его не переспорить, прошу докладывать дежурную медсестру родильного отделения.

Медсестра родильного отделения докладывает, что у них рожениц нет.

— Кирпич бар — раствор юк! — замечает Хасан Хасанович.

Все смеются.

Далее докладывает медсестра туберкулёзного отделения о том, что поступивших, выписавшихся нет. Ночь прошла спокойно.

Желая побыстрее закончить пятиминутку, я смотрю на присутствующих — не будет ли вопросов. Вижу, что Хасан Хасанович что-то хочет сказать, и киваю ему головой.

— Тут у нас такое дело: я был вчера на объектах,— с деловым видом начинает он,— и скажу вам, что очень плохо с дезрастворами, а хлорамина вообще нет.— Он смотрит на меня и говорит так, словно дезрастворы нужны мне лично.— Я к тому, что сейчас ещё лето и как бы не было дизентерии. Поэтому, Александр Леонидович, давайте пошлём машину в санэпидстанцию.

— У нас тоже все бланки кончились, захватили бы заодно кто поедет

в центральную,— замечает медстатистик — высокая, похожая на мужика и, как у мужика, с большими жилистыми руками баба.

— Если машина пойдёт, захватите заодно носилки с одеялкой, оставили — и с концом. На моей шее всего на пятнадцать тысяч висит, и никому дела нет,— глядя на меня, с дрожью в голосе подхватывает сестра-хозяйка и излагает, обращаясь ко мне, всё это так же, как и Хасан Хасанович: словно эти носилки и одеялку оставил в центральной я.

Я молчу, но чувствую, что все они уже встают по отношению ко мне в определённую позу, желая установить со мной желательные для них отношения.

— Заканчиваем,— говорю я, подумав, впрочем, что я неплохо в новом статусе начинаю — за всю пятиминутку сказал всего два слова: «начинаем» и «заканчиваем».

Все толпой вываливаются из кабинета, и через полуоткрытую дверь слышно, как они в коридоре обсуждают, что у Николая, чей двор через дорогу от больницы, на клевере объелась корова и что её в три круга гоняли по деревне, но всё равно газы не отошли — она вздулась, словно барабан, и, как не хотелось, пришлось ей прокалывать бок толстой иглой, чтобы выпустить газы.

В кабинет входит старшая сестра и кладёт передо мной требование на спирт и медикаменты. Пробежав глазами бумажки, я перевожу взгляд на старшую сестру. Она готова ответить: сколько для чего, куда и почему, но я вопроса не задаю и в верхнем углу, где уже написано «Утверждаю», ставлю подпись.

— Если всё, я пойду,— кокетничая, что ей, в моём понимании старухе, не к лицу, говорит она и, несколько озадаченная, недовольная, очевидно, ожидавшая с моей стороны какого-то конфиденциального с ней разговора, выходит из кабинета.

Впоследствии мне говорили, что когда главным врачом нашей больницы был Ирек Галимзянович, то она с ним была на очень короткой ноге и так покрикивала на санитарок и медсестёр, что нельзя было разобрать, кто в больнице главное лицо. Когда же главным стал Мансур Ибрагимович, то отношения у них не сложились, и, чувствуя поддержку главного врача района, она называла его дураком.

Не успела уйти старшая, вошла Фёкла Алексеевна.

— Вы уж, Александр Леонидович, извините, что я опоздала. У меня сын приехал, год не виделись, сами понимаете: пока с утра накормишь, пока приберёшь...— Она внимательно наблюдает за моей реакцией и, замечая, что я отношусь к ней пока лояльно, продолжает: — Вы уж не обижайтесь, если я и в обед опоздаю. Курицу, у меня есть одна хромая, будем резать.

Наконец все из кабинета уходят. Собираясь с мыслями, я некоторое время сижу один, но недолго.

В дверь стук, и она открывается. Входит завхоз больницы — Анатолий Петрович и, словно мы закадычные друзья, подаёт мне руку.

— Завхоз больницы,— а у самого глаза красные и подпухшие, небритый, на вид лет пятьдесят, но тон в голосе и выражение на лице, какие бывают у подчинённых, когда они обращаются к ничего не смыслящему в делах начальнику.

Одет он во всё добротное (жена работает в сельпо), но неряшливо. Пиджак запачкан машинным маслом, а фирменная рубашка без двух верхних пуговиц. Но от него не пахнет ни перегаром, ни водкой, ни самогоном. Он отбивает запах валидолом, который, говоря, что у него плохо с сердцем, постоянно выпрашивает у медсестёр.

— Работать, значит, к нам...— говорит он, улыбаясь и показывая не знающие, очевидно, зубной щётки, прокуренные, жёлтые, как у старой кобылы, но здоровые зубы.

По всему видно, что зашёл он ко мне без конкретного дела.

— Как дела, Анатолий Петрович? — перехватывая инициативу, в свою очередь спрашиваю я.

Завхоз, вероятно, не ожидал от меня вопроса, и некоторое время он молча сидит и шарит в своей полупустой голове, желая определиться, о каких же делах можно вести со мной разговор. На его лбу появляются капельки пота. Он достаёт из кармана пиджака платочек и утирается.

— Дела-то, да! Куда ни погляди — кругом дела! — наконец говорит он.— С шофёрами — вот да. Оба на моей шее сидят. Ни тот, ни другой работать не хотят. Один крестовину с меня спрашивает. Это с санитарной, значит. У другого — резина облысела. А где я её возьму? Вот был вчера на кирпичном, у Митрофанова, значит, он — директором. Чё он говорит: «Оплатите по счёту, и с вас причитается».

— Он не болеет? — спрашиваю я.

Завхоз улыбается. Очевидно, оценил мою сметку.

— Так-то оно, да. Вроде и болеет, но не лечится. Два по двести — вот и лечение и дела пойдут. И до вас было так, и опосля нас будет. Везде так. А без этого и со двора не выедешь. Когда до вас Ирек Галимзянович был, сейчас в центральной заправляет, раз мы старый мотор, вот не поверите, как перед крестом говорю, за спирт на новый поменяли. Деньги не берут, а это только покажи. А если который с похмелья, он не то что мотор, есть такие — душу продаст. Не только у нас, везде так. Така жизнь пошла.

— Ну, а по плану, Анатолий Петрович, какие же всё-таки в больнице первоочередные дела? — спрашиваю я, и он опять некоторое время молча смотрит на меня.

— По плану-то, да.— По губам завхоза пробегает подобие иронической улыбки. Очевидно, разговор со мной, с одной стороны, несколько забавляет его.— Их никогда не переделаешь, дела-то, и денег нет. Сколь помню — всегда с протянутой рукой. А дела — куда ни погляди: во перву очередь, нужно дров привесть. Это каждой медичке, значит, за то, что она на деревне живёт, положено дров бесплатно по машине. Каждый год так. А то, особенно старухи, мне с весны проходу не дают. Фокеихе привезли прошлый раз, а она их не берёт. И не сказать чтоб дровишки плохи. Как обычно, на машинёшку несколько плах гнилых, а она не берёт, говорит: «Гнилушки привезли». Трактор, наверно не за так, не поленилась, нашла, себе хороши отобрала, остальное на больничный двор свалила. А я откель ей берёзовых да кленовых найду? С этими бабами беда. Их полна больница. Сами, чай, видите. Через них, считай, и дела не идут.

— А ещё, Анатолий Петрович, какие дела?

— Как же у завхоза дела: куда ни ступи — всё дела. Угля вон, через месяц топить, а ни машины ещё не привезли. Колодец вон, наверное бабы уж говорили, с кех пор не чищен, вода мутна, илом занесло. А кого за деньги туда на бадье спустишь? По пояс в воде. Тоже без поллитра не сделаешь, чтоб не заболеть. Сколь я работаю, всегда с колодцем так.

— А кто чистить-то его должен? Чья обязанность?

— Чья обязанность...— Завхоз с удивлением смотрит на меня, и опять по его губам пробегает подобие лёгкой иронической улыбки.— Какая есть по больнице работа — вся получается моя обязанность. Это у медичек: отдежурил и хвост трубой. А у меня обязанность.

— Сегодня, Анатолий Петрович, на пятиминутке был разговор, что нужно в центральную и за стерильным, и за дезрастворами.

— А им хоть каждый день за тридцать километров машину гоняй. Им по магазинам нужно. Вы к им не приспосабливайтесь. Как нужно вам самим, пускай едут. Скажу шофёру от вашего имени, к завтрему, может, если захочет, машину соберёт.

— Машину-то долго собирать? — спрашиваю я.

— Машинёшку-то? — И опять губы завхоза растягиваются в полуулыбке.— Это он так колёса поснимал и отдыхает. Если захочет, часа за два соберёт.— Некоторое время Анатолий Петрович, продолжая приглядываться ко мне, молчит, а затем продолжает: — Так как же, Александр Леонидович, на кирпичный мне ехать? Уплывёт крестовина, ещё не столько придётся платить! А тут: литр и по рукам. Потом будем локти кусать.

Не зная, как быть, я замялся.

— Я вам что скажу.— Завхоз перешёл на доверительный тон.— У нас тут в соседнем совхозе, в семи километрах, есть спирт-завод. Съездить туда с канистрой, и дело пойдёт. Вон главный из центральной с виду такой гордый, а два раза в месяц ездит.

— Выписать?

— Зачем за деньги! Так нальют. За деньги нельзя. И директор, и главный инженер по очереди на больничном. А к ним все с району ездят: и милиция, и прокурор, и предрик. Первый только не ездит. Не знай, правда, говорят: из другого места к нему чистый возят. А это — сырец, но крепок, всё одно что дважды перегнанный самогон, а подожжёшь — горит. За просто так никто больнице помогать не будет.

— Так туда же ехать — машина нужна,— не без иронии заметил я.

— Это то да... Это мы мигом. Тогда я позвоню, чтоб крестовину не отдавали, а то, ей-Богу, уплывёт.

Не успел завхоз уйти — в дверь стук.

— Иван Никитич,— представился шофёр санитарной машины.

Это — испачканный машинным маслом и солидолом пенсионного возраста мужичишка. Ростом он мал и в плечах не вышел, но взгляд его из-под нахмуренных бровей тяжёлый. В каждой руке, войдя в кабинет, он держит по испачканной машинной смазкой тряпке. «Показывает, что шибко работает»,— глядя на него, думаю я. Брюки у Ивана Никитича особенно изодраны и испачканы, поэтому я ему присесть не предлагаю.

— Вы за главного? — оценивая меня взглядом водянисто-жёлтых, нахальных глаз, спрашивает он.

О нём молва, что он, когда трезвый, ещё куда ни шло, а как немного выпьет, бранится, шебутится, а то и дерётся. Двух жён со света сжил, теперь живёт без детей с третьей, а ума не нажил: хоронится старушка, когда муж пьян, по соседям.

— Машина нужна,— говорю я шофёру, который мне сразу не приглянулся.

— Это куда? — спрашивает он, словно машина его личная.

— В центральную. Вы уже, по-моему, вторую неделю не выезжаете?

— Машина рассыпается, запчастей нет, завхоз — пустое место, языком, словно помелом, задаром треплет. Вот я сам камеру за шестьдесят рублей достал, сейчас покажу.

Иван Никитич выходит из кабинета и тут же возвращается, держа в руке сомнительной новизны резину. Глядя на него, я думаю, что он наверняка её где-то увёл или достал за бутылку, а просит шестьдесят рублей.

— Нужно будет на ремонт машины договор написать. День и ночь, уж восемь лет, езжу без капремонта, а главные врачи как перчатки меняются,— замечает он.

«Ну и кадры! И все на руки глядят»,— думаю я и говорю, что я уже на пятиминутке объявил, что завтра машина пойдёт в центральную. Шофёр, ничего не говоря, смотрит на меня, но я выдерживаю его взгляд.

— Ладно, пойду собирать. Может, если до ночи поработаю, к завтрему управлюсь,— говорит он и выходит из кабинета, но, передумав, тут же возвращается.

— Я тогда, как говорили, завхозу скажу, чтоб договор на камеру писал, а то к завтрему ехать не на чем.

Я опять выдерживаю взгляд водянисто-жёлтых глаз.

— Главное, Иван Никитич, чтоб у вас машина каждый день была на ходу,— говорю я, не желая сразу с ним портить отношения, и даю согласие на приобретение камеры.

Иван Никитич ещё долго не выходит из кабинета и говорит о том, какой он хороший работник, а я, слушая его, начинаю понимать, почему Мансур Ибрагимович частенько срывался на матерщину и «горькую».

5

«Нужно к больным на обход»,— решаю я и, с опаской посматривая в окно — не идёт ли ещё кто ко мне, прохожу в кабинет к старшей сестре, где Фёкла Алексеевна пьёт чай. Увидев меня, она, поперхнувшись, откашлялась и, говоря, что нужно к больным, оставила нас одних. От старшей сестры я узнаю, что Фёкла Алексеевна с Мансуром Ибрагимовичем уже разделились: каждый взял по две палаты и мне оставили две — двенадцать больных. Такое разделение я посчитал несправедливым: ведь мне, плюс ко всему, поскольку я главврач, всё хозяйство и тубдиспансер, но лечебная работа мне нравится.

Старшая сестра глядит на меня и, очевидно, читая мои мысли, говорит:

— Фёкла Алексеевна первую и вторую палату уже лет пятнадцать ведёт. Зимою порою больных до пятидесяти человек в отделении и в коридоре лежит, а она говорит: «Двенадцать человек на полставки, больше не возьму». Ей трава не расти. Ещё полставки у неё в амбулатории на приёме и полставки по дежурству, а на дому её — никогда не найдёшь. Больного как привезут, санитарки с ног сбиваются, бегают по улице, заходя в каждый дом, её не могут найти.

— А Мансур Ибрагимович?

— Он от больных не отказывается. Правда, с ним тоже частенько бывает...— По лицу старшей пробежала улыбка.— Но он, раз с главных его сняли, здесь работать не будет. У него в соседнем районе родственников целая деревня. Уже ездил на той неделе, договаривался. Говорит, что обещали место главного, хвалится, что больница, мол, там лучше и машина новая. Спит и видит себя главным. «Просто так,— говорит,— работать не буду, не дурак».

Просмотрев несколько заполненных на полстранички непонятным почерком историй болезни, я обращаю внимание на то, что Фёкла Алексеевна часть тяжёлых больных из своих палат перевела ко мне. Иду на обход, но в мужской палате никого из больных не застаю.

— Где же больные? — спрашиваю старшую.

— А они ждали, ждали и пошли играть под берёзы в дурака. Эй, Настя, крикни-ка больных к Александру Леонидовичу на обход,— сказала старшая санитарке, которая утюжила шваброй в коридоре пол.

— Счас придут,— отвечала санитарка и протянула мне тетрадный лист — телефонограмму из сельсовета.

В телефонограмме предписывалось, что завтра с утра я должен выделить восемь работников больницы, чтобы они мотыгами сшибли растущую по обочине дороги полынь, лебеду и другие сорняки — должно проехать областное начальство.

— Всё проблемы! Где же их взять, да ещё с мотыгами! — рассуждая вслух, тяжело вздохнул я.

— Ишь, губища-то на восемь растянули! Хватит с них и пяти. Пошлёшь восемь — в следующий раз скажут: давай десять. Да и народ мотыжить силком идёт — это не ток, где можно зерна в сумки насыпать для курей,— сказа-

ла старшая и добавила, что она, от моего имени, обзвонит кого нужно. И, подойдя к открытому окну, через которое было видно, что больные, войдя в азарт, продолжали играть в карты, крикнула:

— Эй, орлы! Врач пришёл, на обход! Кому сколько раз говорено, чтоб, раздевшись по пояс, ждали с утра обхода?!

Через некоторое время в палату стали заходить больные во фланелевых жёлтых, в большую клетку, пижамах одного, пятьдесят четвёртого размера.

Сестра-хозяйка стала в своё оправдание говорить, что на базах пижамы всегда только очень большие, а шлёпки для мужчин — маленького, тридцать девятого размера.

Наконец пришёл последний пациент. Засовывая в нагрудный карман пижамы колоду карт, задирая верхнюю губу, не остыв от игры, он бормотал, что ему нужно было ходить не с шестёрки, а с туза бубей, однако, увидев меня, поздоровался и утих.

— Ну, кто дурак? — войдя в палату, спросила старшая сестра.

— Все дураки, раз здесь в такую пору сидим,— за всех ответил, разбинтовывая больную ногу, самый пожилой из пациентов с загорелым, как бронза, лицом и шеей и совершенно белым телом.

Старшая медсестра для формы, поскольку в палате находился я, сделала мужикам внушение, которое они пропустили мимо ушей, о том, что в больнице нельзя играть в карты, и вышла.

— Давно лежите? — спросил я, присев возле больного на стул и разглядывая его ногу.

— Уж месяц, никак. Все бока отлежал, и ни туда, ни сюда. Мокрота только пошла. Заладили риванолью, так всё одно. Может, что другое? Так до зимы проваляешься. Мне б, дураку, нужно было по-народному — сразу мочой, а я к фельдшерице. Сгробили ногу.

Оказывается, больной по неосторожности в бане обжёг кипятком стопу и голень, лечился амбулаторно, ходил на перевязки, но лучше не стало, очевидно, присоединилась инфекция — направили на койку.

— У вас тенденции к улучшению совсем нет? — уточняю я.

— Уж три недели, как на одном месте, а здесь красноты и мокроты стало больше. Така вот тенденция.— Больной показал на подколенную ямку.

«Раз не помогает, зачем же изо дня в день делать перевязки риванолом»,— подумал я, пытаясь вспомнить, чем же лечат ожоги, но всё это мы когда-то бегло проходили в институте по общей хирургии и, конечно же, я, если что-либо когда-то по этим вопросам и уяснил, то за давностью времени всё позабыл.

— Вы с чем, кроме риванола, делаете перевязки? — спрашиваю я вошедшую медсестру, которую подослала на обход старшая.

Молоденькая медсестра, из местных, как вошла в палату, так, стоя на одном месте, продолжала не мигая смотреть на меня. Я повторил свой вопрос.

— Что есть,— ответила она.

— Логично, а что, кроме риванола, у вас есть?

— У нас ничего нет,— ещё логичней ответила она.

«Нужно спросить у старшей»,— подумал я, в то время как больные внимательно слушали наш диалог, и вышел из палаты.

— Это Фёкла Алексеевна лечит всех риванолом, а Мансур Ибрагимович — мазью Вишневского. Воняет на всю палату, больные жалуются, поэтому ничего больше в аптеке и не заказываем.

— А вы попробуйте стрептоцидом. На пасху у Гришки Зигангирова корова ногу засекла. Мы рану посыпали — быстро затянуло. Потом слесарю нашему собака ногу покусала — тоже помогло,— посоветовала старшая.

Я отдаю из рук в руки, не полагаясь на сестёр, порошок больному.

— Посмотрим, вам видней, вы учёны, а то на прошлой неделе управляющий приходил. «Хватит,— говорит,— валяться. На комбайн посадить некого». А я виноват?! Не по своей же воле!

На следующей койке лежал веснушчатый парень с ярко рыжими волосами.

— Что болит?

Он показывает забинтованный указательный палец на левой руке. Судя по грязному, затёртому бинту, последний раз его перевязывали не позже, как три дня назад.

— Давно лежите? — я ко всем обращаюсь на «вы», а здесь, как я заметил, это не принято.

— Восемнадцатый день срок отбываю.

— Почему вы лежите? На перевязки можно ходить и в амбулаторию.

— Фёкла Алексеевна говорит: «Ты дома гулять будешь, на перевязки ходить не будешь». Из-за больничного лежу.

Я прошу сестру разбинтовать палец, но больной, как муфту, снимает повязку, на которой слои марли уже спеклись между собой.

— Почему не перебинтовываете? — обращаюсь я к медсестре.

— А его на месте, когда ни возьми, нет, да и не даёт. «Без ваших,— говорит,— повязок лучше заживёт».

«Логично,— думаю я.— Раз нет повреждения кожных покровов, то повязка, особенно тугая, будет только нарушать кровоообращение». В довершение ко всему, глядя на меня, больной улыбается, видимо, проникшись ко мне доверием, говорит, что и «муфту» он надевает только перед обходом.

С виду палец у него жёлто-синий и, вследствие отёка, толще обычного.

— Болит?

— Онемел и не гнётся, а так — нормально, не на правой же руке. Может, отрезать, чтоб не мешал?

— Ещё пригодится,— с умным видом говорю я и рекомендую, чтоб лучше гнулся, тренировать его, опустив в кастрюлю с тёплой водой.

— Когда выпишете? Здесь как в тюрьме.

— Он две ночи не ночевал, убегал. Ему Фёкла Алексеевна больничный не хотела давать,— заметила медсестра. Было видно, что с больным она что-то не поделила.

— Выпишем,— уверенно говорю я.

— А Фёкла Алексеевна говорит: «У него перелом»,— опять замечает медсестра.

— Снимки есть? — спросил я, подумав: «Как же это я не попросил их сразу».

Парень из-под подушки вытащил снимки. Они были очень тёмные, но на них действительно можно было разглядеть трещину концевой косточки.

— Да если у меня есть перелом, всё равно ведь без гипса! — глядя на меня, с хитрецой сказал парень.

— Отпускайте его, чего зря парня томить,— заметил сосед по койке, ожидая сухой, со стрептоцидом, перевязки и разглядывая, словно видел впервые, свою обожжённую кипятком ногу.

«Им видней»,— подумал я и говорю:

— Выписать.

— Сегодня?! — просиял парень.

— Да.

Пациент, не скрывая радости, встал, засуетился, затем опять сел, полез в тумбочку и только после того, как ему сделали замечание, он, говоря, что в больнице не может находиться больше ни одной минуты, лёг на кровать и зарылся головой в подушку.

— Слава Богу! — ответил на мой вопрос о самочувствии следующий па-

циент. Я встретился взглядом со слезящимися, на морщинистом лице, глазами; взглянул на лицевую сторону истории болезни и узнал, что больному всего, оказывается, пятьдесят четыре года, а выглядит на все семьдесят, но на свою жизнь не жаловался.

— Жить можно,— сказал он.— Харч есть, который раз даже выпьешь — чем не жизнь! Слава Богу! Каша у вас в больнице хороша, каждый день она, каша. Был бы вот ещё овощ, а так — слава Богу, чем не жизнь!

Больной — хроник, и ему, очевидно, «ушедшему в болезнь», доставляет некоторое удовольствие рассказывать о своём заболевании. По его неторопливому рассказу выходит, что он перенёс инфаркт миокарда, что у него аритмия сердца, одышка, бессонница, язва желудка и масса других недугов. Он уже месяц, без особого эффекта, пролежал в стационаре, и ежедневно ему, давая мочегонное, делали внутривенные вливания.

— Послушаем,— сказал я, вынимая из кармана фонендоскоп. Больной стал, не торопясь, раздеваться. Он уже пролечился во многих, в том числе и в республиканской, больницах, где его слушали очень много докторов и обследовали на современных аппаратах. И при этом сказали, что «поезд ушёл», поэтому к моему слушанию он относился добродушно-скептически. Ведь у него была, как он понимал, болезнь, которую никто не мог вылечить, к тому же, у кого бы он ни спрашивал, каждый из докторов объяснял ему его состояние по-своему.

— Т-а-ак,— сказал я, переставляя фонендоскоп и не обращая внимания на пульсацию яремных вен шеи, что свидетельствовало о пороке трёхстворчатого клапана.

Были слышны, по всей вероятности, и систолический, и диастолический шумы, в которых я не мог разобраться, но виду не подавал.

— Вам какой ставили порок?

— По-разному: кто говорил, что аорта, кто — ещё не знай чего.

— Да, есть и на аорте,— как бы сам с собой рассуждая, говорю я и спрашиваю: — Почему же вас не стали оперировать?

— Без толку. «На столе,— сказали,— помрёшь». Раньше бы — другое дело. Вон Митька Павлухин съездил, правда, родственники у него там, посмотрели, говорят: «Приезжай через три месяца». Через три месяца приехал — не обманули, сделали. Сказали ему, вроде как пять лет гарантия, а опосля, мол,— как Бог на душу положит.

— Сложный порок,— говорю я,— нужно было раньше на операцию.

— Это и я сейчас знаю. Если б, в своё время, года три назад, врачи меня направили, сам знаю — другое бы дело. А сейчас что — русский мужик крепок задним умом.

— А дома вы пьёте что-нибудь?

— Я, чай, желудок уж отравил.

Я стал объяснять больному, что ему следует подобрать дозы сердечных и мочегонных препаратов и, при необходимости увеличивая или уменьшая дозу, систематически их дома принимать.

Пока я говорил, больной, с выражением лица, какое бывает у взрослых, когда они с умилением слушают детей, смотрел на меня и в знак согласия кивал головой, но по его глазам было видно, что он ничего дома принимать не будет и не держится за жизнь.

Следующий больной был древний дед.

— Что болит?

— Всё, сынок,— не сразу отвечает он на традиционный вопрос.

— А что больше всего?

— Всё, сынок.

— А что вам больше всего помогает?

— Всё, сынок. Всяка таблетка во мне место находит.

Наконец я понимаю, что мой пациент не столько лечится, получая уже полтора месяца инъекции папаверина и две таблетки цитрамона, сколько, очевидно, не имея за собой дома постороннего ухода, отлёживается. Приписываю ему витамины.

— Дай Бог вам доброго здоровья! Дай Бог вам доброго здоровья! — благодарит он меня, конечно же, не за витамины, а за то, что понимаю его.

— А эти две койки почему свободные?

— Ещё не сезон,— поясняют мне,— не сезон. Вот как кончится уборочна, уберут картошку, тогда можно и поболеть.

6

«Кажется, я произвёл на больных хорошее впечатление»,— думаю я, выходя из палаты, и захожу к старшей сестре, чтобы спросить: почему без показаний госпитализировали парня и нерегулярно делают ему перевязки?

— А это Фёкла Алексеевна, чтобы койко-дни шли. С кем меньше хлопот, того и кладёт. Другой раз привезут тяжёлого, она не положит, говорит: «Поезжайте в центральную»,— а сама направление не даёт. Недели две назад, вас ещё не было, привезли больного. У него всё: и астма, и сердце, и давление. Может быть, ему и на самом деле легче не стало бы у нас — не положила. «Мест,— говорит,— нет. Дома,— говорит,— лечитесь». Прописала горчичники на пятки и зверобоя. Она всем это прописывает.

«Нужно прочитать, от чего конкретно применяется зверобой»,— подумал я и прошёл к своему кабинету.

Перед кабинетом меня поджидал завхоз по питанию — Гришка. Он мужик невидный, медлительный, ленивый, хоть и ловко может работать языком, и одежда на нём серая, словно маскировочная, смотрит на меня молча, с прищуром, словно дураковатый, но видно, что себе на уме и всё чего-то не договаривает. «Опарыш» — окрестили его, видимо, неспроста. Это прозвище к нему давно прилипло, не отдерёшь.

Извинился, что беспокоит меня, но не по-простому, по-деревенски, а неестественно вежливо и в глаза не смотрит. Стали обсуждать вопрос о том, что в больнице, уже не говоря о сметане, давно нет молока. Всё готовят на воде, другой раз забелить нечем.

— Раньше с фермы брали,— объясняет Гришка,— из-под коровы, а теперь до кого-то дошло в колхозе, что не входит взятое нами молоко в план. Говорят: «Берите с маслозавода»,— а это в один только конец семь километров, и молоко разбавленное. Иван Иванович, наш конюх, мог бы ездить — работы у него: в день бросить мерину и кобыле по клочку сена да напоить, не хочет, заелся, просит за это полставки дворника.

— Это много? — спрашиваю я.

— Тридцать рублей. Вон он стоит на крыльце.

Я заглянул в окно. На крыльце стоял, коптя самокруткой, лет пятидесяти пяти худой, сутулый, узколицый и узкоплечий, в сером потёртом пиджаке мужик.

— Пускай войдёт.

Гришка стукнул кулаком по раме.

— Здрасьте! — Иван Иванович протянул мне руку. Я пожал сухую, мозолистую ладонь. Моему самолюбию льстило, что ко мне с почтением относятся мужики, которым я гожусь в сыновья.

— Вот, поговорите с ним. Никто молоко возить не хочет,— кивая на конюха, небрежно заметил Гришка, что не понравилось Ивану Ивановичу, и он вскипел:

— А ты небось, по ряшке видно, заработался! И сам будешь возить, не переломишься. У нас баре перевелись. За весь день работы: кухаркам отсыпать

пшена. А за молоком чуть свет нужно. Дайте полставки, тогда согласен. Больница не обедняет. Или сам полставки бери,— обратился он к Гришке.— Ставка дворника всё равно пропадает.

— Было бы время, тебя бы и не спросили. Мне и в сельсовет, мне и в сельпо, мне и за мясом в мясокомбинат, целый день крутёж,— возразил на высоких тонах Гришка.

— То-то и видно, что закрутился, только всё больше около магазина, чтоб остограмиться.

— Если и выпью, не за твои же!

— Знам мы, за чьи...

У Гришки, втягивающего в себя воздух, на шее вздулись вены, глаза сузились, и он побагровел.

«Пора разнимать»,— подумал я и, опережая Гришку, который изготовился налететь на конюха, как бы рассуждая сам с собой, сказал:

— Если свободна, почему бы не дать...

И Гришка, и Иван Иванович явно не ожидали такого оборота. Ведь никогда ещё никому здесь совместительство не давали, да и считалось: «Если главный не даёт, значит, требовательный и строгий».

— Если свободна, почему бы не дать,— повторяю я, в то время как Гришка с конюхом с удивлением смотрят на меня. И набираю номер главного бухгалтера в сельсовете. У него в сейфе книга приказов.

Последовал долгий и трудный разговор, во время которого, называя и Гришку, и Ивана Ивановича бездельниками, главбух говорил о сохранности государственного имущества, и лишь после того как я обещал его вылечить от радикулита, он согласился. При этом конюх был очень доволен, а выражение лица у Гришки следовало понимать так, что вторую полставки дворника следует отдать ему. Я взял папку с историями болезней и, думая, что нужно упорядочить рабочий день, а то не будет времени заниматься лечебной работой, пошёл на обход в следующую палату.

Вторая палата была женской. На четырёх кроватях лежали, одна другой старше, четыре старушки. Я пробежал глазами по историям болезней. На двух был написан диагноз «Атеросклероз» и на двух диагноза не было. В это время в палату вошла Фёкла Алексеевна и мне пояснила, что эти пациентки поступают к нам в больницу каждое лето.

— А какая необходимость? — спросил я.

— И нам хорошо, чтоб места не пустовали, а то скажут: «Ничего не делаете»,— и для них — уход и харчи казённые, а пенсия небось на книжку идёт.

Я хотел сказать Фёкле Алексеевне, что подобный разговор при больных неуместен, но она махнула в их сторону рукой.

— А они ничего не слышат, а если и слышат, то всё равно ничего не понимают,— сказала она и объяснила мне, что в этой палате обход делать каждый день необязательно: и их беспокоить, и нам работы меньше.

Не зная, что и сказать, я с удивлением посмотрел на коллегу, а она, как торговка на базаре, подперев руками бока, посмотрела на меня, как на покупателя, которого она, себе в убыток, щедро одарила товаром.

— Видите, каких хороших больных я вам передаю,— улыбаясь во весь рот и полагая, что делает мне нечто очень хорошее, сказала она и, переваливаясь с ноги на ногу, вышла из палаты. Получалось, что я ей после «благородного» с её стороны жеста был чем-то обязан.

Прослушав старушек, которые, как оказалось, не были безразличны к вниманию и предъявляли массу жалоб, и приписав им в основном витамины, я направился в столовую, не желая идти в свой кабинет, где наверняка кто-то поджидал меня с немедицинским вопросом.

В столовой работал телевизор, показывали «Утреннюю почту». За одним из столов, которые освободились после завтрака больных и были убраны, си-

дела Фёкла Алексеевна, которая уже давно сделала обход. Перед ней лежали, создавая рабочую обстановку, разбросанные по столу истории болезни. В руке она держала ручку и с улыбкой на лице смотрела передачу. Увидев меня, она стала водить закрытой колпачком ручкой по бумаге. Рядом с ней, за другим столом сидели: сестра-хозяйка, две санитарки и вторая постовая сестра. Я выразительно посмотрел на них и, не заходя в столовую, громко хлопнул дверью — ведь всё-таки рабочее время.

Через стекло в двери я видел, как они по-особому переглянулись, после чего постовая сестра вышла, выразительно посмотрела на меня и, чувствуя, что я смотрю ей вслед, засеменила на рабочее место. У неё были уж слишком тонкие ноги, но грудь была развита хорошо и, что не часто встретишь у деревенских девушек, с тонкими чертами лицо.

Я прошёл в лаборантскую, представлявшую из себя с одним окном каморку, и увидел с порога на полу оцинкованный таз, куда с потолка капала вода. «С утра был дождик»,— подумал я и огляделся. В каморке никого не было. Всё оборудование лаборатории состояло из стола, на котором стоял микроскоп, небольшого шкафчика, где хранились предметные стёкла и пузырьки с краской. Под столом стояла большая открытая кастрюля, заполненная, по всей вероятности, водой. На дне лежало несколько зондов для желудочного и дуоденального зондирования. У стены под окном стояло с дюжину пустых поллитровых и литровых банок. «Моча» — было написано синей краской на каждой из них. На подоконнике лежало несколько листочков тёмно-серой обёрточной бумаги — анализы мочи. На каждом было написано: «уд. вес. 1020, сахара нет». Тут же лежало несколько написанных на типографских бланках анализов крови. «Наверняка с потолка»,— подумал я, уже обратив внимание, когда просматривал истории болезней, что у всех больных количество лейкоцитов равнялось пяти тысячам и были одинаковые цифры гемоглобина.

Вошла Флёра — лаборантка и, не здороваясь со мной, как мимо пустого места прошла к столу. Это меня задело, ведь я всё-таки какой-никакой, а главный врач. Лицом и телом Флёра была без признаков сексуальности, невзрачная, но о себе большого мнения. Жила она на квартире у одинокой старухи и в девках давно заматерела, серьёзно объясняя это объективными причинами:

— Здесь нет для меня ни одного путного мужика.

Потоптавшись на месте, я спросил:

— Флёра, скажите, пожалуйста, никак не могу понять: почему у всех наших больных одинаковое количество лейкоцитов и гемоглобина?

— А у нас все больные, сами должны понимать, примерно одинаковые и едят одинаково. Что вижу, то и пишу,— поясняет она и, набивая себе цену, говорит, что она вообще-то раньше работала в городской больнице и даже делала разгон белков и что она хотела из этой дыры уехать, чтоб заживо не пропадать,— приглашали, как хорошего специалиста, в одно место, но здесь уговорили, и пока она на полторы ставки осталась.

— А формулу развёрнутую крови вы подсчитать можете? — интересуюсь я.

— Если захочу — всё могу. Ищите реактивы. Здесь и это,— она показала на анализы крови и мочи, которые валялись на подоконнике,— пока сама не отнесёшь, никто не спрашивает. А вы ведь, кажется, сейчас за главного? — на другую, более важную для себя тему перевела она разговор.

— Да.

— Я обычно два раза в месяц, на пятницу, уезжаю — в понедельник приезжаю. Нужно к родителям, так сказать, проведать.

Я, не зная, что и сказать, молчу. Она, убирая со стола предметные стёкла и пузырьки, тоже молчит.

— На обед пора,— поясняет затем она, вешает халат, перешагивает через таз и оставляет меня одного.

«Здесь почти с каждым нужно начинать с воспитательной работы»,— думаю я и, поскольку в обед мне нужно снимать пробу, направляюсь на кухню.

Войдя на кухню, я прикрыл за собой лёгкую, из реек, обтянутую от мух марлей дверь и поздоровался. Две поварихи томашились около большой, размером с двуспальную кровать печи, которая была заставлена сковородами и кастрюлями. То ли специально, а может, и не заметили, но мне никто не ответил. Потоптавшись на месте, я, удивляясь, подумал: «Как же здесь можно работать»,— ибо жара на кухне была, несмотря на то, что через открытое окно и дверь тянуло сквозняком, как в жарко натопленной бане, после того как на каменку плеснёшь ковша три воды.

— Ольга! Главный доктор пришёл! Смети со стола,— наконец крикнула, посмотрев на меня, на удивленье худая, жилистая, не похожая на повариху средних лет женщина, которую звали Настей, и стала ещё усерднее размешивать в большом котле борщ, от которого валом, вследствие бурного кипения, шёл пар.

— Что будете: борщ аль постный суп? — смахивая вафельным полотенцем со стола крошки, спросила меня высокая, в теле, по всему видно физически сильная, с правильными, но крупными чертами лица женщина.

— Налей овощного, мясо же сёдни Гришка отпустил не свеже,— крикнула ей Настя и, нагнувшись перед печью, затолкала в неё три сучкастых метровых плахи.— Вот, так и работаем! — прикрыв дверцу печи ногой, сказала она.— Любой мужик дня бы на такой жаре не выдержал, а нам — всё ладно, горбаться, а заболеешь, и никому дела нет.

— Вот, посмотрите, раз уж пришли,— подозвала меня Ольга к печи.— Плита треснула, а если совсем провалится? У нас на восемь ведёр котлы, обварят, не дай Бог, кому мы тогда нужны?! Здесь всё сухое, раскалено, выбежать не успеешь, как порох сгорит.

Я подошёл к плите. Чугунная перемычка действительно с одного конца, больше чем наполовину, треснула. В трещину было видно буйное пламя, которым были объяты сухие плахи. Иногда, когда порывы ветра ослабевали и уменьшалась тяга, из трещины на кухню выходили струйки дыма.

— За день здесь нажабаешься, домой придёшь — голова как вот этот котёл.— Настя показала на большой, чёрный от копоти чугун, в котором клёкла ячменная каша.

— Два мужика-завхоза,— подхватила Ольга,— и толку ни от одного нет. Только б опохмелиться с утра глядят. Будь у меня такой, как Гришка, мужик, давно б, глаза б мои не глядели, в салазки согнула. Сёдни гляжу, куды там: выходит в шляпе от вас! А мясо, спрашивается, не свеже почему?! Потому что он третьего дня, с пьяных глаз, вывалил в сенки его. На другой день, пока мы не пришли, на полу валялось, мухи всё обосрали, а нам опять отмывай.

— Другие б и не отмывали — всё равно больные сожрут,— вставила Настя.

— Хозяев нет. Хозяин бы был, за одно только это дело в кровь зараз морду набил, небось сразу бы закрутился, а ему — всё сходит с рук.

Между тем я, думая, что мне дадут спокойно поесть, пятясь задом, робко присел на стул и помешал в тарелке ложкой.

— А кастрюли — срамота одна,— продолжала Настя,— все погорели давно. Трёшь, трёшь, чтоб вымыть, без рук остались — не ототрёшь, и ручки, того и гляди, отвалятся — ошпаришь себя кипятком. Который год уж Опарышу говорим, что в эти кастрюли, что ни нальёшь — всё, не успеешь оглянуться, пригорает. Всего одна алюминиева хороша кастрюля осталась, а если б несколько было, мы б зараз всё ставили на огонь.

— Ещё я вам что скажу,— продолжала Настя.— Мы вас не знаем, чело-

век вы с виду, может, и не плохой, но только, чтоб наших мужиков работать заставить, глотка нужна. Глядят, чтоб только выпить, и дома, по хозяйству, всё повесили на баб. На что Ибрагимыч как с ними матюкался, а всё равно дело не шло.

Поварихи говорили, а я всё ниже и ниже опускал голову, словно во всём был виноват. Наконец, не выдержав, отхлебав всего полтарелки безвкусного, из пакетиков, супа и прикусив котлету с душком, я улучил момент и вышмыгнул из кухни на волю.

«Теперь понятно, почему Мансур Ибрагимович не только матюкался, но и запирал кочегара в ящик из-под угля»,— думал я, направляясь с тяжёлым сердцем на приём в амбулаторию.

7

На приёме было всего три человека. Одна старушка с высоким давлением, которое не снижалось, несмотря на то что ей в течение двух недель внутримышечно делали инъекции дибазола.

«У бедной глаза на лоб лезут, а ей заладили по два кубика дибазола — неужели нельзя сообразить»,— глядя на старушку, думаю я и утраиваю дозу дибазола, назначаю ещё два сорта таблеток.

— Спасибо, дай Бог те здоровья, сынок! Что доктора назначают, я не выбрасываю, как некоторы, пью. Лишь бы помогло и желудок не спалить,— лепечет старушка, ещё раз благодарит и уходит.

— У меня уж это давно, животом маюсь! — говорит второй больной.

«Наверно, гастрит,— думаю я, намяв до боли, без надобности, больному живот и назначаю ему, поскольку он ещё это лекарство не принимал, альмагель.

— Поможет? — спрашивает больной.

— Раз назначаю, значит, поможет,— отвечаю уверенно я и думаю, что, если не поможет, то направлю больного на рентгенологическое обследование, и в тоже время сомневаюсь — дать или не дать больничный.

— Скажите, а вы сможете работать? — спрашиваю его.

— Если бы смог, к вам бы не пришёл,— отвечает больной.— Вот не поверите, вчера вышел на берег, я около речки живу, дай, думаю, порыбачу, погода к клёву. Зашёл в сенки, а у меня там лодчонка самодельная из дюральки, ну от силы килограммов двадцать, до берега донёс — как стало крутить, как стало крутить. Развёл соды неполну столову ложку в сметане, выпил — вроде отпустило, а утром поел яичню с луком — опять скрутило. А работа у меня — балки варим, приходится тяжести поднимать.

Я записываю в амбулаторной карточке результаты обследования больного, выписываю, по поводу обострения хронического гастрита, больничный, и далее мы говорим о том, какая в нашей речушке водится рыбёшка и на что лучше берёт: на червя, хлеб, горох или пшеницу. Затем пациент нагибается к сумке, которую он, войдя в кабинет, поставил на пол, и вытаскивает из неё двух отливающих желтизной лещей.

— От чистого сердца, не побрезгуйте,— говорит он, прикладывая руку к груди.

Я отказываюсь, он обижается.

— Ну, не понесу же я это, у всех на виду, под мышкой,— говорю.

— А вы в газетку и за пазуху,— рекомендует он. Мы договариваемся сходить с ним на рыбалку.

«А иначе с этой работой с ума сойдёшь!» — думаю я.

Больше на приём никто не заходит. Я выхожу из кабинета. В коридоре на лавке сидит и заинтересованно посматривает на меня с виду не больной средних лет круглолицый загорелый гражданин.

— Там ещё какой-то мужчина ожидает, почему не заходит на приём? — интересуюсь я у процедурной медсестры, которая по-особому смотрит на меня и мне, взаимно, симпатична.

— Это к Нине Ильиничне родственник приехал, она с вами хотела переговорить,— загадочно отвечает медсестра.

Переваливаясь с ноги на ногу, ко мне подходит такая же толстая, как Фёкла Алексеевна, регистраторша. По понятиям наших сельчан, женская полнота — это признак благосостояния, здоровья и даже красоты.

— Вы уж извините, Александр Леонидович, пожалуйста, что с просьбой я к вам,— растягивая слова, начинает слащаво она.— Так уж получилось, знаете наше деревенское житьё: живу я одна с дочкой, мужа нет, уж третий год как отошёл.— У Нины Ильиничны голос задрожал, и она два раза всхлипнула.— Третьего дня брат ко мне приехал на три дня, отпуск у него кончается. Вон он там сидит. Хотелось бы, чтобы он дров немного заготовил нам с дочкой на зиму, если, конечно, вы разрешите.

— Так пускай готовит.

— А вы больничный заверите?

— Больничный?! — удивляюсь я.

— Ну да. Я уж с Фёклой Алексеевной договорилась. Она и карточку оформит, и больничный дней на десять даст, ему больше не нужно. Если вы заверите, мы у старшей поставим круглую печать. Так уж нужно по правилам.

Я смотрю удивлённо на Нину Ильиничну и не знаю, что сказать.

— С просьбой мы уж к вам, прямо и неудобно, в первый раз приходится просить.

«Откажешь — не поймут. Сразу станешь плохим человеком»,— думаю я, киваю в знак согласия головой и интересуюсь:

— Неужели больше некому за дровами?

— Ей-Богу, с дочкой одни живём. Одиночка я,— отвечает Нина Ильинична и опять просит.

Я опять в знак согласия киваю головой, но Нина Ильинична непонятлива, не схватывает на лету и продолжает просить, пока я не даю устное согласие.

Больных на приёме больше нет. В течение получаса я сижу в кабинете один, посматриваю на часы, скучаю и думаю, что рабочее время ещё не вышло и, если я сейчас уйду, то следом за мной тут же разбегутся работники амбулатории. Это меня тяготит.

А на дворе чудный августовский, каких в средней полосе выпадает немного, жаркий безоблачный и безветренный день. Амбулатория наша на краю деревни, и в открытое окно еле слышно, как издалека доносится рокотание мотора. Идёт уборочная. Благодать и тихо. Я закрываю на крючок из согнутого гвоздя дверь, приваливаюсь на кушетку и, закрыв глаза, представляю не столь многолюдный, как в июльскую жару, волжский пляж. Я люблю плавать. Заплывёшь далеко-далеко, так, что на берегу люди кажутся не больше игрушечных человечков, ляжешь на спину, смотришь на голубое небо, тебя слегка покачивает — и думаешь, что на свете, оказывается, есть счастье.

Зазвонил телефон и вернул меня к реальной жизни. Постовая сестра из стационара сообщала, что на телеге привезли в невменяемом состоянии — известно от чего — мужика. Нужно идти. Я полагал, что больного уже госпитализировали, и, выйдя на крыльцо, был удивлён, увидев понуро шагающую к амбулатории впряжённую в телегу клячу. У нас всё так: с ног на голову!

— Ой, помирает! Ой, моченьки нет, помирает! — голосила идущая рядом с телегой жена больного.

8

На другой день в женской палате меня ожидала новая больная, на которую косо посматривали соседки, поскольку у неё из раны выделялся гной и в палате стоял тяжёлый, с гнилостным запахом, воздух.

Она лежала на левом боку на специально подложенной, чтобы не пачкать постель, клеёнке и страдающими глазами с надеждой смотрела на меня. Здороваясь с пациенткой, я обратил внимание на её загорелые лежащие поверх простыни большие, как у мужчины, повидавшие много труда руки и на бледно-серое, с желтоватым оттенком, измотанное лихорадкой, подпухшее, дряблое, в мелких морщинках лицо.

— Месяц уж здесь, как прописалась, страдаю, не грешила вроде, не за что. На своих ногах пришла, за семьдесят килограммов была, работала — дай Бог так каждому мужику, а сейчас, вот видите, одни кожа да кости. Вот к вам, извините, самовольно перешла. У Фёклы Алексеевны в палате была. Может, вы поможете.— Она улыбается, глядя на меня, виноватой, страдальческой улыбкой.— Как месяц назад пошла после укола температура, так, не поверите, не отпускает, к смерти гонит и гонит. И всё, не знай откуда только берётся, течёт и течёт из меня.— Больная показала глазами на рану в области правой ягодицы.— Ведра два небось уж натекло.

Я собираю анамнез. Оказывается, она обратилась в нашу амбулаторию по поводу повышенного артериального давления, для снижения которого Фёкла Алексеевна приписала ей внутримышечное, сернокислую магнезию. Однако в процедурном кабинете медсестра по ошибке вместо магнезии ввела ей глубоко в мышцу десятипроцентный хлористый кальций, который вызывает некроз тканей. Через три дня больную госпитализировали по поводу постинъекционного абсцесса правой ягодицы. С тех пор, уже более месяца, высокая температура не спадала. Больную лечили компрессами с мазью Вишневского. Дней через восемь абсцесс прорвался, и с тех пор из раны текло и текло гнойное отделяемое.

— А антибиотики?

— Пенициллин первые три дня на здоровую сторону, а потом и здесь стало болеть. Стало, не поверите, плотно, как лубок. После спиртных компрессов, слава Богу, помягчело, а то нельзя было и на левую сторону лечь, несколько дней, измучилась, лежала только на животе.

Она не могла наступать на больную ногу и кое-как заковыляла на перевязку в процедурную с помощью костылей.

«Может быть, воспаление с мягких тканей перешло на кость, нужно обязательно сделать снимок и направить больную в центральную больницу к хирургу»,— глядя на неё, решил я.

Вся повязка промокла гнойным отделяемым.

— Сколько раз вы перевязываете? — спрашиваю медсестру.

— Один раз.

— В день?

— Как уж обычно.

— Нужно минимум два раза,— распорядился я, с понимающим видом разглядывая синюшную ягодицу.

Область абсцесса при дотрагивании была болезненной, а при осторожном надавливании на неё из трёх небольших отверстий вытекал гной.

«Нет достаточно оттока, а может, здесь какая-то злостная инфекция, нужно резать»,— по-своему рассудил я.

— Мы вас завтра отвезём в центральную больницу к хирургу,— говорю больной.

— Хоть куда, хоть в Америку, на всё согласна, лишь бы отпустило. К смерти гонит и гонит, а который раз как начнёт токать, хоть на крик кричи.

На следующий день ко мне подходит Фёкла Алексеевна.

— Куприянова к вам вчера перевелась,— говорит она мне.— Всё чем-то недовольна, опять мы виноваты, что у неё не заживает. И перевязки Вишнёвкой делаем, и спирта на компрессы не пожалели, от уколов сама отказалась. Она мне тоже надоела. Слава Богу, что от меня ушла.— И заковыляла утиной походкой в столовую.

«Нужно распорядиться, чтобы в столовой включали телевизор только в определённые часы»,— глядя ей вслед, думаю я, но меня опять дёргают — зовут к телефону.

— Василь Васильевич звонит, председатель сельсовета,— с достоинством представился звонивший.

— Я вас внимательно слушаю. Очень хорошо, что вы позвонили. У меня к вам несколько вопросов,— говорю я.

— Хорошо-то хорошо, только вот сейчас я проехал по участку, который мы вам выделили,— ни одного человека с мотыгой. Срочно сегодня же выделите людей, а то они у вас и на работу не ходят, и с мотыгами на дорогу не ходят — за что только деньги получают.

— А зачем не в поле, а вдоль дороги полоть? — спрашиваю я.

— Ну, это не наше дело. Наше дело не рассуждать, а исполнять. Сегодня сам первый звонил, говорит: «Голову снесу».

— Что за первый? — задаю я наивный вопрос.

— Секретарь райкома! — словно школьнику внушительно говорит мне председатель.

— А платить кто будет, а то у нас здесь спрашивают? — не унимаюсь я.

— В рабочее время посылаем, а вы платить! Если есть возможность, я бы на вашем месте и больных из больницы, кто в состоянии, послал.

— У нас нет таких,— говорю я и, пользуясь случаем, спрашиваю: — Василь Васильевич, скажите, пожалуйста, сколько денег на больничном счету?

— Это по статьям-то?

— Да.

— Да промотали уж, наверно, всё.

— Как промотали?

— Ну, проели, разница-то кака...

— А жить на что? Ведь до конца года ещё пять месяцев!

— Ну, может, что и осталось, приходите к главбуху, разберётесь. А мне сейчас не до этого, с меня, если сорняки вдоль дороги не посшибаю, голову снимут.— И я слышу короткие гудки.

Я вчера не снимал пробу и питался «чем Бог послал», но сегодня, как никогда, кушать хочется. С тяжёлым сердцем иду на кухню. На этот раз поварихи встречают меня как будто приветливо: налили молча большую тарелку лапши, поставили передо мной перловую кашу с маленькой котлеткой. «Слава Богу! На этот раз дадут спокойно покушать!» — думаю я, но не тут-то было. Начали, выбрав подходящий момент, когда я только откусил кусок хлеба.

— Вот вы, главный дохтор, посмотрите-ка,— подойдя ко мне, сказала Настя,— какую на три дни Гришка марлюшку даёт. Вот! — Настя, в то время как я хлебнул и ещё не успел проглотить обжигающую лапшу, потрясла передо мной порванной посередине, далеко не белоснежной, со специфическим запахом марлей.

— Гришка-то, чай, по себе думает,— заметила Ольга,— что мы её сопрём. А по мне, такая марлюшка и даром не нужна. Этот год, вон, мне свекровка два больших китайских полотенца привезла. А этой не то что со стола смахнуть — Гришкиной Верке одно место подтереть не хватит.

У меня лапша попадает в трахею, и я, нагнувшись, мучительно долго откашливаюсь, затем поднимаю красные глаза на поварих и вижу, что они, гля-

дя на меня, не смеются. Я утираю платочком навернувшиеся от дикого кашля слёзы и опять беру ложку.

— А я вот ещё чё вам скажу,— говорит Настя.— Мы вам молочной лапши подали, так вы, наверно, думаете, что Ванька хорошего молока сёдни привёз? — Я сижу, молчу и думаю: «Нет уж, раз сегодня пришёл — специально всё, что мне наложили, съем!».— А оно вон, Ванькино-то молоко,— не успел привезти, уже скислось.— Настя показала глазами на сорокапятилитровую флягу, что стояла в углу.— Чтоб не пропало, на творог пустим.

— А ему что — не для себя же! Налили дураку вчерашнее молоко, он и взял. Не знай ещё творог какой выйдет, а то загорчит — в рот не возьмёшь. Опять мы будем виноваты! — замечает Ольга.

Я продолжаю молча, почти что не жуя, проглатывать кашу, а затем робко, не к месту говорю, что конюху Ивану Ивановичу (при упоминании имени-отчества конюха, которого зовут они Ванюшкой, по лицам поварих пробегает уничтожающая меня, язвительная улыбка), чтобы он регулярно возил молоко, дали полставки дворника.

— Да я б ему,— перебивает меня Ольга,— не то что полставки, этой бы зарплаты не платила. Корову, козу на больничном сене держит, и ему ещё полставки, а как чё попросишь — шею воротит, словно лошади его. А которые и в больнице не работают, глядишь, за бутылку и дрова и сено нагрузят так, что телега трещит. Им всё можно, и никому дела нет. У него стыда вот столечки нет! — Ольга показывает мне кончик мизинца.— Он и ещё ставку попросит, а мы с утра до вечера, как проклятые, котлы ворочаем. Да было б где в деревне приткнуться — ноги б нашей здесь не было!

В этот момент я почти что доел поставленную передо мной съедобную пищу и, поскольку обе поварихи, отойдя от меня, стали переставлять на печи бурно закипевший котёл с борщом, незаметно вышмыгнул из кухни.

Вздохнув полной грудью и вытерев пот с лица и шеи, я прошёл мимо котельной, около которой не было припасено на зиму ни килограмма угля, пошёл дальше по тропке к дыре, которая была проделана в больничном заборе, и направился задами вдоль маленькой речушки, где пацаны ловили марлей пескарей, к сельсовету.

Сельсовет располагался в пятистенной избе с прогнившими наличниками и разваливающимся крыльцом. Ещё издали, на глаз, было заметно, что одна из печных труб сельсовета, которая почему-то была выше другой, покосилась и, казалось, могла в любой момент завалиться. К фронтону избы с двух сторон были прибиты красные флаги. Напротив, через пыльную дорогу, уже пять лет строилось новое здание сельсовета, которое было раза в три больше прежнего, но тоже деревянное и с котельной. Осиновый сруб, не подведённый под крышу, уже почернел. Пакля, по казённому заткнутая в пазы, частью прогнила, а ту, что не сгнила, птички растащили на гнёзда, но:

— Это не беда, были бы кости, мясо нарастёт. Мы его снаружи обошьём, а снутри отштукатурим,— говорил председатель.— Были бы только деньги.

— А когда же они будут? — спрашивали его.

— А вот как труба свалится,— показывая на накренившуюся трубу, говорил он,— так приедет с района начальство, распорядится.

Отворив скрипучую дверь, я вошёл в сельсовет и, переступив порог, поздоровался. Все, кто были в помещении, не скрывая любопытства, осмотрели меня с ног до головы.

Во всём, куда ни погляди, была теснота. По одну сторону избы стоял стол председателя, рядом, угол к углу, стол секретаря-паспортиста. Эту должность занимал мужик с толстой красной шеей, здоровый, с десятиклассным образованием. У него, как личная, была сельсоветская бензопила «Дружба», и он постоянно ходил по домам калымить. Заходил уже ко мне в больницу.

— За распиловку со мной расплачиваются магарычом, денег не беру,— говорил он мне.— Но с вас можно и по договору.

Вдоль стены стояло несколько, ещё от помещика, старинных дубовых, представлявших антикварную ценность, чудом сохранившихся высоких шкафов. Все они были заполнены макулатурой, и на каждом из них висело по большому современному амбарному замку. Кроме того, бумагами шкафы были завалены и сверху, до потолка. Тут же у стены стоял стол участкового милиционера.

По другую сторону избы посередине располагался самый большой в сельсовете стол главного бухгалтера. За ним сидел с короткой шеей и длинным туловищем, с свёкольным носом на мясистом лице, пудов на семь с половиной мужик. Стол второго бухгалтера был раза в два меньше, и восседал за ним маленький, горбатенький с птичьим лицом мужичишка. Если по лицу главного бухгалтера можно было предположить, что у его владельца чувство юмора отсутствует полностью, то младший бухгалтер, напротив, почти постоянно беспричинно смеялся или улыбался. Оба вместе они смотрелись карикатурно.

В углу стоял стол кассира — приветливой женщины, которая всего всегда очень боялась и говорила, что её обязательно обокрадут. Тут же, около неё, к полу был привинчен почти постоянно пустой, сваренный на совесть сейф в человеческий рост. Второй сейф, значительно меньших размеров, был привинчен к подоконнику. В него, никому не доверяя ключи, главный бухгалтер прятал сельсоветскую печать, доверенности и другие ценные бумаги.

Около голландки стоял стул, где на маленькой циновке обосновался разъевшийся кот. Над столом председателя висел портрет вождя пролетариата, к углу которого техничка, по-видимому, желая придать конторе не столь казённый вид, подвесила резинового оранжевого попугая.

— Вы ко мне? — продолжая смеривать меня взглядом, спросил главный бухгалтер и, в то время как я присел напротив него на свободный стул, достал толстую амбарную книгу.

— Детский сад, школа, ясли, сельсовет, а больница запропастилась,— перелистывая страницы, сам с собой говорил главбух.

Наконец, он нашёл нужную страницу и углубился в записи. В это время к кассирше подошла рябая, одетая в синюю спецовку механизатора женщина, которая, судя по всему, собирала с населения яйца, и стала говорить о каких-то недоплаченных ей деньгах.

— Вот у вас,— сказал мне главбух словно хозяин работнику и повёл толстым пальцем по строке.— По зарплате деньги есть, даже недорасход — тысяч восемь будет за год, а по остальным статьям — всё выбрали.

— Шаром покати,— заметил младший бухгалтер и захихикал.

— Почему же недорасход по зарплате? — поинтересовался я и уяснил, что у нас не заполнены штаты: вместо шести врачей по штату с начала года работали на полторы ставки два, к тому же некоторые медработники болели.

— Медоборудование — вот ещё две тысячи нетронутых,— сказал главбух,— но это каждый год пропадает.

— Почему же это пропадает? — спросил я.— В больнице ни иголок, ни шприцов, ни стерилизаторов!

— Это уж вы у тех, кто до вас был, спросите: почему ничего не брали? А если деньги до первого января не используются, то райфинотдел их списывает.

— Как это списывает?

— А вот так: деньги вроде и были, а считай, что не были! — сказал помощник главбуха и опять захихикал.

— Вот ещё по статье «мягкий инвентарь»,— продолжил бухгалтер,—

деньги есть: шесть тысяч, но вы в прошлом году обновились — тоже, считай, пропадут. А по остальным выбрали.

— Как это выбрали?

— Это уж у тех, кто до вас работал, нужно спросить,— заметил главбух.— Командировочные расходы, как всегда, перебор. Да и было-то здесь всего двести сорок рублей. Шестнадцатая статья — на капремонт всего десять рублей пятьдесят две копейки осталось.

— Куда же дели?

— Дели-то... А вот куда дели,— главбух достал другую амбарную книгу.— Краски голубой взяли? Взяли. Гвоздей девяносто шесть килограммов взяли? Взяли. Топоров сорок шесть штук взяли? Взяли.

— Зачем же больнице нужно сорок шесть топоров?! — спросил с удивлением я.

Главбух, удивляясь моей наивности, посмотрел на меня, а его помощник, ничего не говоря, опять захихикал. В это время главбуха отвлекла кассирша, спрашивая, как быть:

— Сборщица закупила у Фёклы Алексеевны яиц, а яйца оказались тухлые. В сельпо их не принимают, и Фёкла Алексеевна их обратно не берёт, божится, что не её.

Главбух подумал и сказал, что нужно подождать для решения этого вопроса председателя.

— Но это ещё ничего, что на капремонт денег нет,— продолжил он, обращаясь ко мне как учитель к ученику,— здание ещё крепкое, слава Богу, не упадёт, главное — нужно на зиму угля запасти, чтоб больные не помёрзли.

— А по питанию, медикаментам — тоже проели? — спросил я.

— Тоже перерасход,— посмотрев в журнал, сказал главбух.— На одного больного в день положено на питание девяносто одна и пять десятых копейки, а у вас пока выходит девяносто четыре копейки. И по медикаментам — у вас сейчас больных мало, а к новому году всё проедите. Осенью у вас больных в два раза больше лежит.

— Выходит, по зарплате и мягкому инвентарю у нас деньги есть,— подытожил я.— Вот мы эти деньги на уголь и пустим.

— Не положено! Со статьи на статью переводить не положено! Ревизия из райфо приедет, и с меня голову снимут.

— Нам ещё электромотор нужен. Воду из котельной по батареям нечем гонять,— сказал я.

— Электромотор тоже не положено, и стройматериалы банк не пропустит. Не положено!

— Так как же быть? — в растерянности спросил я.

— Кто как может — так и быть. «Это,— в банке говорят,— ваши проблемы»,— захихикал второй бухгалтер.

— А для меня,— сказал главбух,— вы хоть кадушки, хоть грабли берите— главное, чтоб всё законно было. Ревизия приедет — с меня спрос. Райфинотдел, что не положено, ничего не даёт. Он за экономию премиальные получает.

«Как, очевидно, и вы»,— подумал я.

9

Возвращаясь из сельсовета в больницу, я увидел идущего со стороны магазинов завхоза. Судя по выражению его лица, он был навеселе, но шагал твёрдо. Увидев меня, Анатолий Петрович остановился, очевидно, желая свернуть в сторону, но сворачивать было некуда, к тому же я его окликнул.

— Много в этом году гвоздей, краски брали? — спросил я его.

— Как же не брать, брали. В хозяйстве без краски нельзя. Голубой — три

ящика никак, белил — бочонок брали. По документам, может быть, и много, а там мазнёшь, здесь мазнёшь — так и ушла вся.

— А что же красили?

— Всё красили, что есть покрашено — всё красили. Думал на той неделе, что есть ещё, а глянул — вся ушла. Даже сам удивляюсь. Да и то, банка с виду вроде больша, а откроешь — наполовину пуста. Может, кто постарался, а может, усохла. Олифы ещё брали.

— Тоже ушла?

— Ушла, раз краска усохла, разводили, чтоб жиже была. Всё для дела, раз работаем. Больница вон кака больша.

— А гвоздей тоже брали?

— Брали, больших по весне, больше сотку. Тоже всё ушло. Этому дашь, другой просит. С Иван Ивановичем, считай, каждый день по забору стучим. Никто по дороге не ходит, каждый через ограду хочет пройти. Пацаны озоруют. Без гвоздей нельзя, как же, все ушли, тоже ещё не все списаны, на моей шее висят.

Некоторое время мы идём молча.

— У вас каждый год деньги к этому времени кончаются? Я посмотрел по статьям — на уголь даже нет! — спрашиваю я.

— Про уголь-то... с углём беда! Сколь ни берём — всё не хватает. Каждый год так. Кручусь, как могу, день и ночь с меня спрос.

«То-то видно, что закрутился, каждый день не просыхаешь»,— подумал я.

— Вот тоже моё хозяйство.— Завхоз показал на причудливое строение, у которого плоская крыша прогнулась вовнутрь так, что вода от дождя, очевидно, вся стекала в строение.— Обвалиться который год может. Тоже душа болит,— прокомментировал завхоз.

— Что это?

— Прачечна.

— Зайдёмте,— пригласил я завхоза.

По выражению его лица видно, что он заходить в прачечную не хочет, но я не без труда открыл сорвавшуюся с одной петли, разбитую калитку, и он прошёл следом за мной.

Прачечная состояла из двух отделений: моечной и сушилки. В моечном кирпичном отделении, примерно семь на семь метров, с одной стороны стояла, как в русской бане, но значительно больше и без каменки, с двумя котлами печь для разогревания воды. По другую сторону в цементный пол были вмонтированы две больших стационарных стиральных машины, а в углу был врыт обычный, со срубом колодец. От котлов и от вываленного на цементный пол вынутого из кипятка белья парило, и, несмотря на то, что единственное окно было настежь распахнуто, было не только очень душно, но и из-за пара почти ничего не видно.

В моечной никого не было, и некоторое время я с удивлением старался разглядеть это хозяйство.

— Эй, Марусь, выдь-ка! Главный пришёл,— громко крикнул завхоз.

Из двери, ведущей в сушильное отделение, сквозь пар было видно, как появился силуэт и тут же, чтобы запахнуться в халат, накинутый на голое тело, исчез. Затем силуэт вновь появился, и перед нами предстала средних лет женщина с добродушным открытым лицом.

— Слышу, вроде кто-то кричит, дай-ка, думаю, посмотрю, гляжу и вправду гости пришли,— сказала она, с нескрываемым любопытством разглядывая меня.

— Как живёте? — спрашиваю я.

— Слава Богу! — отвечает она, и мы, улыбаясь, смотрим друг на друга.

— Мамоньки мои! Не то главный врач к нам пожаловал и Петрович

здесь. Уж и не помним, когда главный врач к нам заходил. Завхоз не заходит, а чтоб главный врач! — подойдя к нам, сказала вторая прачка. Её звали Валей, и она так же, как и Маруся, была запахнута на голое тело в чёрный рабочий халат.

— Так уж и не заходит,— стоя сзади меня, подал голос завхоз.

— Так уж и заходишь, последний раз небось полгода назад был! С кой поры говорим, что мотор сгорел! Каждый Божий день бадьёй из колодца воду в котлы черпаем. А воды нам сколь нужно: и в котлы, и в машину, и всполоснуть. Вот идёмте,— обратилась ко мне Валя, подводя к колодцу.— Вода бы хоть была снаружи, а то дна не видно, руки-то за день намотаешь, а ещё по дому работы сколь?! Так и мужик прогонит!

— Небось такую не прогонит,— заметил, улыбаясь, завхоз, но Валя не обратила на него внимания.

Я открыл деревянную крышку и заглянул в колодец. До воды, действительно, было далеко: метров шесть, семь — не меньше. Затем спустил, крутя ручку барабана, бадью до воды и долго, не имея навыка, раскачивая трос, за который была првязана бадья, пытался зачерпнуть воды. Наконец, бадья утонула, и я, в то время как две прачки и завхоз с улыбками на лицах смотрели на меня, лихо крутя железную ручку барабана и наматывая на него трос, достал полутораведёрную бадью, заполненную чистой водой.

— Смазать нужно, скрипит,— сказал я завхозу, показывая на барабан.

— Да вы их, Александр Леонидович, больно-то не слушайте, они вам наговорят, что мы не делаем ничего. От этой прачечной у меня уж волос не осталось на голове,— сказал завхоз.

— Как это не слушайте?! Вон чего, наговорят! — в один голос напустились на него женщины.

— А кто прошлый раз мотор, что воду из колодца качал, залил? И машину залили! Сколь я говорил и слесарь говорил: «Не лейте». Ещё током стукнет, за вас потом отвечай!

— Ну и чего же нам теперь: до пенсии воду руками таскать?! На то она и работа, что заливаем. У нас кругом здесь вода. Если б вот мы сидели сложа руки, тогда бы и не заливали. Вот тебе при главном враче говорим: ещё неделю потерпим, а потом сам приходи, воду бадьёй из колодца черпай, мы не казённы.

— Так если полгода назад сгорел, то уже, наверное, можно было починить,— глядя на завхоза, заметил я.

— Вот, может, на днях и сделаем,— пряча глаза и как-то неуверенно ответил завхоз.— Я ещё на прошлой неделе в сельхозтехнику мотор отвёз — может, перемотают. А им тоже, как скажешь, что обмотка сгорела, никто не берёт: знают, что из больницы, без бутылки спирта не подходи.

— А ещё вот сюда пройдите, раз пришли, посмотрите,— сказала Валя, направляясь к двери, которая вела в сушилку. Мы с завхозом последовали за ней. Сушилка была на треть меньше, чем моечная. Здесь также стояла большая печь, но без котлов, а в стену, для проветривания, был вмонтирован давно не работающий вентилятор. В сушилке от постоянной сырости по углам подплесневело, а поперечная балка, которая для такого помещения, на глаз, была слаба да к тому же ещё прогнила, посередине провиснув, треснула. Чтобы она вместе с потолком не обвалилась, её подпирали от пола, с обеих сторон от трещины, две жёрдушки, но всё было очень ненадёжно, и казалось, что поперечная балка может в любой момент проломиться.

— Вот так мы и работаем! Сколь говорили — то денег, то кирпича, то ещё не знай чего нет. А как обвалится?!

Я вопросительно смотрю на завхоза.

— Это-то — да. Всё мы знаем. И главному врачу в центральной больнице Ирек Галимзяновичу говорили, и председатель сельсовета знает. Два года,

никак, смету составили, на десять тысяч. Вот как выделят денег, думать будем.

— Два года уж, как балка провисла, а вы всё думаете,— заметила Маруся.

— Мы по-всякому,— не обращая внимания на прачек, которые, по его мнению, в этом деле не разумели, продолжал рассуждать завхоз,— и так и сяк прикидывали. Бревенчата не подойдёт — сырость. Как и эта, за семь лет сгниёт. Надо кирпичну. Если эту, к примеру, на дрова разобрать и на это место класть кладку, то фундамент слаб, кирпичина впятеро тяжелее — просядет, а если с другой стороны, то там скос в овраг. Поэтому лучше, по мне, пристрой с этой стороны.— Завхоз показал на южную сторону.— И дверь прорубить. Вот пойдёмте, прикинем,— сказал он мне, очевидно, желая поскорее покинуть прачечную. Я последовал за ним.

— Так что, Петрович, запомни! Сам будешь из колодца воду бадьёй черпать. Последний раз предупреждаем! — слышим мы вслед.

— Беда с этими прачками. Всё у них не слава Богу! С мужиками за бутылкой ещё договоришься, а бабы день ото дня, словно осы, всё злей и злей,— говорит завхоз, подводя меня к месту, где планировалось поставить пристрой.

По всему было видно, что в строительстве он считает себя знатоком и рассуждения в моём присутствии на эту тему доставляют ему удовольствие.

— Надо было сразу сушилку ставить из кирпича. Я тогда ещё всем говорил, и кирпич, слава Богу, дешёвый был под рукой.

— Так в чём же дело?

— А кой-кому уж очень хотелось бревенчату,— посматривая на меня как на простачка и хитро улыбаясь, отвечает завхоз.— Артель подвернулась, сговорились. Деньги казённы, и хозяев нет. Вот бревно: вроде бы снаружи здорово, а внутри сгнило.— Завхоз пнул в нижний венец, и действительно, от удара бревно заметно продавилось.

Не понимая в строительстве, я с понимающим видом, что мне часто приходится демонстрировать перед больными, молча выслушиваю Анатолия Петровича, а затем спрашиваю о цене.

— Тыщ десять для начала, не меньше. Тут ведь только начать. И фундамент надо по глиняной почве врыть поглубже, потом кладка, цемент, двери, косяки, печку сложить для обогрева, потолок нужно, обрешетник, шифера ещё на крышу где взять, а с материалом, чай, сами знаете как! А если с шабашниками сговориться, ещё сестоль запросят.

Поговорив о сушилке, мы молча идём к больнице. «Конечно,— думаю я,— никто ни в чём не заинтересован, начальство здесь не лечится, поэтому больничка и разваливается». Но мне очень хочется облегчить труд женщин в прачечной, и я завхозу говорю, что из всех дел, которые подпирают со всех сторон, в первую очередь нужно поставить в колодец насос, однако завхоз воротит в сторону глаза.

— Анатолий Петрович, когда же конкретно будет установлен насос? — спрашиваю я.

— Да, по правде сказать,— отвечает он,— отвезти-то на перемотку я его отвёз, но без бутылки спирта его никто делать не будет. Ни денег, ничего не нужно, а за это — мигом. Я уж говорил с Хасан Хасановичем, до вас главным был, что без бутылки ещё год пролежит. Нет, говорит, отвези. Ну отвёз. Поваляется он там, поваляется и затеряется. Как есть, говорю.

10

Прошло две недели, как я занимаю должность главного врача, и больше всего я не люблю — это проводить пятиминутки. Я скован, мой голос не по-

ставлен, и у меня нет апломба, который у большинства подчинённых вызывает к начальнику почтение. И вообще я считаю, что все дела гораздо быстрее и продуктивнее можно решить в рабочем порядке с непосредственными исполнителями, а не на многочисленных собраниях и заседаниях — это изобретение для имитации деятельности чиновников, горлопанов и кого угодно, но только не деловых людей.

Выслушав на рапорте медсестёр, я стараюсь кого нужно оставить, а остальных отпустить по рабочим местам, но пятиминутка не по моей вине затягивается.

— У нас ведь, Александр Леонидович, иголок для внутримышечных инъекций нет. А которые остались, затупились, тычешь, тычешь, больные не знай только как терпят,— начинает обычно Марьям Бареевна, одна из самых пожилых и ленивых медсестёр.

Всё это я знаю и знаю также, что с иголками и шприцами плохо не только у нас. В магазине «Медтехника» шприцы выдают штучно, а не упаковками, и распределением этого дефицита занимается Минздрав. Но наши медсёстры думают, что во всём виноват главврач. Я смущённо начинаю объяснять ситуацию, но по лицам вижу, что мне не верят, ибо, как сказал Ницше, даже очень умным людям,— не говоря уже обо мне,— начинают не доверять, если видят их смущёнными.

— Большие ещё ладно,— подхватывает другая медсестра,— а с детишками как? Прошлый раз на дежурстве из первой палаты мальчонке, что у окна лежит, стала ещё только в шприц набирать, а он как увидел да как зашёлся, налился весь кровью, вдвоём с санитаркой ему штанишки насилу спустили.

— Да и какие есть шприцы — пропускают. Наберёшь полный шприц, вроде и набираешь медленно, а всё равно половина выливается,— замечает фельдшерица с амбулатории, которая хотела бы войти ко мне в доверие, но я держу её на расстоянии и потому она иногда возникает.

Все смотрят на меня, ожидая, что же я скажу, но я уже не пытаюсь объяснить, почему же у нас такое положение со шприцами, а стараюсь побыстрее закончить пятиминутку, но присутствующим этого не хочется.

— Вот ещё, Александр Леонидович, я давно хотела спросить,— говорит Нина Ильинична из амбулатории, брату которой я дал больничный, и казалось бы, она должна была помолчать.— Когда всё-таки нам дрова привезут? Пока погода стоит, долго ли, всем бы уже по машине привезли. А как дожди пойдут, машина со двора не выедет.

— Если сейчас привезут, всё равно они к зиме не просохнут. Вот Мизонова Маруська поставила шофёру поллитра — ещё в мае привезли,— замечает Марьям Бареевна.

— Поллитром-то сейчас не обойдёшься. Им литр давай да закуски ещё,— продолжает Нина Ильинична.

Все эти высказывания в мой адрес мне кажутся несправедливыми, но я молчу до тех пор, пока все не выговорятся и не вывалятся кучей из моего кабинета, а через некоторое время, не давая мне передышки, дверь вновь откроется, и в кабинет заглянет, тут ли я, подпухшая физиономия одного из завхозов.

На другой день опять то же самое, к примеру, о том, что по-прежнему перебои с молоком, или о том, что в родильном отделении, наконец-то, разобрали прогнившее и провалившееся под тяжестью одной из рожениц крыльцо и что после этого неделю искали крепких половых досок, а когда нашли, то конюх с сантехником их разметили, распилили и ушли на обед, а неприбранные доски во время затянувшегося обеда умыкнули.

Ещё, в течение недели, говорим о том, что нужно идти и сшибать мотыгой вдоль дороги сорняки, но идти никто не хочет.

После пятиминутки ко мне часто подходят сотрудницы больницы по лич-

ным вопросам: кому-то нужна грузовая машина, кто-то просит «санитарную», у других заявление об очередном или административном отпуске. У некоторых пьёт муж, и они просят помочь. Я их выслушиваю, сочувствую и говорю, что ничем помочь не могу, разве что дать направление, если уж очень сильно пьёт, на специфическое лечение, но от него все отказываются.

Поздно вечером я ложусь спать, но заснуть не могу или же сразу засыпаю, но просыпаюсь среди ночи. Сон как рукой сняло, а в голове крутятся высказывания медсестёр, завхозов, Фёклы Алексеевны, и их физиономии — перед глазами. На другой день с утра — тяжёлая голова. Наконец, я делаю заключение, что моя тактика «отмалчивания» на пятиминутках неверна. Одного известного человека спросили: «Все говорят, а почему вы молчите?» — на что он ответил: «Потому, что я умней». Но в моём случае всё иначе.

«Человек-то он вроде неплохой, но жидковатый на глотку, интеллигентишко»,— говорят про меня.

К тому же начинает «заносить» старшую сестру. Одну миловидную сестричку, у которой полуторагодовалый младенец, она за то, что та ей чем-то не приглянулась, перевела в ночную смену. Та, в слезах, ко мне. У меня со старшей сестрой после тяжёлого разговора — «напряжёнка», а на другой день пятиминутка начинается с того, что в родильном отделении, где в течение недели не было ни одной роженицы, сожгли стерилизатор. «Ну сожгли, так сожгли, ведь не нарочно же! — рассуждаю я, глядя на покрасневшую сестричку, которая позабыла выдернуть вовремя штепсель из розетки.— Мало ли чего бывает на работе, и зачем из всего делать трагедию». Тогда старшая медсестра завелась и, входя в раж, глядя на меня, стала говорить о дисциплине и что в нашей больнице никому ни до чего нет дела.

У меня всё закипело внутри. Видимо, я изменился в лице, поскольку она осеклась, и все сразу насторожились.

— Вот и разберитесь в рабочем порядке с медсёстрами и санитарками. Это ваш раздел работы,— с дрожью в голосе сказал я. Никто не возразил.— И ещё,— продолжил я,— кто желает предложить что-либо дельное, прошу не устраивать на пятиминутках базара, показывая, что он слишком сильно печётся о работе, а излагайте предложения в письменной форме — и ко мне на стол...

Наступило напряжённое тягостное молчание, и было слышно, как о стекло окна бьётся большая муха.

— По рабочим местам,— сказал я уже спокойно.

Все вывалились из кабинета и, не судача перед дверьми, сразу разошлись. «Как же это я раньше до этого не додумался»,— в наступившей тишине подумал я.

В дальнейшем на пятиминутках не стало словопрений и на стол ко мне не легла ни одна бумажка, поскольку, в действительности, тем, кто больше всего на пятиминутках выступал, ни до чего не было дела.

11

Встречаясь с руководителями малых предприятий и наблюдая, как они обращаются со своими сотрудниками, я для себя уяснил, что руководителю коллектива обязательно нужен педагогический навык. Педагоги говорят, что можно, войдя в класс, поздороваться двадцать четыре раза, и всё по-разному, и именно с этого начинают строиться отношения между учителем и учениками. То же самое и на работе.

— Нужно сразу себя поставить и держать всех в кулаке,— дал мне совет директор кирпичного завода.

— Главное, себя поставить и позой брать, а уж дело потом,— дал мне совет директор дорожного участка, и не без оснований, ибо почти никто у нас, за исключением единиц, душою к работе не прирастает, а социализм — это

«безразличие к бесхозяйственности и зависть в душе».

Помню, как-то на пятиминутке сообщают, что наш шофёр грузовой машины напился и, когда ехал «гружёный дровами», не справился с управлением, съехал в кювет. Вместо того чтобы найти трактор или машину и вытащить из кювета «полуторку», он, не сообщив о случившемся в больницу, куда-то исчез и появился в больнице только через день.

На пятиминутке я гляжу на лица сотрудников и ни на одном не нахожу следов негодования или простого недовольства, более того, на многих лицах — блуждающая по губам, плохо скрываемая улыбка и огоньки в глазах. Я с большим трудом сохраняю спокойствие, а когда все уходят, думаю, что я играю в плохой, со многими актёрами, комедии и в главной шутовской роли.

Прошло четыре недели моего главврачовства, и за все эти дни — всего одно полезное дело: в прачечной установили мотор.

Перед этим я сказал старшей сестре, что завхозу нужно налить.

— Для чего? — спросила она.

Я ответил.

— Никакого им мотора не нужно. Они и так раньше времени с работы уходят, кто там за ними уследит,— возразила она.

Я стал ей доказывать обратное, но она «встала в позу» и, только когда моё лицо в гневе исказилось, согласилась.

— Смотри...— подавая флакон завхозу, многозначительно сказала она.

— Да не бойсь! Для дела. Ты думаешь, с этого мне что-нибудь припадёт? Сразу всё отдам,— в сторону отводя масленые глаза, ответил завхоз, пряча флакон во внутренний карман пиджака.

— Ну, как? — спросил я его на другой день.

— Кабы не это, ещё бы год пролежал. А «это» как показал, так они сразу без разговоров чей-то новый мотор отдали. Сейчас с сантехником пойдём на прачечну.

Через день старшая сестра принесла мне бумагу на списание не пятисот, а шестисот пятидесяти граммов спирта. Я вопросительно посмотрел на неё.

— Слава Богу, сейф с наркотиками к полу прикрепили, а для этого нужны были большие болты,— пояснила она.

Я часто думаю о том, что я приехал в участковую больницу набираться врачебного опыта, лечить больных, а занимаюсь в основном не этим. К тому же я замечаю, что у меня начинает портиться характер. Если раньше я на это не обращал внимания, то теперь, если кто-то разговаривает со мной в непочтительном тоне,— это задевает моё самолюбие, во мне нарастает раздражение и я думаю: «Как бы поставить товарища на место».

Захожу как-то на конный двор. Сидят в каптёрке слесарь и конюх, накурили — хоть вешай топор. Поздоровались. Конюх встал. Слесарь сидит, достаёт из нагрудного кармана требование, протягивает мне.

— На-ко, подпиши.

Читаю требование на списание одного килограмма гвоздей и одной банки краски. Знаю, что часть гвоздей и краски пошла на дощатую дверь в амбулатории, а большая часть, очевидно, уйдёт на личное хозяйство слесаря, но не в этом дело, а в его непочтительности ко мне. Мысленно я уже отнёс конюха к «своим», а слесаря не к «своим».

— Подойдите в кабинет, там посмотрим,— говорю я ему и протягиваю требование обратно.

А придёт он ко мне в кабинет, ведь я всегда могу найти причину, чтобы не подписать.

Если раньше я думал: «Всё буду делать по-доброму, по-хорошему, и люди поймут», то после того, как про меня стали говорить, что я слаб нутром, мне часто стало сниться, будто ко мне приближается многоголовая гидра и в каждой голове я узнаю некоторых больничных сотрудников. Я стараюсь

всем головам скрутить шеи, но тщетно, все они разом говорят, и гидра на меня наползает. Я просыпаюсь, утираю со лба пот и думаю: «Весь вопрос — кто кого? Не обломаю я всем головам шеи — не будут меня считать за человека».

Впрочем, стоят ко мне в оппозиции только те, кому я в чём-то отказываю или просто, по разным причинам, не нравлюсь. Другие же с участием смотрят на меня и даже подбадривают, а у некоторых, когда обо мне заходит речь, по губам пробегает та особенная полуулыбка, которая возникает у взрослых, когда они смотрят на играющих детей. Это порой меня веселит, но я всё чаще и чаще, думая, как бы наладить на работе дисциплину, вспоминаю высказывание Ф. М. Достоевского: «Россия крепка берёзой».

Заходит ко мне как-то старшая сестра, на лице красные пятна.

— В чём дело?

— На кухне Ольга уходит в отпуск, с ног сбилась — некем заменить,— отвечает она.— Все как сговорились, на крик кричат, на кухню не идут. Может, вы поговорите. Алю Фокееву можно перевести. Уж неделю никак не могу уговорить.

Заходит ко мне в кабинет Фокеева Аля — здоровая, сажень в плечах, с грубыми чертами лица баба.

— Шантрапа,— говорит она про больничных мужиков, когда выпьет сто грамм,— если захочу, любого в салазки согну.

Зимой она работает кочегаром, а летом подменяет уходящих в отпуск санитарок. Если бы она работала в частной больнице, то её наверняка бы давно уволили.

— С этой Алей беда! — говорит про неё завхоз.— Который раз глядишь — за смену полмашины в топку перекидает. Я ей, считай, перед каждой сменой говорю, что с тобой угля не напасёшься. А ей всё одно — кидает и кидает. За это, говорит, мне деньги платят.

Войдя в кабинет, она останавливается у порога, облокачивается о косяк и голубыми, навыкате, глазами упрямо и многозначаще смотрит на меня. Под её взглядом я чувствую себя неуютно и предлагаю ей сесть.

— Ничо, мы люди просты, постоим,— отвечает она.

Я не знаю, с чего же лучше начать разговор. Некоторое время мы молча смотрим друг на друга, я опять предлагаю ей сесть, но она отказывается. Мне бы тут её разговорить, спросить, как живёт она, как муж, детишки, но у меня нет опыта, да и разница у нас в возрасте большая, чтобы вести подобный, на равных, разговор. И потому я начинаю с того, что официально ей сообщаю, что на период отпусков, временно, ввиду производственной необходимости, мы переводим её на кухню, но говорю неуверенно, без внутреннего убеждения, что она меня послушает.

— Не пойду,— говорит она.

— Почему?

— Не пойду, и всё, хоть стреляйте! Почему это я должна? Хуже других, что ли? Я, чай, не затычка. Все работают на своих местах, а мне зачем тако наказание. Прошлый год отработала на кухне отпуска, хватит с меня, пускай другие поработают. Если бы провинилась али ещё чего, тогда бы ладно, а так, третьего дня, меня никто не просил, я сама думаю: здесь все тряпки полы мыть изнахратились, так я из дома принесла, не жалко, не обедняю и больнице прибавка. Пускай другие идут. Завтра на старо место выхожу.

— Ну а кого, по-вашему, можно послать? Ведь некого.

— А мне какое дело! Вы главный, вы и посылайте. Зачем это я на кого-то буду указать. Потом будут говорить: я наговорила. Мне всё равно, хоть кто идёт, только я не пойду.

— Вот вы встаньте на моё место...

— Зачем это я буду вставать?! Вы главный, вам и посылать. Мне и на своём месте хорошо.

— Вот, если взять Нину Говорухину, так ещё хорошо, что она кое-как работает, на больничный не выходит,— говорю я словами старшей медсестры, которая ей, очевидно, уже обо всём этом говорила.— У Лены маленький ребёнок, Таня Глухова обычно ходила, но она тоже в отпуск идёт.

— Так зачем же вы сразу всех в отпуск отпустили? Пускай бы сначала эта, потом та. Все люди работают на своих местах, одну меня туда-сюда таскают, и хоть бы кто добрым словом помянул.

— Ну, это вы зря,— говорю я.— Вон Калашникову из амбулатории на дежурство в стационар перевели. Остальные с амбулатории тоже каждый день с мотыгами в поле ходят.

— Ну как же, а то мы и не знаем! Так уж и ходят. День дома, день ходят до обеда. Так и я согласна. Только скажите, завтра же пойду траву сшибать.

— Однако ж, мы вас просим выйти только на месяц,— продолжаю уговаривать я.

— Ну как же, на месяц, а то я и не знаю. Месяц отработаешь, а дальше — айда пошёл, пока все в отпуск не отойдут. Не пойду! Посылайте других, окромя меня есть кому. Все могут, а как чуть кого до дела спросишь — так болеют. А прошлый раз, как зарплату привезли, все побежали в сельсовет, не догонишь. Я опосля всех пришла.

— И тем не менее...

— Нет! Сказала нет и не пойду! Завтра же в свою смену выхожу.— Аля подалась назад. Я хотел ей возразить, но она, не слушая меня, закрыла за собой дверь.

Я некоторое время, понимая, что меня «помножили на ноль», сижу в растерянности. Входит старшая сестра.

— Ну, что? Выходит завтра Аля на кухню? — спрашивает она.

— Не соглашается,— уныло говорю я.

Сидим молча.

— Может, и мне со старших уходить? — говорит она и, не услышав от меня ответа, уходит.

Думы мои смутны, и я не вижу просвета. «Или я их, или они меня! Кто кого обломает!» — думаю я, затем с тяжёлым сердцем беру тетрадную бумагу и в двух экземплярах от руки пишу:

Приказ № 1

Ввиду производственной необходимости, с 1 сентября 1983 года перевести из санитарок Фокееву Алю в поварихи. При неявке на работу Фокееву Алю с работы уволить по статье.

Подписался под приказом, прикрепил тетрадный в клеточку листочек к парадной двери и направился домой.

12

Утром на другой день я подхожу к больнице. На крыльце толкутся, как обычно, человек пятнадцать сотрудников — собрались на пятиминутку. При моём появлении почти у всех по губам пробегает знакомая мне особенная улыбка, в которой всё-таки больше доброжелательности, и это меня отчасти ободряет. Здороваюсь и мельком бросаю взгляд на дверь. Мой приказ на одной кнопке, за угол, «вверх ногами», но висит. В стороне от всех стоит Хасан Хасанович. Он держится от всех особняком — как-никак до меня был главным.

— Александр Леонидович, на два слова,— обращается он ко мне, видимо, собираясь мне сообщить что-то, по его мнению, важное.

— Мы счас,— говорит он желающим пройти вслед за нами в кабинет на пятиминутку и прикрывает за собой дверь.

— Это вы написали приказ?

— Я.

— Я вас хотел предупредить, что она может его по закону опротестовать. У нас ведь не частная клиника: захотел и уволил!

— Больным на кухне готовить некому,— отвечаю я.

— Это не имеет значения. Чтобы уволить, сначала у нас нужно поставить на вид, потом предупредить, затем объявить выговор, не помогает — строгий выговор, хорошо на собрании пропесочить, а уж потом уволить по статье.

— Больным кушать нечего,— говорю я, удивляясь, с какой серьёзностью обо всём этом Хасан Хасанович говорит, и невольно улыбаюсь.

— Я, как парторг, должен был предупредить. Вы ещё молодой, неопытный.

«Предупреждать все мастера»,— думаю я и, приглашая всех на пятиминутку, стучу кулаком по раме.

А пятиминутки, после того как я объявил, чтобы со всеми предложениями ко мне обращались в письменном виде, у нас проходят спокойно и быстро. Кроме того, если раньше на пятиминутках я молчал, а выступали другие, то теперь роли стали постепенно меняться, хоть словопрений я и не развожу. Мне кажется, после того, как Фокеева Аля была вынуждена выйти на кухню, я стал набирать очки.

Рапорт начался, как обычно, с доклада дежурной медсестры по стационару:

— Всего больных тридцать пять. Поступил один из Тюрнясева, без направления, с температурой — стало тридцать шесть. Все чувствовали себя как и раньше. Никто не выписался. Ночь прошла спокойно.

— А как Куприянова, с постинъекционным абсцессом ягодицы? — спрашиваю я.

— Температурит. Тридцать семь и восемь с утра, а к вечеру поднялась до тридцати девяти.

— Перевязку вечером делали?

— Она с вечера как будто бы спала, беспокоить уж не стали.

«Только бы не работать»,— думаю я и говорю:

— Раз в назначениях написано, что нужно делать перевязки два раза, к тому же тяжёлой больной, то и нужно делать не один, а два раза.

Молодая сестричка, ничего не сказав, потупила глаза, если бы была поопытней, то наверняка нашла бы отговорку.

Затем я поясняю, что температура у этой больной повышается в тех случаях, когда из абсцесса нет оттока гноя, и потому чем чаще мы будем делать перевязки и создавать хороший отток, тем будет лучше.

— А может, она померла, откуда ты знаешь, что она спала? — обладая своеобразным юмором и как будто бы поддерживая меня, спрашивает сестричку Мансур Ибрагимович, хотя часто по выражению его лица видно, что он наверняка думает: «Вот при мне, когда я был главным, говорили, что нет порядка, а сейчас не лучше». Сестричка не отвечает и, переглянувшись с подружкой, скрывая улыбку, очевидно, вспоминая, как к ним на дежурство, когда они заперлись, ломился Мансур Ибрагимович, прячется за спину сестры-хозяйки.

Далее докладывает дежурная сестра по родильному отделению:

— В родильном отделении никого нет, роженицы не поступали.

— Почему у вас постоянно пустует отделение? — спрашиваю я.

— Раствор бар, кирпич юк,— повторяет полюбившуюся шутку Хасан Хасанович.

Все смеются.

— Вчера на свёкле сколько было человек? — спрашиваю я амбулаторских.

— Шесть человек. Только, Александр Леонидович, у нас самый большой

участок, гектара полтора,— отвечает за всех медстатистик Галя, у которой обострённое чувство справедливости.

— Рядом столовая, детсад, сельсовет. У всех вместе сколь у нас не будет,— говорит стоящая рядом с ней сестра-хозяйка. По всему видно, что они эту тему между собой обсудили.

— Если мы не будем отказываться, нам ещё гектар дадут,— замечает Нина Ильинична, которая, ссылаясь на болезни, никогда на полевые работы не ходит.

— Ладно, я уточню,— отвечаю я, хотя, сказать по правде, все эти полевые работы мне — поперёк горла. Чего только стоит одна кормовая свёкла! После того как она взойдёт, её нужно за лето дважды прополоть, а по осени, выдёргивая за листья, складывать в кучи, чтобы затем её свезли на ферму. Ежегодно одна и та же работа, и часто не впрок. Вывезти её с поля до морозов, несмотря на то что частью её растащат для своей скотины частники, не успевают и по весне запахивают.

— Молоко, Александр Леонидович, не знаете, сегодня будет? Как мне меню-то писать? — спрашивает старшая сестра, поскольку опять перебои с молоком.

— Будет,— уверенно говорю я, поскольку вчера у меня на приёме был бухгалтер сельсовета, страдающий радикулитом, и он наконец-то согласился регулярно платить конюху полторы ставки. К тому же Гришка съездил на маслозавод и оформил документы, по которым мы получаем якобы четырёхпроцентное молоко, хотя это на самом деле не так, но и на том спасибо, лишь бы отпускали.

— Вопросов больше нет? — спрашиваю я. Все молчат.— Тогда по рабочим местам.

Все расходятся. Некоторое время я сижу один и в очередной раз испытываю удовлетворение, что на пятиминутках не стало базара. Теперь и на кухне я ем спокойно, а накрывают мне стол в дощатом пристрое, где не так жарко. Правда, Гришка печку ещё не сделал, но, имитируя деятельность, около кухни свалил по плетёнке песку и глины и уже в течение трёх недель мы обсуждаем при встрече с ним эту проблему.

— Если делать, так делать,— говорит он,— нужно сменить и колосники, и огнеупорным кирпичом всё обложить, чтоб надолго, и на угольники новые плиты положить. Работы здесь много.

Разговоры разговорами, но по Гришкиным глазам я вижу, что, пока не будет написан договор, дело далее разговора не сдвинется с места.

— Анатолий Петрович,— интересуюсь я у основного завхоза,— сколько за печь-то Гришке будем платить?

— Да сколько положите, всё возьмёт. Мышь копны не боится.

— Ну всё-таки, примерно, ведь не тысячу же рублей. Причём нужно ведь делать срочно, пока, не дай Бог, не обвалилась плита,— говорю я, желая узнать у завхоза хотя бы ориентировочную цифру.

— Так-то оно, да,— соглашается со мной завхоз, но цифру не называет, поскольку Гришка может быть к нему в претензии, и в то же время говорит, если ему хорошо заплатить, то он с этих денег и огнеупорный кирпич, и угольники сам достанет — нам меньше мороки и дешевле обойдётся.

— Ну, двести рублей, хватит? — спрашиваю я и определяю по физиономии Анатолия Петровича, что маловато, и набрасываю ещё пятьдесят рублей.

На следующее утро перед пятиминуткой Хасан Хасанович опять заходит ко мне в кабинет и начинает в доверительном тоне, но встревоженно:

— Вы вчера, наверно, Александр Леонидович, подписав договор, его не прочитали.— Я молчу.— На двести пятьдесят рублей договор! Мы никогда такие деньги не платили. Я специально на кухню ходил, печь смотрел. Больше чем на сто рублей там работы нет. Я в прошлом году в передней печь

клал, печника нанимал. За сто рублей он мне от пола до трубы выложил. Правда, ещё три бутылки поставил и закуску, но это уж принято, а здесь двести пятьдесят! Мне за такие деньги нужно два месяца работать! Я, как договор прочитал, глазам своим не поверил! Гришка, он и тысячу попросит, с ними вы построже. Я, как член комиссии, договор не подписал, и в сельсовете такие деньги не пропустят,— сказал Хасан Хасанович, вопросительно и упорно глядя на меня.

— Так он с этих денег сам достанет огнеупорный кирпич и угольники,— сказал я, но мои доводы на Хасан Хасановича действия не возымели.

После пятиминутки подходит Гришка. Оказывается, он уже где-то договорился насчёт кирпича и привёз железные уголки.

— Делать или не делать? — спрашивает он.

— Делайте, ради Бога, делайте,— говорю я и советую ему пригласить на кухню председателя сельсовета и главбуха, чтобы они своими глазами увидели, в каком аварийном состоянии находится печь.

Через пять дней печь была переложена, но двести пятьдесят рублей в сельсовете, проклиная всё на свете, Гришка получил только через полтора месяца, после того как пообещал угостить председателя с главбухом. Получил и за неделю пропил...

А в лечебной работе всё время перед глазами Куприянова. В центральной больнице хирург, полагая, что у больной температура обусловлена образованием дочерних абсцессов, в которых скапливается гной, желая их вскрыть, сделал большие, словно разрубил топором, разрезы, но дочерних абсцессов не обнаружил. Всё дело, очевидно, было в особенностях инфекции, которую следовало бы из раны высеять и подобрать по чувствительности антибиотик, но где уж нам в участковой больнице до посева...

— Я уж привыкла к тебе, на тебя у меня надежда — верю,— говорила Куприянова мне.— Ты уж меня больше в центральную к хирургу не посылай. Они нарежут так, что останешься без ноги, им бы только резать.

Она, конечно же, понимала, что абсцесс посадили ей по халатности медсестры, но ни разу я не замечал с её стороны в адрес медиков упрёка. «От судьбы не убежишь,— рассуждает она,— ну а коль так, то и нечего ни других, ни себя бередить».

С семнадцати лет она — дояркой, одним словом,— работяга, «соль земли».

Полагая, что раз больная не поправляется, значит мы её неправильно лечим, я экспериментирую: мазь Вишневского заменяю на промывание раны риванолом и другими антисептиками, меняю антибиотики, но гноетечение продолжается.

— Ну как? Лечение пошло? — каждое утро спрашиваю я больную.

— Больно-то не пойму, вроде и температура с вечера не такая высокая была, но, как есть, всё одно — саднит,— пытаясь улыбнуться, отвечает она.

Одно время её перевязывала старшая сестра, но поскольку больная не поправлялась, она под различными предлогами переправила её процедурной сестре. Я не возражал, мне с ней проще.

— Все как зайдут ко мне,— говорит мне больная,— так побыстрее стараются уйти, а вы сидите. Они думают, что я помру,— спокойно рассуждает она.— Но я не помру. У меня сын ещё на ноги не встал, на дворе живность: телёнок, поросёнок, двадцать курей — всё на соседей оставила. Я не помру. Жить ещё хочется.

И действительно не померла.

Как-то раз захожу к старшей сестре, думаю: «Нужно пошарить по шкафам». У неё в комнатёнке три больших шкафа забиты в основном неходовыми препаратами. У многих уже давно истёк срок годности. К тому же, должен

сказать, что у нас по сравнению с городскими больницами положение с медикаментами отнюдь не хуже, а пенициллин и стрептомицин нам постоянно подбрасывает живущий через дорогу ветврач.

— У нас этого добра — завались, а всё шлют без надобности и шлют. Ну скажите: кто у нас будет делать свинье пенициллин?! Её, чтобы не хворала, кормить лучше нужно,— сгружая коробки, говорит он.

Я его благодарю и говорю, чтоб привозил ещё и не только пенициллин, что он и делает. Не пропадать же добру!

Но богаты мы не только пенициллином. У нас можно встретить и дефицит. Перебирая в шкафах коробки и баночки, я обнаружил несколько коробочек с лидазой — очень большой дефицит.

— А это для кого? — спрашиваю старшую.

— А это меня как-то попросили, я достала и позабыла. Там уж срок вышел.

Здесь же, гляжу, баночки завалялись. Читаю этикетку: «Мазь Конькова». Отвернул крышку; с виду вроде мёд и пахнет мёдом.

— От чего это? — спрашиваю старшую.

— Да так, приедешь набирать в аптеку — обязательно сунут в нагрузку неходовой товар.

Взял справочник, читаю: «Состоит из мёда, риванола, берёзового дёгтя. Применяется при лечении различных ран». Думаю: «Нужно попробовать» — и отдаю Куприяновой в процедурную. Тут же сняли повязку, намазали, перевязали. Через день спрашиваю больную:

— Лучше?

— Да, вроде бы как помягчало и хочется так почесать,— говорит она.

— Тогда продолжаем?

— Покедова пускай, вроде на пользу и не пахнет, а то с Вишнёвки у меня от запаха уж желудок выворачивает.

С этого и пошло. Постепенно, постепенно стало меньше выделений из раны, а через десять дней стали делать только одну перевязку в день.

— Говорила же, не помру,— показывая через полтора месяца грубые, лиловые рубцы, говорила больная,— а то ведь была страхота. Я и не глядела, что у меня там, думала, сердце не выдержит. А так, дай Бог вам здоровья, слава Богу, зажило!

После этого случая в деревне стали поговаривать про меня: «Какой он человек, толком не знаем, но как будто в своём деле разбирается. Нюрка Куприянова при смерти, кожа́ да кости была, а отходил, сейчас обратно дояркой».

А до этого поправился и выписался из больницы больной с ожогом ноги. Я дал ему стрептоцида, чтобы он присыпал им ногу, и, радуясь, думал, что от этого улучшение, но, выписываясь, он мне признался, что присыпание толку не дало. Просто он ничего не стал делать, и оказалось, к лучшему, само собой зажило.

13

Я уже более месяца в должности главного врача, и мне иногда позванивают — как-никак нужный я человек — начальники местных предприятий.

— Алло, мне главного! — как-то, сняв трубку телефона, слышу самоуверенный голос.

— Я слушаю.

— Будь здоров! Это главный инженер со спиртзавода. Слышал, наверно, Кургаев, меня все знают.

— Здравствуйте,— робко приветствую я.

— Слушай, как тебя? Пришли-ка свою грузовую, мне зерно нужно срочно вывезти.

— А у нас не на ходу,— лукавлю я. Да и как же иначе, если у нас дел у самих невпроворот.

— А что так?

— Кардан полетел,— первое, что пришло в голову, говорю я.

Я слышу, как главный инженер, не прикрыв трубку рукой, прервав наш разговор на ходу, кого-то подвернувшегося ему под руку материт.

— Значит, о чём это мы с тобой? — возобновляет он наш разговор.

— Машина у нас не на ходу.

— Ну тогда сам приезжай, я спирта налью. Посуду не забудь.

— Сейчас я справлюсь, может, уже наладили,— говорю я. Мне спирт для хозяйства ой как нужен, и я на ходу перестраиваюсь. В ответ Кургаев смеётся и говорит, что из меня, сразу видно, выйдет хороший главный врач.

— А ты сегодня сам-то на месте? — интересуется он.

— Да.

— Значит так: я опосля обеда подъеду, гостинец сам привезу. На больничный выйти нужно. Башка трещит, давление. На месте будь, может, припишешь чего-нибудь.

— Хорошо.

— Ну, будь здоров! Подъеду, потолкуем.

После обеда подъехал. Отдуваясь, он взошёл на крыльцо, вытер платочком красное лицо и без стука вошёл в кабинет.

В это время в кабинет заглянул завхоз. Увидев всеми уважаемого гостя, он с заискивающей улыбкой с ним поздоровался, но гость, словно отмахиваясь от мухи, выразительным жестом махнул ему рукой, и тот быстро прикрыл дверь.

— Ты с прохвостами построже, не то что больницу, душу твою пропьют! Померь-ка,— сказал он, закатывая рукав рубахи.

Чтобы измерить давление, я попытался манжеткой обхватить пациенту руку, но рука была очень толста и манжетку пришлось удлинить, надвязав к ней сложенный в несколько слоёв широкий бинт.

— Двести тридцать на сто двадцать,— измерив давление, сказал я.

— ...с ним. У меня больше бывает, но всё равно выпиши, раз приехал, на две недели больничный.

Я, показывая свою грамотность, стал пациенту объяснять, какие и как долго ему следует принимать лекарства.

— Да ну их на...! Они мне не помогают. Я уж приспособился: сдам флакона три крови, или поставлю с дюжину на печень, или за уши пиявок — и жилец. Даже выпьешь который раз.

— Сколько?

— Да немного. Два по двести, свою дозу, не злоупотребляю. Раньше, конечно, бывало: ковшами пил и не в глазу, цистерну, наверно, за грешну жизнь выпил, душу залил. А сейчас всё, года, давлением маюсь.

— Дело хозяйское,— подстраиваясь под его суждения, заметил я.

— Вот-вот... Принеси-ка две трёхлитровых банки.

Я позвонил старшей сестре. Она вошла с многозначащей улыбкой, поздоровалась с гостем и поставила на стол банки.

— Ну, как живёшь, кума? — спросил старшую гость.

— Маюсь,— с улыбкой на губах по-свойски ответила она.

— Ещё мужика найди, легче будет,— серьёзно посоветовал Кургаев.

Старшая хотела что-то сказать, но, взглянув на меня, видимо, постеснялась и, улыбаясь, вышла.

Кургаев подошёл к окну и дал знак своему шофёру. Тот вошёл с хозяйственной сумкой в кабинет, вытащил из сумки большую канистру и стал разливать спирт по банкам. От спирта-сырца исходил бьющий в нос, резкий запах свекольного самогона.

— Я не пью, не подумайте, что для себя,— заметил я.

— Все не пьют — за уши льют. По хозяйству пригодится. Без этого сейчас нельзя. Без денег, за это — всё достанешь. Вот не поверишь, беру канистру, двенадцать литров, приезжаю в любую богадельню, все двери открываю ногой. Без этого сейчас ни одного стоящего дела не провернёшь,— говорил Кургаев, пока я заполнял его амбулаторную карточку, которую он почему-то держал при себе.

— С кирпичом не скажете, как сейчас? — пользуясь случаем, робко спросил я.

— Нужно, что ли?

— Прачечная обваливается.

— Прачечна, говоришь... А сколько тебе?

— Пять тысяч штук.

— На пять тыщ ты себе только туалет построишь. Вот зерно вывезу, тысяч двенадцать завезу. Для хороших людей я не жалею.

— А сколько это будет? — словно у нас на счету есть деньги, спросил я.

— Так завезу. Что с вас брать-то, гольё. И это, ты, значит, это, мне больничный выпиши сразу на две недели и закрой, чтобы сюда мне по-пустому не трястись. И прохвосту своему, я их всех как облупленных знаю, скажи, чтоб машину, значит, сейчас же за зерном посылал. Как с зерном управимся, подбросим кирпич.

Нарушая правила выписки листков нетрудоспособности, я выписал престижному пациенту больничный лист и предложил таблетки для понижения давления. Мой пациент, словно диковинку, повертел красивую, блестящую упаковку.

— Ладно, возьму. Нюрке секретарше дам, глядя на меня, она тоже через давление мается.

Простились мы друг с другом тепло.

— Ты уж, это,— пожимая мне руку, говорил Кургаев,— извини, что я так к тебе запросто. Я после семилетки только партшколу кончал, тридцать восемь лет на одном месте без перерыва лямку тяну, заматерел. С кем начинал, царство им небесное, спились и померли, а я, дай Бог здоровья, может, ещё лет десять, пятнадцать поживу.

Главный инженер спиртзавода не сразу, но своё слово сдержал. Недели через три он позвонил и попросил прислать за кирпичом машину. Наш завхоз сам вызвался грузить кирпич. Перед тем как уехать, он зашёл к старшей сестре, взял грелку и подоткнул её за ремень, чтобы не было заметно, когда проходишь через проходную. Через неделю около прачечной можно было видеть кучи разбросанного в беспорядке, частью побитого при разгрузке кирпича. Казалось бы, нужно было радоваться, но наш завхоз был хмур, и мужики посмеивались над ним — как же, сам целую неделю ездил на спиртзавод, кирпич грузил и ни маковки не побывало у него во рту, зря только одно место грелкой натёр.

14

Пока не растащили кирпич, стали срочно искать цемент, который, как оказалось, был в сельсовете. Его на всякий случай завезли и свалили в чулан, где он от сырости уже отчасти слежался.

— От сердца отрываю, но с возвратом,— повторял председатель, отдавая цемент, и в очередной раз рассказывал, с каким трудом он достал его в соседнем районе в обмен на картофель.

Песка можно было привезти с речного берега. Дело стало за строителями.

— Пять тыщ дашь, тогда кладу. За меньша марать руки не буду,— посмотрев на объект, сказал шабашник-армянин, бригада которого строила

в колхозе коровник и уже две недели простаивала из-за отсутствия материала.

Конечно, прачечную мог бы сложить Гришка, который в своё время работал в артели и жил только калымом, но он знал, что денег в сельсовете нет, да и обдирать своих не к лицу, и потому услуг не предлагал.

«Подобрать подходящих больных, они и сделают»,— думал я и на другой же день после обхода пригласил к себе в кабинет Бикбулатова.

Это был на вид крепкий, лет сорока пяти татарин из соседней деревни. На лицевой стороне его истории болезни в графе профессия было написано: «строитель». Лечился он от бронхита, уже не предъявлял жалоб, и дело шло к выписке.

— Работа есть, чтоб скучно не было,— словно между прочим, сказал я ему.

— Работа умеем, а платишь? — схватил на лету суть дела мой пациент.

— Прачечную нужно построить для больницы за тысячу рублей.

— Прачечна хорошо. Свой дом, баня, колхозный гараж строил, работа умеем. Материал только давай, заодно и больничный пишешь. Команда соберу, быстро строим, прачечна только, где строим, дай поглядеть.

На другой день, ещё до пятиминутки, Бикбулатов, его жена и двое сыновей, один девяти, другой десятиклассник, стояли на крыльце.

— Команда собрал, давай договор, лопата, траншей под фундамент роем. Сегодня работа начинаем, только корми хорошо. Материал есть, лошадь давай, песка, цемент сами возьмём. Через три недели работа сдаём.

— А вам строить много приходилось? — ещё раз поинтересовался я.

— Строил, много строил.

— Соглашайтесь, соглашайтесь,— посоветовал мне завхоз,— задарма. И им, и нам хорошо. Другой бы только за кладку, само мало, тыщи бы три взял. Сейчас не начнём, через месяц весь кирпич растащат.

15

Работа на строительстве прачечной пошла с утра до темна. За пять дней Бикбулатов со своей командой вырыл траншеи, уложил фундамент и уже принялся за кладку. Сыновья после учёбы, или пропуская занятия, подносили из куч кирпич, выполняли другие подсобные работы, тут же и жена месила раствор. Дело спорилось. Через неделю мы с завхозом пошли на объект.

— Смотри, натрёшь,— сострил Анатолий Петрович, глядя на жену Бикбулатова, которая по-мужски, словно на коне, свесив ноги сидела на бревне.

— Подходи, начальник,— не обращая внимания на завхоза, сказал Бикбулатов.— Скажи завхозу, пусть пишет договор. Кладка стена начинаем. Я говорил, говорил, скажи ты. Ленивый твой завхоз. Пятьдесят лет гарантий прачка даём. Ещё бетонный плита нужна, перекрытий. Пускай ищет завхоз.

— Да напишу, напишу, работай, сказал же — к завтрему,— сказал Анатолий Петрович.

— Ещё главный врач был с район. Чем болеешь, спрашивал, откуда кирпич спрашивал, сколько за работу давал...

— Какой главный? — насторожился я.

— С район главный, сердитый зря.

«Кто-то уже доложил»,— подумал я, увидев Гришку, который, запыхавшись, приближался к нам, махал рукой.

— Главный врач приехал, вас ищут.

Пока мы шли к больнице, Гришка рассказывал, что Ирек Галимзянович раньше работал в нашей больнице главным врачом, затем его главный из района взял в заместители, а как тот уехал в город, этот сел в его кресло.

— Ещё тут такое дело,— продолжил Гришка,— у нас на конюшне от кобылы, котора гнеда, жеребёнок, два месяца назад ожеребилась, а жеребёнок неоприходованный, не числится по бумагам. Две лошади у нас есть, больше не надо, и на этих сена не хватает. Главный говорит: «Давайте жеребёнка зарежем и по государственной цене продадим». Он бы взял.

— Это в какую цену? — спросил я.

— Рубль семьдесят пять, а на базаре пять.

— Как лучше, так и делайте. Я в это дело встревать не буду,— сказал я, подумав: «Откуда это главный с района знает, а я про жеребёнка не знаю?! Интересно, знает ли он, что у нас на стационарном лечении находится с постинъекционным абсцессом больная Куприянова?».

Входим в кабинет. Ирек Галимзянович сидит на моём месте. Он лет на пятнадцать старше меня. Поза, выражение лица, чуть вздёрнутый нос, голос — всё свидетельствует о том, что он главный и всегда прав. В кабинете, напротив него, старшая сестра. Они до нашего прихода что-то между собой обсуждали.

Здороваемся.

— Кто тебе разрешил использовать больных в качестве рабочей силы? — с ходу навалился он на меня, и во мне всё сразу восстало.

Я и со всеми на работе, и с больными всегда на «вы» и ещё ни на кого голоса не повышал, а тут — уличный тон, при моих сотрудниках. От волнения у меня загорелось лицо.

— Я главным врачом не буду! — выпалил я наболевшее.

— Как не будешь!

— Ищите другого человека.

— А кого я поставлю?

— Это ваше дело. Поставьте и кричите.

— Я не кричу.

— У меня со слухом нормально.

Наступила неловкая пауза.

— Ладно, вы идите.— Ирек Галимзянович покосился на старшую сестру и завхозов.

И Гришка, и Анатолий Петрович, чувствуя себя неловко, быстро вышли, а старшая, уходя, по-особому посмотрела на меня. «Она для Ирека Галимзяновича — свой человек»,— подумал я.

— За сколько строите? — спросил меня главный.

— За тысячу.

— Скажи больному, что работать ему за плату не положено. Пусть ещё спасибо скажет, что его лечат. Стройку закончите своими силами. Гришку возьми, Анатолия, сантехника, конюха, двух санитарок, они за месяц закончат, и платить не надо.

Я молчу, чувствую, что возражать главному или обсуждать с ним эту тему не имеет смысла.

— Про жеребёнка Гришка говорил? — мягким тоном спросил он.

— Говорил.

— Он всё равно не числится...

Я молчу.

— Ну, ладно, я поеду,— сказал главный и, словно одаривая меня, подал руку.

— Езжайте,— чувствуя пожатие его руки, я подумал, что физически я сильнее.

Под окнами проехал уазик. За рулём он сам. Видно, ему ещё нужно было заехать куда-то по своим делам.

Вошёл завхоз, и хоть я его ни о чём не спрашивал, стал, перекрестившись, говорить, что это не он доложил главному, что мы прибегаем при строитель-

стве прачечной к услугам больного.

— А кто же? — спросил я.

— Да разве сейчас узнаешь, он же работал здесь, всех знает, вот и думай.

— Кстати, он говорит, что Бикбулатова нужно от стройки отстранить и строить своими силами,— заметил я.

— Он скажет, что ему, сказал и уехал. А остальную работу кто будет делать?

— Тем не менее, посоветуйтесь с мужиками, от имени Ирека Галимзяновича скажите, так, мол, и так, своими силами, в счёт зарплаты.

— Говорить у нас все мастера. Только заранее скажу, за просто так у нас никто работать не будет.

— Ну, тем не менее, посоветуйтесь, раз начальство говорит.

— Так-то оно да, сказать скажу, моё дело маленькое.

16

На другой день работающие в больнице мужики дружно вошли ко мне в кабинет и в один голос отказались от строительства прачечной. Особенно красноречив был Гришка, которого, очевидно, задело то, что его, специалиста, заставляют работать бесплатно наравне с другими мужиками.

— Вот за нашу котельну, когда ещё здесь Ирек Галимзянович работал, сколько, по-вашему дали? — обращаясь ко мне, спрашивал он.

— Ну, тысячи три,— сказал я, прикинув, что котельная раза в полтора больше прачечной.

— Девять! А тут задарма! Да я вам скажу — за кухню (как въедешь во двор центральной больницы, налево, все знаете), сколько, по-вашему, дали?

— Ну, четыре, не больше,— сказал я.

— Двенадцать тысяч! Я семь просил — не дали, а шабашникам со стороны — двенадцать! Вот и думайте. А тут за счёт своих. У себя — так сговариваются, а тут — своими силами!

— Воля ваша, ж...а наша! — заметил Иван Иванович. Все засмеялись.

— Я вообще за семьдесят рублей в месяц в больницу пошёл потому, что поясница с прошлого года отнялась, а тут потаскай раствор, кирпич один день — и на три месяца на больничном,— как бы между прочим сказал слесарь, в то время как Анатолий Петрович молчал и лишь в знак согласия кивал головой.

— Хорошо, тогда пишите договор,— обращаясь к завхозу, сказал я.— Человек несколько дней работает, а договор не подписан.

— Это-то да. За этим дело не встанет,— сказал завхоз и, действительно, через три часа принёс на подпись бумаги.

Сочиняя их, он слюнявил чернильный карандаш, и у него, как у неряшливого младшеклассника, рот был в чернилах.

17

Мансур Ибрагимович скоро уехал. После того как его сняли с главных, он пить перестал, но по всему было видно, что мужик сохнет. Со мной он почти не разговаривал, советов не давал, практически, что меня устраивало, ни во что не вмешивался и за всё время попросил раза три машину съездить в соседний район к родственникам. В один конец шестьдесят километров по разбитой дороге. Я не отказывал, но шофёр, один раз съездив, находил причины, чтобы не ездить.

Уехал он в соседний район тихо, без проводов, в участковую больницу

главным, которая, по его словам, была больше и лучше нашей и с новой санитарной машиной.

Остались на нашем врачебном участке с населением в десять тысяч человек из врачей я и Фёкла Алексеевна. Она по-прежнему вела двенадцать человек в стационаре, а после обеда шла на приём в амбулаторию. Остальных двадцать пять больных взял я, кроме того, у меня был приём в поликлинике хирургических больных и всех других, длительно болеющих, неясных, конфликтных, но главное, на что уходили силы и в большинстве случаев зря,— это разбитое хозяйство. С лечебной же работой, по крайней мере мне так казалось, я справлялся. Справлялся не потому, что я хороший специалист, а потому, что требований к нашему брату почти никаких. Практически на сельском врачебном участке, да и не только на сельском, можно работать в качестве врача, почти не имея квалификации. Я должен был быть всего лишь маломальски грамотным и знать, к примеру, где располагается тот или иной орган, и то отчасти потому, что об этом спрашивают больные, а также небольшой перечень лекарств, применяемый при лечении того или иного заболевания, который, впрочем, известен и длительно болеющему.

Конечно, большинство впервые приступающих к самостоятельной практике докторов испытывают неуверенность, а в некоторых случаях даже робость, но это очень и очень быстро проходит, поскольку уверенность при общении с больным, чтобы он доктору верил, просто нужна, но главное, уверенность возникает потому, что наши врачебные теоретические и практические навыки никто не контролирует, и потому, что у нас очень сильно развито чувство собственной значимости, а население в большинстве своём довольно тем, что Бог послал. То же самое и у хирургов. Профессиональные навыки у доктора вырабатываются спонтанно, не стимулируется ничего, и оперируют хирурги в участковой больнице, за редким исключением, с дюжину грыж и аппендицитов в год, не более.

Приходит, к примеру, ко мне на приём больной. Говорит, что был вчера на гулянке и что у него возникли боли в правом подреберье. Я знаю, что в этой области находится желчный пузырь, и в этом для неквалифицированного доктора в подобных случаях вся наука. Про себя я решаю, что у больного холецистит, но об этом не говорю, а спрашиваю пациента: кушал ли он жирную или острую пищу и сколько чего выпил и чем закусил, о чём больной иногда не без гордости подробно рассказывает. Затем предлагаю больному лечь на спину и мну ему живот, спрашивая:

— Болит?

— Болит.

— Где?

Он показывает. Я уже подзабыл, поскольку не обновляю память систематическим чтением медицинской литературы (у нас можно обходиться и без этого), какие бывают симптомы при холецистите, но кое-что помню и с умным видом поколачиваю больному по правой ребёрной дуге.

— Болит? — опять спрашиваю я.

— Внутрь отдаёт.

— Угу...— словно шаман, многозначительно произношу я.

— А что здесь? — спрашивает больной, показывая на область правого подреберья.

— Желчный пузырь. Я вам ставлю холецистит,— уверенно говорю я и иду к умывальнику мыть руки, словно потрогал приблудную собаку. Затем сажусь за стол и выписываю одно лекарство — на русском, поскольку не знаю латыни, а другое, но без уверенности, что без ошибок,— по-латыни: но-шпу и тетрациклин. Я всем это, как и большинство других докторов, выписываю при холецистите. Если не поможет, назначу дуоденальное зондирование, хотя, по правде сказать, тому, что пишет в своих заключениях наша лаборантка,

мало верю.

Выписывая рецепты, я присматриваюсь к пациенту и субъективно, на свой манер решаю: дать или не дать ему листок нетрудоспособности и, как и большинству больных, говорю, что ничего страшного у него нет.

— Значит, ничего, жить можно, не помру?

— Нет, нет,— заверяю я больного,— не помрёте.

— Ну а как насчёт этого? — больной, улыбаясь, щёлкает себя по кадыку.

— Это вы у него спросите,— говорю я,— показывая больному на область расположения желчного пузыря.

Больной, улыбаясь, довольный, покидает мой кабинет.

— Следующий! — выкрикиваю я с чувством собственной значимости и испытывая от этой процедуры удовлетворение.

А между тем, больной у нас унижен, бесправен и в роли просителя, и потому нормальное общение моё с пациентами воспринимается больными как благость, к тому же я ещё не наделал грубых ошибок и, почти никому не отказывая, направляю больных к специалистам или на какое-либо обследование, причём, нарушая инструкции, сразу в областную больницу.

Всё это работает на мой авторитет, но, с другой стороны, оборачивается против меня: многие стараются попасть на приём ко мне. У дверей моего кабинета толпа, а Фёкла Алексеевна в это время пьёт чай, и хоть мне ничего не говорит, ибо я главный, но на меня дуется.

Иногда, бывает, больные и благодарят: мужики, как правило, приносят бутылку, я отказываюсь — обижаются, а женщины то утку принесут, то ощипанную курицу или банку мёда, но это редко. По крайней мере, значительно реже, чем об этом говорят.

Мне помогает на приёме фельдшерица: толстая в бёдрах, грудастая и по деревенским меркам ладная Колотухина Валька. Главное различие между нами в профессиональном отношении состоит в том, что я, как мне кажется, ничего не знаю, ей же — всё наоборот. Она, как на мужика, не иначе как положила на меня глаз, но уж очень, помимо всего прочего, она гордо держится, а на приёме, разговаривая с пациентом, смотрит ему не в глаза, а словно через стекло и очень часто его перебивает, не выслушивая до конца.

— У тя бронхит,— говорит она, если больной жалуется на температуру и кашель.— Для поту аспирин, если будет ломота, выпьешь анальгин, на крыльца горчичники и ещё других таблеток попьёшь.

— Каких таблеток? — спрашивает больной.

— Каки в аптеке дадут, скажешь, я послала от бронхита.

Когда она сидит со мной на приёме, а я не торопясь беседую с пациентом, то не находит себе места. Её руки постоянно елозят, перекладывая на столе с одного места на другое бумаги, теребят халат, расстёгивая и застёгивая его, отодвигают от стола и опять пододвигают стул. Наконец она не выдерживает и, очевидно, считая, что я не так, как надо, веду приём, перебивая больного, не к месту вмешивается в нашу беседу. Всё это действует мне на нервы, и потому с некоторых пор я ей говорю, что нужно помогать не мне, а Фёкле Алексеевне. За это она на меня очень обижается и за глаза говорит, что у меня знаний меньше, чем у неё, и потому мне с ней сидеть за одним столом во время приёма больных неудобно. Больные за глаза называют нашу фельдшерицу профессором. Она об этом знает и этим гордится.

18

Наш туберкулёзный диспансер — Богом забытое место. Зрелище, особенно внутри, он представляет собой уникальное и трудно описуемое, одним словом, как говорят больные: «Срамота». Его уже давно на всех уровнях постано-

вили ликвидировать, но тяжёлое бюрократическое колесо ещё не повернулось, и мы существуем. «Хоть бы сгорела, зараза! Её и огонь не берёт!» — говорили про диспансер местные мужики. Впрочем, диспансер через три года всё-таки ликвидировали. А пока многим в округе сподручней после областного диспансера долечиваться у нас. В основном это хроники, которые без направления сами приезжают на казённые харчи, на два-три месяца, как в дом отдыха. Многие из них социально не обустроены. Пока у нас полежат, за это время, глядишь, и на книжку немного деньжат набежит.

Я им назначаю таблетки, которые они, несмотря на то что я их для вида стращаю выпиской, не пьют, а кидают в туалет или летом зарывают в землю, что, впрочем, характерно и для больных в других диспансерах. «Это же надо, горстями травят!» — говорят они. По инструкции, когда больной пьёт таблетки, около него должна стоять медсестра и смотреть, все ли он их проглотил, что, как правило, не делается.

Почти все больные ходят ко мне с заявлениями. Кому для скотины нужно сенца по погоде припасти, кому картошку посадить или выкопать, у кого жена приболела или корова отелилась... Отпускаю я их дней на десять, даю на руки лекарство и спрашиваю:

— Дома пить будете?

— Пьём, пьём, для себя же, бесплатно,— соглашаются они. А не будешь отпускать, к нам вообще мало кто придёт лечиться.

Количество больных в диспансере зависит, как, впрочем, и в соматическом стационаре, от сезона. Как только начинает пригревать солнышко, с мая по сентябрь, у нас находится на лечении человек десять, не более, а глубокой осенью и зимой около тридцати.

Здесь я делаю обходы два раза в неделю: во вторник и в пятницу. Поначалу я просил на обходах больных раздеваться и выслушивал их, но затем бесполезное занятие мне надоело и я стал выслушивать больных только по показаниям. Зайдёшь в палату, поздороваешься с больными, которые не как на доктора, а как на хорошего знакомого смотрят на тебя, спросишь, не болит ли у них от таблеток желудок, не имеется ли аллергии — вот и весь обход. Да и какие могут быть изменения у хронического больного, которого я порой госпитализирую не по медицинским показаниям, а для того, чтобы у нас шёл койко-день. Впрочем, у нас бывают больные и с активными формами туберкулёза. Им мы делаем инъекции, активно даём таблетки и проводим рентгенологическое обследование. Снимки у нас не ахти какие, но сориентироваться можно. Старый врач-фтизиатр, заведующий фтизиатрическим кабинетом центральной больницы, говорит, что лечу я неплохо.

После обхода захожу в сестринскую и беседую с медсёстрами. Все они как на подбор пенсионерки. Молодёжь сюда не загонишь. Они между собой, может быть, иногда и не ладят, но ко мне относятся благосклонно, и разговор между нами идёт в основном о том, как долго ещё будут посылать на сельхозработы, или о том, что больная, которая лежит во второй палате, хоть с виду, можно сказать, и старуха, а завела с мужиками шашни. «Лечение,— думаю я,— значит, на пользу». Впрочем, подобное в тубдиспансерах происходит почти повсеместно, а пожилые сёстры мне об этом говорят, очевидно, для того, чтобы я проводил воспитательную работу, но я не вижу в этом, если всё идёт между больными полюбовно, криминала и не нахожу слов для подобного рода бесед с больными, которые иногда более чем вдвое, а то и втрое старше меня.

Поговорив с медсёстрами, прохожу в каморку — мой врачебный кабинет, где впритык друг к другу стоят стол, диван и высокий, не фабричной работы дощатый несуразный шкаф. На столе, покрытом многократно проштампованной простынёй, лежат свежие и многолетней давности рентгенологические снимки и стопками истории болезни. Кроме того, историями болезней забит

шкаф. Иногда я думаю, что, если он упадёт, то мне из-под него не выбраться. Когда-то, по годам, истории перевязывали в вязанки бинтами и складывали на нижние полки, а на верхние полки последние несколько лет валили друг на друга.

Когда я впервые увидел эту макулатуру, то сразу же загорелся желанием всё это расчистить и удивлялся тому, почему же раньше никому не пришла в голову подобная мысль, но потом закружился с хозяйством и стало не до этого.

Первое время я после обхода садился за стол и, думая о хозяйственных делах, строил по трафарету истории болезни, но затем стал задаваться вопросами: «Для чего? Для кого? Кому это нужно?». Ведь я уверен, что ни одну из историй, которые лежали в этом шкафу, никто, чтобы поинтересоваться её содержанием, не поднял, отчасти потому, что в них не было содержания, отчасти потому, что больные у нас не столько лечились, сколько отлёживались, а главное, никому это всё не было нужно.

В последующем, после обхода, я приходил в свой кабинет, закрывал дверь на защёлку, снимал башмаки, ложился на диван и отдыхал душой. Сюда ко мне с хозяйственными вопросами никто не приходил.

Аналогичная ситуация сложилась с историями болезней в стационаре. Я веду до обеда от двадцати пяти до тридцати пяти стационарных больных. По нормативам — это более чем на ставку. После обеда у меня в амбулатории полный, тоже на ставку, приём поликлинических больных, но больше всего времени у меня отнимает хозяйственная деятельность. Если мне вести истории болезни, как это делает Фёкла Алексеевна на своих двенадцать больных, то работы на полный рабочий день. А заполняет она истории, впрочем как и многие доктора, так, что, читая их, порой только запутаешься. По сути — это имитация деятельности. Это в наших условиях работа для комиссии. Вдруг приедут и начнут рыться в бумажках. Ведь в большинстве своём работа врача оценивается не по тому, как он лечит, а как заполняет бумажки. И для комиссии удобно. Чтобы найти в документации погрешности, не нужно иметь квалификации. Всегда есть возможность показать свою значимость. Впрочем, если на врачей не поступает жалобы, то проверки носят формальный характер и все на всё смотрят сквозь пальцы. Когда же поступает жалоба, то историю болезни «трясут», требуя порой, чтобы в ней было отражено не только то, что у больного имеется, но и то, что желательно было бы иметь. Впрочем, и в этом случае зачастую всё заканчивается отпиской, ведь у нас, как нигде, имеет место круговая порука.

Но я молод, «не ломаный», авторитетов не признаю, склонен к категоричности и, как мне кажется, стараюсь ко всему подходить в интересах больного.

«Буду лечить больных!» — сделал я для себя выбор, когда передо мной встал вопрос: «Чем заниматься: канцелярской работой или делом?». И сразу облегчённо вздохнул, словно снял камень с шеи.

Несмотря на то, что я с утра постоянно отвлекаюсь по хозяйственным делам и в моём кабинете телефон трещит «как в Смольном», у меня появилось время не торопясь, по-человечески поговорить с пациентом, что порой неоднозначно понимается моими сотрудниками.

Как-то ко мне обратился с жалобами на недомогание лесничий, и потребовалось около часа с ним беседовать и объективно его обследовать, прежде чем я сформулировал для себя диагностическую гипотезу. После этого я слышал, как Фёкла Алексеевна говорила старшей сестре:

— Сёдни несколько раз заглядывала к главному в кабинет, в гости позвали, хотела с приёма отпроситься, гляжу, там лесничий всё сидит и сидит, и всё с Александром Леонидовичем говорят и говорят. Не иначе, наш строиться хочет. О чём можно так долго говорить?!

Теперь на обходах я не суечусь и не перебегаю быстро, как заяц, от боль-

ного к больному. В моей голове не щебечет постоянно сверчок, что нужно успеть побольше замарать чернилами бумажек. Мои мысли и душа не с бумажками, а с теми страдающими людьми, которые нуждаются в моём внимании, думаю о диагностике, лечении, и, мне кажется, я стал меньше похож на современного молодого полуинтеллигентного полуспециалиста.

Впрочем, что касается тяжёлых и сложных больных, то на них я истории болезни веду и, если направляю на обследование в другие больницы, выписки пишу подробные. Но это не часто, причём, опять же, если бы я был перегружен писаниной, то в подобных случаях, что у нас нередко делается, выписки писал бы формально.

19

Вызывают как-то срочно с обхода:

— Ленка Сиплатова прибежала, муж поколотил,— говорит мне постовая сестра.— Вас в кабинете ждёт.

Захожу и вижу зарёванную лет тридцати бабу.

— Вот, Александр Леонидович, посмотрите, что со мной изверг сделал.— Она, размазывая по лицу кулаком слёзы, показывает мне под левым оплывшим глазом внушительных размеров синяк, а затем задирает кофту и юбку. На ногах, груди и спине тоже синяки. Я всё это внимательно разглядываю, а затем пытаюсь выяснить, нет ли повреждения внутренних органов, но пострадавшая меня перебивает и настаивает, чтобы я тут же оформил амбулаторную карточку и выдал на руки справку о нанесённых ей телесных повреждениях.

— Для чего? — спрашиваю я.

— Мужа засажу.

— Куда? — наивно спрашиваю я.

— В тюрьму.

Я звоню в амбулаторию и прошу принести мне карточку.

— Да вы не связывайтесь с Ленкой,— советует мне Нина Ильинична,— у них там без бутылки не разберёшь. Она сама с чинариком, ходит тут барышник один, схлестнулась. А какой мужик будет это терпеть! Сейчас мужа, чтоб не мешал, хочет засадить, а он тепереча, как напьётся, так давай её колотить.

Через некоторое время я получаю из нарсуда бумажку, где сообщается, что я вызываюсь в суд в качестве свидетеля и в случае неявки меня, на первый раз, оштрафуют на десять рублей, а при повторной неявке по отношению ко мне будут предприняты более строгие меры. Поэтому через некоторое время я стою за трибуной и, подписав бумажку, где сказано, что я буду говорить только правду и несу за это юридическую ответственность, даю показания, что у Сиплатовой Ленки под правым глазом был свежий синяк размером четыре на пять сантиметров и что определённых размеров были синяки под грудями, на бёдрах и других частях тела.

20

Открытие сушилки для прачечной произошло не через две недели, как планировал Бикбулатов, а через три месяца. То искали и не находили для потолка подходящего размера плит, затем возникли проблемы с дверным блоком и рамой для единственного окна, поскольку не догадались в колхозе сразу подмаслить заведующего столярной мастерской, и потому для нашего заказа долго не находилось подходящего материала.

Чего не возьми, всё дефицит, и я удивлялся: откуда же берут люди материал, возводя, особенно в райцентре, добротные частные особняки. Причём, если бы у нас под боком не было спиртзавода, то строительство наше затяну-

лось бы ещё не менее чем на год. Но Бикбулатов не унывал и, возведя кладку, выписавшись из больницы, за период простоя срубил и поставил председателю сельпо из добротных, ровных как карандаш липовых брёвен баню.

Я сокрушался, что строительство затягивается, но завхоз был невозмутим.

— У Бога дней много,— говорил он,— да у нас ничего быстрей и не бывает. Сельсовет вон, даром всё в своих руках, а сруб уж, никак, пять лет стоит, пакля сгнила. А под нову школу уж два года как вырыли для фундамента траншеи, так до сих пор не начинали.

Ещё до завершения строительства было много недоделок, но уже организовали стол. От предстоящего торжества я хотел было улизнуть и прикинулся шибко занятым, но мне позвонил председатель сельсовета. Ему одному идти, видимо, было неудобно — как-никак начальник. С ним увязался и главный бухгалтер, который наверняка считал себя активным строителем нашей сушилки. Компания получилась необычная, и все, пока не сели за стол и не оскоромились, чувствовали себя неловко. А на сымпровизированном столе были и испечённый женщинами с рисом-мясом пирог, и колбаска, и огурчики, помидорчики и грибочки, ещё кой-какая закуска и несколько бутылок водки, которую доверили открывать и разливать Анатолию Петровичу, что он сделал, наливая и мужчинам и женщинам вровень, с большим удовольствием.

Первый тост, посматривая на меня, не буду ли я против, произнёс председатель сельсовета. В своей по смыслу путаной, но уверенно произносимой речи он долго говорил про сушилку, желая стоять ей веки вечные, и про коллектив, который её строил, желая в конечном итоге всего хорошего.

— Пятьдесят лет гарантий даём, пятьдесят лет гарантий даём! — вторил ему Бикбулатов.

Ссылаясь на то, что мне нужно на приём к больным, я пытался от мероприятия уклониться, но не тут-то было: мне пришлось не только пригубить, но и выпить до дна, а иначе никто бы меня не понял,— и только после этого я покинул застолье. Следом за мной, после второй, застолье оставил и председатель сельсовета. «Как-то неудобно в этой компании начальнику»,— считал он.

На другой день, стоя на крыльце перед пятиминуткой, бабы говорили, что вчера вечером в прачечной гуляли и из открытых окон песни доносились допоздна. И, я думаю, после этой спевки, а это одна из составляющих нашего жизненного уклада, в коллективе наметилось сближение.

Да и у меня, как построили для прачечной пристрой, стала появляться в хозяйских делах уверенность. А с Анатолием Петровичем мы друг к другу стали мало-помалу притираться. Конечно, он если не на две, то «на одну ногу сильно припадал» и, будучи завхозом, до меня пропил гвозди, краску и доски, а когда за главного был Мансур Ибрагимович, они схватывались так, что, если это происходило во дворе больнички, больные, чтобы посмотреть на бесплатное представление, прильнув к оконным стёклам, сплющивали носы. Однако, многое пропивая, он ещё не пропил душу и в ней ещё были не оборванные струнки, на которых можно было поиграть.

Нередко, будучи с похмелья, он заходил ко мне после пятиминутки и, не глядя в глаза, садился подальше от стола. Лицо у него помятое, подпухшее, грязная рубашка на две пуговицы у ворота расстёгнутая и на лбу капли пота.

— Анатолий Петрович, скажите, пожалуйста...— обращался я к нему.

При этом он поднимал на меня мутные глаза, и было заметно, как его взгляд мало-помалу светлеет.

— Так-то оно, да,— начинал он, думая, как бы опохмелиться, но со временем пить стал значительно меньше, хотя и знал, что заменить его некем — все более или менее стоящие в деревне мужики были на больших окладах при деле, а остальные — гораздо более, чем он, горькие пьяницы.

Из диагностической аппаратуры у нас в больничке, кроме старого-престa-

рого рентгеновского аппарата, ничего не имеется, а из физиотерапевтической — в нескольких местах перевязанный изолентой УВЧ аппарат. Его старшая сестра включает очень редко, в основном для лечения престижных больных. Кроме того, у нас на стационар и амбулаторию две кварцевых лампы, а также ещё кое-какое нефункционирующее старьё. И это при том, что ежегодно выделяемые для приобретения оборудования две тысячи рублей пропадают. Пропадают не потому, что в «Медтехнике» нечего купить, а потому, что нет инициативы, которая к тому же порой наказуема. Да и эти две тысячи главный бухгалтер сельсовета не больно-то даёт. Он уже свыкся с мыслью, что эти, и не только эти, деньги не должны использоваться, и за экономию получает проценты, а в его лексиконе наиболее часто встречаются словосочетания типа: «У денег глаз нет!», «Мне за вас не хочется в тюрьму!», «Покедова ничего на счету нет», «Дал бы, да банк не пропустит!». Но после того, как я ему объяснил, что новый УВЧ аппарат и кварцевые лампы очень эффективны при лечении радикулита, которым он страдает, он выдал мне, «оторвав от сердца», чековую книжку.

До магазина «Медтехника», который располагается в областном центре, от нас не дозвониться, а по ухабистой шоссейке, через речную переправу на пароме, двести километров. Чтобы преодолеть это расстояние, дядя Ваня готовится словно к многодневному ралли и на неделю ставит машину на профилактический ремонт. Он, насколько это возможно, чинит машину. Но всё почему-то получается не слава Богу: то начинает что-то стучать, то заедать и необходимо долго всё заново регулировать. Это, очевидно, потому, что ему очень редко приходится выезжать далее районного центра, а едет он обычно настолько тихо, словно везёт, боясь расплескать, молоко в бидонах без крышек.

В больнице все знают о нашем предстоящем турне и одобряют.

Проезжаем сотню километров и на переправе через Каму, в районе Сорочьих Гор, встречаем длинный-длинный хвост машин. Здесь уже давным-давно планируют построить мост, ну а пока мы медленно, в течение двух часов, движемся в тесном ряду машин и, наконец, въезжаем на паром.

Ветер гонит по Каме большие, с барашками, волны, которые, разбиваясь о борт парома, брызгами обдают стоящих на палубе пассажиров. Следом за нами по воде длинный, сверкающий на солнце, пенистый хвост, а над нами крикливые, припадающие то на одно, то на другое крыло чайки. Они на лету стараются поймать кусочки хлеба, которые подбрасывают вверх и взрослые, и дети. Некоторым это удаётся, другие же подбирают не пойманные кусочки на воде. Ветер треплет мой плащ, мою душу переполняет свобода, и мои мысли далеко от больницы, в то время как дядя Ваня, не выпуская из рук баранки, посматривает на меня неодобрительно за то, что я не сижу рядом с ним в кабинке, но это лишь меня забавляет.

Наконец, мы въезжаем в город, и мне, выбравшемуся из глуши, бросается в глаза не обилие машин и светофоров, что на дядю Ваню нагоняют страх, не высокие дома и витрины магазинов, а множество девушек, каждая из которых мне кажется по-своему красивой, и, не пропуская ни одной, я провожаю их глазами.

Дядя Ваня по улицам города едет ещё тише и очень долго примеривается, прежде чем подъехать к магазину «Медтехника», который встречает нас пустыми полками. «Всё отпускаем по заявкам, а они составляются за год загодя»,— объясняют мне, но я уже не новичок, меня на мякине не проведёшь; у меня уверенность, что не должны отказать, и потому я захожу к директору магазина.

За столом преклонных лет, с интеллигентным лицом, судя по всему не сильно занятая симпатичная женщина. Она так смотрит на меня, как смотрят ещё не совсем пожилые женщины на симпатичных молодых людей. «Всё нор-

мально»,— думаю я и, извиняясь за беспокойство, называя её по имени-отечеству, спрашиваю, можно ли к ней обратиться.

— Да, пожалуйста, присаживайтесь,— отвечает она, а я думаю, что наверняка подобные просители её навещают не часто.

Я робко, словно в чём-то виноват, излагаю свою просьбу.

— Где вы работаете? — интересуется она, и по её губам пробегает приветливая улыбка.

Я отвечаю.

— И давно?

— Несколько месяцев.

Далее она меня расспрашивает, где находится наша больница, на сколько коек и вообще — как я хозяйствую.

В конце нашей беседы она снимает трубку телефона.

— Алевтина Георгиевна, у нас ведь осталось ещё немного с последней партии шприцов? — спрашивает она и выслушивает ответ.— Да, я помню, но этого им всё равно не хватит. Мы лучше им отпустим со следующей партии, а сейчас к вам подойдёт симпатичный молодой человек... да... У него на руках чековая книжка, и ему ещё немножко иголок.

— Я думаю, вас пятьдесят шприцов временно устроит? — положив трубку, приветливо обращается она ко мне, а я уже на седьмом небе. Пятьдесят шприцев для нашей больнички — богатство. Ведь при таком богатстве я не только смогу на два-три шприца увеличить в каждом отделении их общее количество, но и заменить пропускающие старые на новые.

В заключение заведующая с улыбкой говорит, что, если ей придётся заболеть, то она приедет лечиться только ко мне, и выписывает счёт-фактуру, куда я, справляясь о ценах, прошу вписать три кварцевые лампы, УВЧ аппарат, несколько дефицитных стерилизаторов и мою мечту: портативный переносной электрокардиограф за семьсот пятьдесят рублей. От двух тысяч на чековой книжке остаётся менее ста рублей.

— Я вам на оставшуюся сумму выпишу вёдра, по четыре семьдесят, девятнадцать штук,— не спрашивая моего согласия, говорит заведующая, заполняя и отрывая чек. Судя по всему, вёдра у них не ходовой товар, они стоят даже в коридорах.

— Нажмёте на педаль, крышка у ведра откроется,— поясняет она.

Всё это богатство мы с дядей Ваней, который очень доволен, что не пришлось часами ожидать оформления документов, грузим в машину, договариваемся, что выезжаем завтра поутру, и расходимся. И у него, и у меня в городе есть где остановиться.

Я иду по улицам, мне всё здесь знакомо. Я словно птичка, вырвавшаяся из клетки, и мне непонятны озабоченные лица куда-то спешащих прохожих. Всё мне мило, всё меня веселит, я полон, что бывает только в молодости, неосознанных романтических, большей частью несбыточных желаний.

21

На другой день к вечеру я уже на работе. Сижу в своём кабинете, рядом старшая сестра. Мы распределяем по отделениям шприцы и инъекционные иглы. Впрочем, это улучшит положение, но не снимет проблемы. Ведь, по всем правилам асептики, на каждого больного следует применять отдельный шприц и иглу. У нас же процедурная медсестра одним шприцом делает, к примеру, инъекции пенициллина всем больным, меняя только иглы, хотя известно, что при инъекции происходит по игле заброс крови в шприц, и только чудом беда нас обходит стороной.

Все уже знают, что я полную машину привёз различного оборудования, и со всех отделений, из любопытства, пришли посмотреть на товар медсёстры

и санитарки. Против моего ожидания, всем особенно по вкусу пришлись с открывающейся крышкой вёдра, которые тут же растащили по отделениям. Электрокардиограф я занёс в кабинет, шприцы и стерилизаторы забрала старшая сестра, а УВЧ аппарат, кварцевые лампы занесли в нефункционирующую операционную, где их в тот же вечер и опробовали: четыре медсестры, включив лампы, зашторили окна, разделись и стали загорать, но переборщили и получили ожоги до пузырей. Двух пришлось госпитализировать.

А на другой день поутру звонок из района.

— Кто тебе разрешил выезжать за пределы района? Я тебе выговор закачу! — слышу я голос главного, но не отвечаю. Вопрос повторяется. Я продолжаю молчать. Молчит и главный. Я кладу трубку.

22

Я опутал соседа-дедушку и в течение трёх дней вечерами экспериментирую. Он тоже проявляет интерес к технике и, надев очки, читает инструкцию по эксплуатации электрокардиографа. У всех в больнице впечатление, что эту дорогую безделушку я купил для забавы, но через четыре дня я снял первую кривую.

— Ничего не почувствовал, не щиплет и током не дёргает,— говорил всем первый пациент.

За ним проверить сердце изъявили желание и другие больные, а глядя на них, составили список очередников медсёстры и санитарки. «Хорошо ещё, что прихватил в «Медтехнике» пол-ящика плёнок»,— думал я, никому не отказывая. А плёнка эта специальная, термочувствительная, не такая, как для старых приборов, которые постоянно заедает, и около них сидят с измазанными в чернилах руками медсёстры.

Впрочем, всё это мне лишь вначале нравится, но потом начинает надоедать, ибо очень многим пациентам, по их просьбе, электрокардиограмму приходится снимать без показаний. Обычно я с серьёзным видом, что положительно действует на пациентов, снимаю «кривую», затем отстёгиваю электроды, отрываю плёнку и, делая всё это молча, пишу на ней дату, фамилию, имя, отчество и возраст больного.

— Ну, что у меня? — наблюдая, как я рассматриваю электрокардиограмму, не выдерживая, спрашивает меня пациент.

— Да как вам сказать...— продолжая рассматривать кардиограмму, говорю я.

— Жить буду? — отчасти в шутку, отчасти всерьёз спрашивает больной.

— Видите ли,— отвечаю я,— вы не медик, мне вам трудно объяснить...

— А вы по-нашенски, по-деревенски.

— Ну, если так, то можно сказать, что в пределах возрастных изменений.

— Выходит — нормально?

— Если хотите,— говорю я.

Однако, если судить строго, как в кардиологии, так и в электрокардиографии я разбираюсь плохо, но нормальную плёнку от ненормальной отличаю и усердно по вечерам штудирую по электрокардиографическому атласу науку.

Впрочем, у нас мало тяжёлых больных и почти у всех моих пациентов кривые мало отличаются друг от друга. Только в одном случае «находка».

— У вас блокада правой ножки пучка Гиса! — рассматривая электрокардиограмму, безаппеляционно говорю я директору школы и до смерти его пугаю.

— Вот и я чувствую, как по столу постучишь, сердце зажимает,— говорит он.

— И вы часто стучите?

— Можно сказать постоянно. А что делать, такая работа!

— Так зачем же вы это делаете? — наивно спрашиваю я.

— Иначе нельзя. Наглеют, на шею лезут.

— Тогда вам лучше сменить работу.

— Из стога в колхозе солому дёргать? Нет, я лучше у вас лечиться буду.

Скоро он по моей рекомендации взял путёвку в санаторий, где электрокардиографическое заключение «Блокада правой ножки пучка Гиса» подтвердилось. Приехал он из санатория и всем стал, ни больше, ни меньше, говорить:

— У Александра Леонидовича больш-а-а-я голова.

А с главным врачом района — всё больше в расплёв. Из центральной регулярно приходят по почте бумажки. На депешах сообщается, что тогда-то, во столько-то часов в центральной больнице состоится совещание. Далее следует повестка и, как всегда, в духе времени приписка: «Явка всех врачей района на совещание строго обязательна».

К нам в больницу, да и на других участках так, больные приезжают на приём за пять, десять, а из леспромхоза за тридцать километров, а им объясняют: «Врачи на совещании». Да и в стационаре больные остаются без присмотра. Мы в это время заседаем и слушаем, к примеру, о том, что в устье реки Волги произвели забор воды и нашли несколько холерных вибрионов и что из Минздрава поступили инструкции, в которых оговаривается, как по новому методу обезвреживать рвотные массы и испражнения.

Заседание продолжается долго, специально без перерыва, чтобы доктора не убежали на обед в местный ресторан, где за три рубля можно взять не только первое, второе и третье, но и остограмиться. В конце совещания, страдая косноязычием, с заключительной речью выступает главврач. Когда он говорит, имитируя первого секретаря райкома, то делает между словами большие паузы и любуется собою. Участие в подобных заседаниях меня очень утомляет и угнетает, и потому, съездив несколько раз, я стал вместо себя посылать старшую сестру или медстатистика. Они, чтобы пробежаться по магазинам, ездили в центральную с охотой.

Получая из центральной бумажки о заседаниях, я вначале недоумевал: почему у нас они посвящены чему угодно, но только не диагностике, или лечению, или, к примеру, какому-либо интересному клиническому случаю, и можно было бы обменяться мнениями, подискутировать, обогатить свой клинический опыт. Только впоследствии, присмотревшись к докторам, я понял, что для того, чтобы проводить подобные конференции, нужны конкретные знания хотя бы в узкой области, а их-то и нет — и, в первую очередь, у главного врача и его заместителей.

Ещё одна особенность нашего здравоохранения — это масса циркуляров, которая не обходит стороной и нашу больничку. На неделе я, словно выдающаяся личность, получаю большую почту. К примеру, сообщается о том, что в Ивановской области пьяный хирург, оперируя больного, оставил у него в брюшной полости часть инструментария, что, к сожалению, было обнаружено только при патологоанатомическом исследовании... Или сообщается о том, что в последнее время имеют место перебои в снабжении медицинских учреждений рентгенологической плёнкой, и связано это с тем, что на её изготовление идёт важное стратегическое сырьё — серебро. И потому всем медицинским учреждениям предписывается рентгенологические снимки на руки больным не давать, а собирая, раз в квартал сжигать и пепел сдавать.

Вначале я поступающие бумаги складывал в специальную папку, но папка быстро пухла, мешала работать, и потому в последующем, прочитав очередную бумагу, я переправлял её, за редким исключением, в стоящее у меня в кабинете с открывающейся крышкой ведро.

23

Как-то, сняв трубку телефона, слышу на удивление дружелюбный голос главного врача района, спрашивает:

— Я слышал, вам для котельной электромоторы нужны?

— Нужны,— отвечаю я, а сам думаю: «Наверняка какой-нибудь подвох».

Ирек Галимзянович поясняет, что Минздрав где-то закупил, чего раньше никогда не было, моторы и потому нужно на нашей машине съездить в город на центральную базу и привезти пять штук. Мы договариваемся, что поедет Гришка на нашей машине и с нашей доверенностью, а рассчитаемся по приезде.

Я ещё в хозяйственных делах не совсем окреп, и когда мне приходится давать поручения своим сотрудникам, то порой испытываю психологические затруднения и потому суть дела излагаю дяде Ване и Гришке от имени главного врача района.

Конечно же, они не в восторге, но делать нечего, поехали и в своих предчувствиях не обманулись: вместо двух дней обернулись за четыре. Приехали под вечер, осунулись, в пыли и говорят, что в последний день во рту — ни маковки. За четыре дня обегали все конторы, а куда ни придёшь — говорить ничего не говорят, но «на руки глядят». К тому же, в довершение ко всему, автопогрузчика не нашлось, пришлось на себе тяжеленные моторы со склада в машину таскать. Гришка спину сорвал, ходит как крючок, не разогнётся.

Вечером, как пришла машина, звонит Ирек Галимзянович.

— Почему не привезли моторы сразу в центральную?

— А нам? — естественно, спрашиваю я.

— Со следующей партии.

— Мы так не договаривались,— говорю я, но на другом конце уже повесили трубку.

Я обсуждаю ситуацию с Анатолием Петровичем, Гришкой и дядей Ваней. «Мы привезли, деньги наши. Нужно по совести»,— говорят они. Решили три больших мотора отвезти в центральную, а два маленьких оставить себе.

На следующий день, во время пятиминутки, опять поднимаю трубку. Главный, срываясь на крик, приказывает привезти ещё два мотора, но на этот раз трубку кладу я. «Моторы нужно отвоевать»,— думаю я. Ан нет. Через день я увидел, что к больнице подъезжает «скорая». «Наверняка за моторами»,— подумал я и зашагал к кладовке, где Гришка колдовал над амбарной книгой.

— Ключи, где ключи? — с порога спросил я Гришку.

Он с недоумением посмотрел на меня.

— За моторами приехали, где ключи?

Гришка неуверенно протянул увесистую, как у Плюшкина, связку. Я её в карман и был таков.

Однако моторы всё равно забрали. Спилили замок и увезли, но в коллективе меня после этого случая зауважали. Озадачил я всех. «Самому ключи от амбара не дал,— с улыбкой говорили в больнице про меня.— Когда Ирек Галимзянович здесь главным начинал, если кто из района приезжал, то всегда специально на кухне готовили обед. А уж если главный — домашнюю курицу резали, коньяк брали. А тут самому ключи не дал!»

Озадачен был моей выходкой, очевидно, и главный врач района. По крайней мере, недели три не было из центральной больницы звонков, и я работал спокойно, а затем позвонил заместитель по лечебной работе и, как обычно, тихим, вкрадчивым голосом говорит:

— В следующую пятницу у нас состоится заседание медсовета. В повестке: обсуждение работы Кривозёрской участковой больницы, Ирек Галимзянович просит вас приехать.

— Ладно,— отвечаю и думаю: «Раз просит, нужно приехать. Возможно, в наших отношениях наметится поворот».

Вхожу в кабинет к главному ровно к началу. Всё здесь предусмотрено и рассчитано на внешний эффект: размеры, паркетные полы, импортный гарнитур, люстра, бахромистые шторы, двойные двери.

Я уже давно ломал себе голову, как бы выкроить в стационаре отдельную палату для гнойных больных и потому, естественно, подумал, что из этого кабинета получились бы две просторные палаты, где можно было бы поставить по четыре кровати.

Почти все уже собрались. Когда я вошёл и поздоровался, Ирек Галимзянович не повернул в мою сторону даже голову. По правую руку от него на краешке стула сидел заместитель по лечебной работе. С виду он не соответствовал занимаемой должности, но соответствие между ним и главным врачом шло, очевидно, по особым, незримым для меня качествам.

Прошло пятнадцать минут, а заседание не начинали: не прибыл виновник «торжества» — главврач Кривозёрской участковой больницы. За время ожидания подошёл в неглаженном халате, больше похожий не на врача, а на санитара психбольницы, парень — сын районного прокурора. Про него говорили одни с улыбкой, другие с возмущением. Бывало, что он выпивал и катал на санитарной машине девочек, а один раз повздорил с больным так, что дошло до рукоприкладства, но конфликт быстро замяли. У него не было ни желания, ни способностей заниматься лечебной работой, и потому главврач сделал его заведующим поликлиникой, но и тут незадача: на новом месте он вдруг стал ещё меньше работать и даже в дворовой манере спорил с главным врачом. И теперь главный, хотя бы на время, но с глаз долой, направил его на курсы повышения квалификации.

Сын прокурора свободно, как к себе в квартиру, без стука вошёл к главному и размашистым движением руки, словно метал банк, положил перед ним бумагу. Ирек Галимзянович, не поднимая глаз, подписал. Перед уходом заведующий поликлиникой помахал всем ручкой:

— Чао! — Было видно, что он с удовольствием, как по туристической путёвке, едет на усовершенствование.

Наконец, вошёл главврач Кривозёрской больницы и, вытирая платочком потное лицо, глядя на Ирек Галимзяновича, стал извиняться:

— Спустило колесо. Пришлось с шофёром на ходу запаску менять.— В подтверждение своих слов он стал всем показывать, растопырив пальцы, испачканные в мазуте руки.

На первый взгляд, доктор из Кривозёрок казался глуповатым, но порой его глаза лукаво светились, и, на самом деле, он только представлялся таким. Ему предложили вымыть руки, но он, говоря, что всё равно их без бензина не отмоешь, ещё раз извинившись, что всех заставил ждать, уселся на свободное рядом со мной место.

— Раз у вас техника подводит, нужно раньше выезжать. На двадцать минут все от работы оторвались, вас, понимаешь, как министра, ждём,— строго сказал главный и сделал паузу. Все притихли.— Вам всегда, как плохому танцору, что-то мешает. Ещё раз опоздаете, накажу!

Видно было, что медсовет идёт по накатанной дорожке, где гвоздём программы являлось унижение того, кого вызывали «на ковёр», и всё делалось как бы по предварительному сговору, где каждый участник выступал в заранее отведённой ему роли. Только я не вписывался в «сценарий», и поскольку происходящее вокруг меня действо показалось мне как бы не всерьёз, я не к месту улыбнулся. Главный заметил мою улыбку, и по его лицу пробежала тень. Заместитель по лечебной работе наклонился к заведующей терапевтическим отделением и, показывая на меня глазами, сказал:

— Не ломаный.

Она, очевидно, в том смысле, что оботрётся, наклонила в его сторону голову и улыбнулась.

— Начинайте,— обратился главный к заместителю.

Заместитель по лечебной работе встал и, глядя на него, держа в руках шпаргалки, начал:

— На прошлой неделе комиссия в составе главных специалистов и главного врача санэпидстанции под моим руководством обследовали Кривозёрскую участковую больницу на предмет состояния организационной, лечебной, санитарно-гигиенической, просветительной работы в свете последних постановлений Минздрава республики и центральной больницы...

— Какие вы выявили недостатки? — перебил заместителя главврач.

Заместитель сбился с текста и стал перебирать шпаргалки по выступлению.

— Нужно, Ирек Галимзянович, сказать, что наша проверка была заключительной,— продолжил заместитель,— а до нас дважды выезжала санэпидстанция. Они дважды брали смывы со столов на кухне, с сестринского стола в процедурной, перевязочной, а также родильном отделении. Так вот, на одном из столов в стационаре была найдена кишечная палочка. Ещё на сестринском посту мы не нашли инструкции по обработке шприцов и игл в мыльном растворе. Спросили, значит, постовую сестру, она тоже стала путаться. Ещё на участке уже два года имеется самоходная установка по обеззараживанию одежды, но она до сих пор не работает. Вернее, работает не по назначению: саму камеру для дезинфекции одежды сняли, а вместо неё нарастили из досок кузов. Получилась грузовая машина, и на ней, значит, возят и дрова, и кирпич, и цемент.

— Как уж так можно! — не выдержала главный врач санэпидстанции — некрасивая, с мужскими чертами лица, средних лет женщина.

— Почему не запустили? Мы вам почему машину из санэпидстанции передали? Чтобы вы ездили по всему району и проводили дезинфекцию! А ты саботируешь, снял, понимаешь, кузов самовольно! Кто разрешил? Используешь машину в личных целях! — строго сказал Ирек Галимзянович.

— Видите ли, Ирек Галимзянович,— стал спокойно отвечать, словно доктор, объясняющий возмущённому больному, почему не излечивается его заболевание, главврач из Кривозёрок,— запустить бы мы давно запустили, но дело в том, что она пришла нам из санэпидстанции разукомплектованная. Когда стали запускать, смотрим, того нет, другого нет, обратились в санэпидстанцию, они говорят, что такая с завода пришла. Полгода назад писали на завод и ждём, пока гарантийный срок не вышел, сами не вмешиваемся.

— За это время можно было бы давно послать представителя на завод,— глядя на Ирек Галимзяновича, сказала главный врач санэпидстанции.

— Видите ли, Людмила Александровна, я бы, конечно, и сам съездил, но ведь как бросишь больных и стационар достраиваем, сейчас самый ответственный момент. Конечно, можно было бы послать завхоза, но он больной, спасибо ещё и так работает, а заменить некем. Может, вы из своего штата когонибудь командируете. Ведь всё-таки ездить по всему району и проводить дезинфекцию — это работа санэпидстанции. Я и раньше говорил, что не надо нам машину передавать.

— Кого вы наказали за нарушение в столовой дезрежима? — спросил Ирек Галимзянович уже не так строго, потому что в ответах главврача из Кривозёрок главврачу санэпидстанции было меньше почтения, чем при ответах ему.

— Мы, Ирек Галимзянович, проанализировали этот вопрос и пришли к выводу, что источником кишечной палочки являются комары или мошки, которые меньше мух и проникают сквозь сетку. Мы у себя уже обсудили эту проблему, и я уже сестре-хозяйке «поставил на вид». Поэтому на будущее мы

будем искать сетку на окна и двери помельче и как только найдём, так сразу же и поставим. После этого, я думаю, случаев высева со столов кишечной палочки у нас не будет.

«Если взять смывы на стерильность со столов в центральной, то кишечную палочку наверняка можно будет найти на всех столах»,— подумал я, ибо до начала медсовета все говорили о том, что у них, уже как три дня, забилась канализация.

— Кроме того, во время проверки акушер-гинекологом установлено,— продолжил заместитель главного врача,— что не все женщины на участке прошли медосмотр. Так, Митрофанова, семидесяти трёх лет, не осматривалась фельдшером и акушер-гинекологом в течение пяти лет, Файзуллина Нурания, семидесяти восьми лет, не осматривалась аж в течение девяти лет. Всего же на одном только, как едешь, по правую руку, медпункте не осмотрено восемь человек.

— Почему не осмотрены? — строго спросил Ирек Галимзянович.

В то время как по губам членов медсовета пробегала улыбка, главврач из Кривозёрок стал говорить о том, что он не только использовал все методы убеждения, но и пригрозил прокурором, однако, никто из этих пациенток всё равно на гинекологический приём не пришёл.

— Более того,— продолжил он,— за то, что мы за них переживаем, они на нас же и обижаются. Хотя, с другой-то стороны, они и на гинекологическое кресло не смогут залезть. «Дайте,— говорят,— спокойно умереть».

— Надо на дому...

— Да мы...

— Не перебивайте, у вас ещё будет время сказать. На дому нужно. Если больные не идут к врачам на медосмотр, значит, плохо поставлена санитарно-просветительская работа, значит, больные не верят врачам. Если больной верит врачу, то он за ним и в огонь, и в воду пойдёт. В каждом доме вместо кресла есть лавка или вместо кушетки сундук. Лениться только не нужно, ходить нужно по домам и смотреть.

Медсовет проходил долго. В течение всего времени главврач из Кривозёрок стоял и, видимо, обладая опытом в подобного рода накачках, не возражал. Судя по всему, из того, что здесь происходило, он ничего всерьёз не воспринимал и потому спокойно, по крайней мере внешне, отвечал, в то время как многие члены медсовета — это было видно по их лицам — испытывали удовлетворение от того, что в данный момент сделали козлом отпущения не их, а врача из Кривозёрок.

Когда главный врач зачитывал по принесённой бумажке найденные при проверке погрешности, многие члены медсовета с ехидными улыбочками посматривали на врача из Кривозёрок. А он продолжал стоять перед ними, и было видно, что всё-таки его допекли — на правом глазу у него появился тик.

— За выявленные недостатки объявить главному врачу Кривозёрской участковой больницы Ксенафонтову выговор. Выявленные недостатки в течение двух недель устранить. Кроме того, главному акушер-гинекологу района за слабый контроль за деятельностью акушерско-гинекологической службы в районе поставить «на вид».— А через месяц,— сказал в заключение главврач,— в первый вторник заслушаем отчёт Александра Леонидовича.— Все с нескрываемым любопытством посмотрели на меня.

«Не выйдет, не приеду»,— сразу подумал я.

24

После медсовета, не сговариваясь, мы с главным врачом из Кривозёрок встретились в местном ресторане, где, в отличие от обычной столовой, были

другие цены и шторы на окнах. Увидев меня, он, словно я его закадычный друг, замахал мне рукой и заказал два по сто пятьдесят. От него я узнал, что хозяйство у него — не нам чета. Из четырёх колхозов, расположенных на его участке, в трёх председателями были его братья, которые сложились и построили на городской манер, с сантехникой, двухэтажный стационар, в то время как в центральной больнице разговор о строительстве нового корпуса шёл уже несколько лет, но дело стояло на месте.

На открытие нового стационара в Кривозёрки из области приезжал министр здравоохранения и вручил виновнику торжества почётную грамоту. Всё это наверняка вызвало у Ирек Галимзяновича зависть. Закончив строительство стационара, приступили к строительству поликлиники, и сейчас стройка была в самом разгаре.

— А дезкамера? — спросил я.

— Она мне даром не нужна. Кто везёт, на того и валят. Им не с руки заниматься своей работой, мне передали, если сделаю, придётся во всём районе вшей изводить.

— А через месяц, если приедут с проверкой?

— Всем до фени. Если бы по-хорошему попросили, может, и сделали бы, а так, чтобы не делать, всегда тысячу причин найду.

— А вы и на завод не писали? — спросил я.

Главврач из Кривозёрок, улыбнувшись, с удивлением посмотрел на меня.

— Ты, наверно, уедешь... Место себе уже подыскал? — спросил он, с улыбкой глядя на меня.

— Почему?

— Раз главному врачу моторы не отдал... — Он попросил об этом рассказать подробнее.

Я рассказал.

— Прошлый год из центральной пара уехала. Он хирург, она гинеколог, оба способные, со своим мнением. Как стали выступать, так вначале квартиру не дали, потом совместительство сняли — уехали. Я тоже, был бы помоложе, уехал, но корни пустил. К тому же — квартира, семья, хозяйство...

Мой собеседник был лет на пятнадцать старше меня, но разговаривали мы с ним на равных. Я ему сказал, что, если приедут с проверкой ко мне, то у всех полезут на лоб глаза, как увидят, что я не заполняю на всех больных истории болезни.

— А, хоть пиши, не пиши, всё равно придраться найдут к чему,— спокойно ответил он.

Минут через пятнадцать подошёл официант и, ничего не говоря, поставил на стол графинчик.

— Грамм пятьдесят не долили,— сказал мой собеседник, разливая горькую.

Мы чокнулись за знакомство, выпили и закусили хлебом.

— А ведь в центральной, наверное, тоже недостатки есть,— наивно заметил я.

— Больше, чем у нас. А вообще работать на участке можно, профессия хорошая, главное — чтобы не мешали. А у нас главное — «стой по ветру». Раньше я, когда ругали, переживал, а теперь стараюсь не обращать внимание. Лучше всего — принять транквилизатор,— он показал глазами на стакан,— и позабыть...

Полтора месяца к нам никто не приезжал. Я думал: «Слава Богу, про нас забыли», но потом позвонили: «Едут». Позвонили, очевидно, для того, чтобы приготовили обед, но я специальных распоряжений не давал. Корми их, пои за счёт больных, а они всё равно «накатают».

С утра я быстро сделал обход и укатил на участок за десять километров, где у меня находился нетранспортабельный больной с инсультом.

Приезжаю после обеда, узнаю, что было четыре человека, копались в бумагах, смотрели журнал отзывов, в котором больные в наш адрес вписали только слова благодарности. Разговаривали с больными, выспрашивали: не имеют ли они на медицинское обслуживание каких-либо претензий, однако все: «Слава Богу...».

Настрочили в журнал отзывов четыре листа под копирку. Пообедали. (Для них старшая сестра постаралась, распорядилась, чтобы приготовили специальный обед.) И в хорошем настроении уехали.

Настрочили, не проконсультировав ни одного больного, и про туалетную яму, куда, как им показалось, набросано мало хлорки, и что у нас имеется вероятность заболевания дизентерией, и что нет преемственности между поликлиникой и стационаром, не на всех больных ведутся истории болезни, на участке нет стопроцентного охвата женщин профилактическими осмотрами. Словом, всё по шаблону, как на предшествующем медсовете, и шаблон этот, очевидно, не местный, а спущенный сверху.

Главное — бумажки, и неважно, умер ли у меня больной. Если не будет жалобы, то никто за это с меня не спросит, никто не поинтересуется, хорошо ли я лечу и диагностирую заболевания. Главное, чтобы всё было правильно оформлено.

Через две недели получаю телефонограмму: «В пятницу в четырнадцать часов состоится заседание медсовета центральной районной больницы. Повестка заседания: отчёт главного врача Калинина А. Л. о состоянии лечебно-профилактической работы на врачебном участке и сообщение проверяющей комиссии. Явка членам медсовета и главным врачам участковых больниц строго обязательна. Главврач: Шамсутдинов И. Г.».

«Приеду я или не приеду — выговор мне всё равно обеспечен»,— рассуждаю я и за два часа до заседания медсовета звоню секретарю главного врача, передаю телефонограмму: «Присутствовать на медсовете не имею возможности ввиду приёма тяжёлых больных».

Никто не звонит. Через четыре дня получаю конверт из центральной. На трёх листах машинописного текста перечисляются мои грехи и на отдельном листочке выписка из приказа: «Заслушав информацию проверяющей комиссии о состоянии лечебно-профилактической работы на сельском врачебном участке, считать работу главврача Калинина А. Л. неудовлетворительной. За развал лечебно-профилактической работы на участке главному врачу Калинину А. Л. объявить выговор. Срок исправления выявленных замечаний — один месяц. Главный врач района». Подпись неразборчивая.

А в нашей больнице сотрудники посматривали на меня, как и прежде, доброжелательно, с полуулыбкой. «Ничего, на работе всяко бывает, поработает маленько, оботрётся»,— говорили они.

Полученную депешу я уложил в конверт, туда же заявление с просьбой уволить меня с главных врачей по собственному желанию, поскольку я всю работу пустил на самотёк и развалил, и отправил на имя главного врача района, который ничем не нашёлся ответить. На некоторое время меня оставили в покое.

25

Зима не тётка, холодно. Нужно больничку топить, а топить нечем. Если даже и будет чем топить, то вывезти не на чем. Грузовая машина день работает, три дня на ремонте. Она списанная, проработала много лет в колхозе и, вместо того чтобы отправить на металлолом, подарили её нашей больнице, но и на том спасибо. Уже дважды она побывала в капитальном ремонте и с каждым годом всё больше и больше рассыпалась. Водителей на грузовой никогда путёвых не было. Все были проходимцы и пьяницы, которых выгоняли

с других мест. Путёвый мужик на «развалюху» за восемьдесят рублей не пойдёт.

Ломая голову, как быть с углём, я зашёл в сельсовет. Спрашиваю у председателя:

— Как быть, ведь больные помёрзнут?

— Каждый год так,— беспечно говорит он.— Ездим к главному врачу в центральну. Если ему покланяться, то немного даст. Как кончится, то опять едем кланяться. Он опять отматерит и немного даст. И так всю зиму.

— А деньги откуда же у него?

— Наши, чай... Все себе забирает, потом часть отдаёт, и вроде, получается, благодетель.

«Главный нам и средь зимы снега не даст»,— подумал я и решил ехать в райфинотдел.

Хожу по кабинетам, рассказываю про нашу нужду. Все, видимо от нечего делать, выслушивают меня, смотрят как на чудака, задают даже вопросы и как будто бы даже сочувствуют, а затем спрашивают:

— Кто вас сюда направил?

— Никто не направлял,— отвечаю я, решив в конце концов, что нужно было сразу идти к председателю.

Захожу к председателю. Сидит вразвалочку в кресле, в хорошем настроении, на выступающем животике распустил пиджак. Располагающий к себе дядечка. Он славится в районе как мастер рассказывать анекдоты и непревзойдённый в застолье тамада.

Усадил меня напротив, выслушал меня про то, что я хочу деньги с мягкого инвентаря и фонда заработной платы «пустить на уголь».

— Ишь ты, прыткий,— сказал он и улыбнулся. Поинтересовался, откуда я родом, сколько и как работаю, как живу. Я отвечаю ему, словно студент экзаменатору, и чувствую, что нашёл общий язык.

— Ладно, валяй! — заключил он.— Молодым для дела помогаю. Перегонишь деньги за три дня — будешь с углём, не перегонишь — денежки спишем.— И, упиваясь властью, от удовольствия откинулся на спинку кресла.

Я на седьмом небе. Попятился к выходу, но перед уходом на всякий случай спросил:

— А вы какой-нибудь документ или распоряжение не дадите?

— Я бумажки не пишу. Скажите своим в сельсовете, пусть позвонят.

— Ловко вы, то ни копейки, а тут аршин. Сесколь я работаю, все к главному ездили с протянутой рукой, а тут обошли,— на трезвую голову говорил завхоз, узнав, что ему нужно срочно бежать по базам и брать счета.

— Главное, вы угля, чтоб на всю зиму с избытком хватило. Уголь и через банк быстро проведут,— толковал я ему.— Потом ещё хозяйским глазом по базам приглядите, что нам нужно, если даже нам не нужно, но можно загнать, тоже берите. С кем-нибудь обменяем, а то деньги пропадут.

— Так-то оно да, чтоб не пропали. По хозяйству нам всё ко двору. С другой стороны, возьмёшь на все угля, на свою шею, а возить не на чем — ещё забота,— не разделяя моего оптимизма говорил завхоз, а в конце нашей беседы, хитро сощурив левый глаз, словно примериваясь ко мне, сказал:

— Моё, Александр Леонидович, дело, конечно, маленькое, счета я возьму, только, может, вам, раз уж мы в обход, главному позвонить, чтоб не осерчал.

— Так я к нему в карман, что ли, залез?! Для дела, и деньги свои. Ему позвонить — будем всю зиму лапу сосать.

— Для дела-то, да, но это значения не имеет. А если придётся просить, то он и с четверть этого не даст. Но я к слову, вам видней,— сказал Анатолий Петрович, глядя на меня как на разыгравшегося пацана.

На следующий день он к вечеру вернулся.

— Ну, что?

— Нет на базах ничего. Видать, не только мы одни умны. Семьдесят двадцатилитровых люминиевых кастрюль взял, чтоб деньги, как вы говорили, не пропали. Ну и на остальные угля выписал, сто двадцать тонн. Кое-как кладовщицу в счёт нового года уговорил. Взамен та, за услугу, машинёшку антрациту знакомому сказала подвезти.

— Как машинёшку?

— А счас, Александр Леонидович, все дела так. Да вы не переживайте, не своё же, казённо.

Над кастрюлями в сельсовете смеялись, только главный бухгалтер угрюмо молчал. Как он ни старался, а денежки уплыли. Но смеялись, как потом оказалось, зря. Завхоз приобрёл ходовый товар. Кастрюли мы сменили в общепите на запчасти и покрышки к машинам, а часть отдали за так в центральную на кухню.

А с углём, чтобы его вывезти за тридцать километров,— проблема. Нанимать машину в автороте нам не по карману: за неделю разденут донага. Пришлось выворачиваться за счёт выгребной ямы.

Я завхозу сказал:

— Разберитесь вы, пожалуйста, с Петром, который специализируется на очистке туалетных ям, договоритесь. Мне с ним всё это обсуждать не с руки.

Анатолий Петрович, слушая меня, в знак согласия кивает головой, и по его губам, поскольку он мозгует, что с «этого» и ему кое-что перепадёт, пробегает лукавая улыбка. Через несколько дней мы опять говорим с ним о выгребных ямах.

— Пётр хочет натурой, чтоб запах отбивало, деньги не берёт, хочет нам как бы помощь сделать, больнице, а от спирта не откажется,— говорит Анатолий Петрович.

— Так вы ему объясните, что за деньги он в магазине четверть возьмёт.

— Так-то, да. Я уж и так и сяк, а он говорит, что водка, мол, его от г... не очищает, а спирт дерёт. Хочу, говорит, с самим главным поговорить.

Я вздыхаю и назначаю встречу. В назначенное время, распространяя вокруг себя запах перегара, приходит Пётр, который возникающие мысли выражает только матерными словами, жмёт мне руки, садится напротив, и хотя дело не стоит выеденного яйца, в присутствии Анатолия Петровича мы целый час обговариваем условия договора.

Наконец договариваемся, что Пётр нам, используя нашу лошадь и бочку, вычистит за семьдесят рублей яму, а на остальные деньги, которые мы пропустим по договору, мы наймём «КРАЗ».

— Вы мне — я вам, хорошие люди должны друг другу помогать,— говорит шофёр, согласившись по двадцать пять рублей за рейс привозить нам уголь, поскольку всё равно ездил мимо нас порожняком.

Через две недели всем на удивление около котельной образовалась огромная куча угля.

— Нам бы, дуракам, и раньше так, а то всю зиму маета. Да и то, приедешь на нашей машинёшке, она больше двух с половиной тонн в гору не тянет, а пишут три. Не хочешь, не бери! — глядя на кучу рассуждал Анатолий Петрович.

26

Работать в деревне городские не хотят, не привыкли, тоскливо и ещё масса причин. На работе каждый день одни и те же лица, одни и те же разговоры, чаще всего о том, что кто-то, к примеру, купил кофтёнку, колбасы или сыру, что кто-то запил и разогнал семью или упал с перепоя в лужу и чуть не захлебнулся. Молодёжи в деревне, кроме школьников, практически нет. Медсёстры в нашей больнице годятся мне в матери, и среди них всего только три молоденьких после училища.

Ещё в деревне городские не остаются потому, что, как это ни парадоксально, им здесь нечего кушать. Если я работаю в больнице главным врачом, то могу взять, хоть это и возбраняется, по государственной цене у Гришки мясо, масло и ещё кое-что из продуктов. А как быть другим? Недалеко от меня живёт в казённом, с удобствами многоквартирном доме молодая, приехавшая из города по распределению чета учителей. У них вокруг дома для отходов помойки, для кур хлевушки, по коридору, как в общежитии, хлопая дверьми, бегают ребятишки. У молодожёнов маленькая девочка. Она постоянно простужается в яслях. Два раза в месяц они получают из города от родителей посылки с молочными смесями для малышки, ибо в магазине, кроме стеклянных и железных банок, хлеба, который быстро разбирают сумками, в основном для кур, гусей, уток и свиней, практически ничего нет. Казалось бы, чего проще, купить в деревне молока, но корову по улице держат всего два-три дома, только те, у кого есть транспорт и доступ к кормам. Для остальных — не подъёмно, да и суматошно. У пенсионера, дай Бог, если на дворе несколько курочек, гусыня с гусятами, которых он выпускает на прокорм в реку, и на зиму — поросёнок.

Ещё не хотят жить в деревне потому, что скучно. У нас есть клуб — ещё крепко стоящее деревянное здание. Зимой два, а летом шесть раз в неделю здесь крутят старые, с опозданием по сравнению с городом на полгода, фильмы.

Осенью и зимой, когда нет приезжих, в зале, где около двухсот прибитых к полу стульев, сидят не более пятнадцати, двадцати зрителей, в основном ученики — и лузгают перед сеансом семечки.

Киномехаником в клубе, по совместительству, дядя Петя. С утра он работает в школе, преподаёт тракторное дело, а вечером «крутит кино». Он говорит, что это зависит от аппаратуры, которую нужно давно списать, но кинолента у него, очевидно, также потому, что он почти всегда навеселе, как правило, за сеанс два-три раза рвётся. При этом пацаны и девчонки, которые от заигрывания с ними порой повизгивают, сидят в тёмном зале и свистят.

При клубе, в отдельном пристрое, располагается библиотека, где имеется почти вся классика и много современной, в том числе и для детей, литературы, причём некоторые издания очень хороши.

Как-то я принёс домой роман Л. Толстого «Воскресенье» — в добротном переплёте, изданный двенадцать лет назад подарочный экземпляр. Страницы от длительного хранения слиплись, и мне порой приходилось пользоваться ножичком. Без сомнения, я был первым читателем этой книги. То же самое и с некоторыми другими изданиями, и не только классиков.

Тоскливо в деревне да и в райцентре тем, кто не может себя в свободное время занять ни умственно, ни физически, отчасти поэтому некоторые участковые врачи не только выпивают, но и спиваются. Для этого в районе все условия, особенно для главных врачей. Приезжаю я, к примеру, в леспромхоз выписать для больницы дрова. Человек я для директора леспромхоза нужный, просто так он меня не отпускает. За разговором на столе появляется бутылка, кое-какая закуска и, несмотря на то, что я настойчиво отказываюсь, меня уговаривают (иначе, мол, не будут гореть дрова) выпить хотя бы стопку, ну для начала полстопки — так уж везде принято.

Кроме того, местное начальство зазывает в гости. Первым меня позвал директор дорожного участка.

— Приходите, с района будет директор мясокомбината, инструктор райкома и местные — всё нужный народ, друзья: директор кирпичного завода, председатель сельпо, директор леспромхоза, может, ещё кое-кто и моя Ленка,— имея в виду свою дочь, многозначительно подмигнув мне, говорит он и, видя мою нерешительность, похлопав по плечу, добавляет: — Не теряйся, бери её в жёны, в придачу почти новые «Жигули» дам.

Из любопытства соглашаюсь. Это своего рода для меня экзотика. Прихожу прямо к столу. Невысокого роста добродушный хозяин, лет пятидесяти пяти, крепкий дядька с загорелой короткой шеей и обветренным лицом, про которого на работе говорят, что очень крут нравом, но со мной он предупредительно вежлив. Словно я здесь главная фигура, он подводит меня к каждому из гостей и представляет. Со всеми, в том числе и с женщинами, я здороваюсь за руку. Все с пробегающей по губам лёгкой, иронично-добродушной улыбкой, с любопытством меня разглядывают, а я, очевидно, глупо улыбаюсь.

Расселись за двумя большими сдвоенными, покрытыми цветастой клеёнкой столами. Перед каждым на столе — тарелка и стопка. Из всей компании я здесь самый молодой, некоторым гожусь в сыновья. Чувствуя себя неловко, ко всему приглядываюсь. Все сидят парами, один я холостой. Хозяйкина дочка хлопочет на кухне, а около меня свободный стул. Все гости важные, и в каждом из них лишнего веса килограммов пятнадцать и более, и даже при отсутствии жалоб я, для профилактики стенокардии и гипертонии, всем без исключения приписал бы для первого раза голод и посадил их недели на две на воду.

На столе из закуски: грибочки, салат, копчёная колбаска, в одной длинной тарелке разложены огуречки свежие, малосольные и помидорчики, отдельно язык и солёная рыба, обложенная яйцами, нарезанными розочкой, и кое-что другое. Всё это каждый сам кладёт себе на тарелку. Из спиртного — только столичная. Это, по здешним меркам, очевидно — высший класс.

Вот откупорили бутылки, разлили по стопкам. Как принято, первым встаёт хозяин и, не блеща красноречием, корявым языком, но от чистого сердца предлагает выпить за встречу. Как и принято, первую пьют до дна, в том числе и женщины. Закусывая, чтобы не опьянеть, я от остальных не отстаю и, замечая, что почти все нажимают на колбасу, а в деревне к ней относятся с уважением, пробую всего помаленьку. А тут уже, без передыху, налили по второй.

— За доктора, за молодёжь! — предлагает гостеприимный хозяин, а из молодёжи — я да его дочь, которую кликнули из кухни.

Она девка грудастая, широкая что в плечах, что в бёдрах, видимо, дюжая до работы на воздухе, раскраснелась у плиты. Ей тоже — стопку. «Миловидности, однако ж, никакой. Тебе бы только председателем колхоза»,— глядя на неё, подумал я. Она тоже смерила меня взглядом и наверняка подумала: «Жидковатый интеллигентишко, не хватает только очков». Но девушка она стеснительная,— ссылаясь на то, что на плите подгорает второе, рядом со мной не села.

Я сижу, продолжаю не к месту глупо улыбаться и чувствую, что после третьей рюмки у меня стало возникать ощущение невесомости, между тем как остальные, в том числе и бабы, которые от мужиков только после второй рюмки стали отставать, лишь покраснели и стали больше и громче говорить.

Четвёртую стопку я только пригубил, но это заметили. Стали говорить, что я ни себя, ни их не уважаю. Заставили выпить. Я сижу и ещё соображающей головой думаю: «Пока не поздно, нужно ноги уносить, а не то вызовут санитарок, чтоб меня на носилках домой унесли. Для них это развлечение». Встаю и говорю:

— Нужно выйти.

Хозяин вышел со мной на крыльцо, объяснил куда пройти, закурил и ждёт. Пройдя тропинкой вдоль высокого кустарника, я сориентировался: убрал из-под яблони подпорку, прислонил к забору и был таков.

На другой день звонок от директора дорожного участка. Интересуется: живой ли я. Шутит, что вчера не могли понять, куда же я делся: вышел в определённое место и исчез. Я отшучиваюсь, а он в конце беседы говорит:

— Хорошему человеку нужно сделать больничный!

— Как — сделать?

— Да он и на самом деле как будто бы больной,— поясняет директор.

«Нет,— думаю,— по гостям я не ходок». И скучно мне в гостях. Скучно в чужой компании пить и глупо улыбаться, скучно! Лучше без клёва просто посидеть с удочкой на берегу реки. Какое-то время меня ещё звали по гостям, но потом махнули рукой и стали говорить про меня с улыбкой:

— Чего с него взять! Он уж такой!

27

На деревне я первый парень — не женатый, долговязый, собой как будто бы ничего, по здешним меркам не пьющий, с высшим образованием да к тому же ещё главврач. Как-то приезжаю к директору совхоза и прошу у него с совхозной делянки нарубить машину жердей, а то у нас у больничного забора прожилины прогнили — нечем подменить. Он внимательно смотрит на меня и, как и директор дорожного участка, без обиняков заявляет:

— Бери мою Люську в жёны. Она бухгалтером у нас. За счёт совхоза дом построим у реки, земли дам.

В ответ я только улыбаюсь. Он с удивлением смотрит на меня, не понимает и обижается. А я без лирики не могу, но мне пока не до неё. У меня от хозяйства, которое висит на шее, голова кругом идёт.

Впрочем, месяца через три, как приступил к должности, стал приглядываться.

Недавно к нам на работу поступила новая, после училища сестричка, из местных. Родительский дом у неё верстах в шести. Живёт она в общежитии для медсестёр. Это через две улицы от больницы. По вечерам к общежитию часто подъезжают на мотоциклах ребята — старшеклассники, и из открытых окон на всю улицу разносится музыка. Новенькая не красавица, но миловидная и смотрится, а с больными очень внимательна и добра. Одевается просто, но всё опрятно и выглажено. Подхожу как-то к сестринскому посту. Она сидит, перед ней лист назначений, склонилась над ним, по всему видно — ждёт, что я с ней заговорю, а я молчу. Молчание затянулось. Она встала, начала протирать чистый стерилизатор. Ничего я ей не сказал, а дома навалилась вдруг на душу тоска. «Ясно,— думаю я,— что нравлюсь ей, а если нравлюсь, то почему бы не оказать внимание!».

Случай вскоре, впрочем, представился. Старшая медсестра перевела её временно в тубдиспансер. Заболела одна из сестёр. Все сёстры идти к «тубикам» на крик отказываются, а она пошла. Прихожу на обход. Сидит в сестринской. Раздала с утра таблетки, сделала с дюжину уколов, раздала с санитаркой по палатам обед, и вся работа. Книгу читает. Я сажусь рядом на кушетку.

— Что читаете? — спрашиваю.

Она показывает мне обложку книги: «Сержант милиции».

— Интересно?

— Делать-то нечего.

— А живёте вы здесь?

— Когда здесь, с девчонками, а когда домой хожу, после ночной.

— А где дом?

— В соседней деревне,— отвечает она, а в глазах, полуулыбке — во всём чувствуется ко мне интерес, и мне легко вести с ней разговор. И, что примечательно, не говорю я о высших материях: об искусстве, или литературе, или ещё о чём-то в этом роде. Мы говорим о простых вещах, но в простых словах большой смысл.

— Вчера я шла по дороге,— говорит она,— дядечка хороший попался, затормозил. Я раньше на час на работу пришла.

— А вдоль леса идти, наверно, страшно? — спрашиваю я.

Поговорили так с полчаса, я сделал обход, внёс в листы назначений изменения и ушёл.

Иду в стационар и думаю про себя: дурак, надо было назначить свидание. Нельзя же так: всё работа и работа.

Еду на другой день от больницы на машине, а она выходит из общежития на дорогу. Увидела, остановилась и так взглянула, что, думаю, при случае не назначить свидание — всё равно что грех на душу взять.

Через день, перед обходом, я опять сижу на кушетке, а перед ней лежит та же книга. Глаза, движения, голос говорят: «Да».

После того как мы поговорили, какие в пруду за её деревней водятся рыбки и что в этом году будет много желудей, наступила пауза.

— Вы сегодня пойдёте домой? — спрашиваю я.

— Нет, буду с девочками в общежитии,— отвечает она, что также для меня означает «да».

Наступила пауза. Она опустила глаза.

— Давайте сегодня встретимся!

— Во сколько?

— Часов в семь.

— Лучше позднее, когда девчонки уйдут в кино.

— Тогда в восемь, около конюшни у речки.

— Я подойду,— говорит она без кокетства.

В этот момент в сестринскую входит санитарка.

— Я только за вёдрами, к колодцу,— видимо, догадываясь, что помешала, говорит она и, взяв вёдра, уходит.

Вечером она пришла минута в минуту, не как другие девчонки, специально опаздывая и этим внося в отношения небольшую интрижку. «Хорошо, что она так же, как и я, не хочет, чтобы про нас знали»,— думаю я. Погуляли мы часа два, а перед тем, как должны были прийти из клуба девчонки, она ушла.

Впервые за много дней, зная, что мы ещё встретимся, я заснул в тот вечер с лёгким сердцем.

А через несколько дней, после очередного свидания, наутро я проснулся с ясной головой и долго лежал с открытыми глазами.

«Как-нибудь я познакомлю вас с моими родителями»,— наивно сказала она и, не желая того, всё испортила.

«Это уж не любовь, тем более свободная, а какая-то повинность»,— думал я, вспоминая меж тем с удовольствием нашу милую болтовню. «Женишься, обзаведёшься хозяйством, пойдут гуськом детишки, а в город без квартиры не выберешься и будешь, как в изгнании, работая бок о бок с Фёклой Алексеевной в захудалой больничке, под главным врачом района, смотреть на один и тот же клочок неба. Нет, я ещё не устоялся, не перебродил и душа моя хочет свободы»,— думал я.

Впоследствии я часто ловил на себе её милый, открытый, вопросительный взгляд и, чувствуя перед ней свою вину, отводил глаза.

28

Как-то поступает к нам на стационарное лечение лет пятидесяти пяти женщина. Она не с нашего участка. Проездом мимо нас, в автобусе она кратковременно потеряла сознание, и шофёр, благо до нас от дороги недалеко, подрулил к крыльцу.

Бледная, с запавшими глазами, температурит. С собой у неё выписка о том, что находилась на лечении в центральной больнице. Куцый листочек с печатью. Диагноз, судя по выписке: «Анемия». Впрочем, это не диагноз,

а следствие какого-то заболевания. И ещё несколько строк о том, что принимала она препараты железа и аспирин.

Спрашиваю больную, на что жалуется, о том, как она заболела и чем лечилась. Отвечает мне вяло, возможно из-за слабости, без желания или, вернее всего, уже никому из докторов не верит и говорит:

— Прокапайте мне глюкозу, после неё мне лучше, я отлежусь и уеду.

Прослушиваю сердце. Прикладываю к области верхушки сердца на грудной клетке фонендоскоп, слышу шум, но не могу его интерпретировать, что вполне логично, если вспомнить, сколько раз я на третьем, четвёртом, пятом и шестом курсах в институте прослушивал больных с шумами — не самостоятельно, а когда нас преподаватель, отрабатывая часы, подводил к кровати. Более того, скажу: на таком же уровне работают многие участковые врачи со стажем.

И теперь, с умной физиономией, я тычу трубкой под высохшую грудь, прошу больную задержать дыхание, что она делает не без труда, слышу, как очень часто колотится сердце, и шум по левому краю грудины и на аорте. Но ответить на вопрос, каков механизм возникновения этого шума и какой именно у больной имеется порок сердца, я не могу. Больная даже не спрашивает меня, накидывая на высохшее тело халат, что я у неё выслушал. И я, ничего не сказав, ухожу в кабинет, где меня дожидаются завхоз и конюх, чтобы решить вопрос с заготовкой сена.

— Погода, слава Богу, стоит два дни,— говорит Анатолий Петрович,— и ещё неделю, Бог даст, не испортится. Если сейчас не свалим траву, не подсушим, останемся без сена. Пойдут дожди, всё погниёт иль подпортится.

— Ну так косите,— говорю я.

— Так то оно, да. Ну я возьму косу, Иван Иванович, а остальных не затащишь, а ежли, почему мы к вам-то, взять канистру пива, мы б мигом и шофёра, и Гришку, и ещё б люди подошли — за день свалим.

— Главное, чтоб дело было,— говорю я им, а у самого в голове: какой же у больной порок?

— Вот и мы так понимаем, день — год кормит. Главное — скосить зараз, не сгноить, а как подсохнет, мы его сами вдвоём под крышу сарая свезём,— говорит конюх, но по их лицам я вижу, что они ещё чего-то не договаривают. Я вопросительно смотрю на Анатолия Петровича.

— Чего ещё?

— Тут, Александр Леонидович, мы что думаем,— хитро посматривая на меня и пряча плутоватые глаза, говорит Анатолий Петрович,— чтоб лучше работалось, может, ещё литр взять и помешать с пивом. Кто будет спрашивать, скажем: квас пьём, а то пиво разбавлено — вода одна. Чай, больница не обедняет. Тогда все пенсионеры с улицы придут.

Я даю согласие и наказываю, чтобы за сегодняшний день с покосом обязательно управились. Мужики меня заверяют, что всё будет сделано, и уходят.

— Вроде наш главный и молодой, а жизнь правильно понимат,— слышу я через дверь, как в коридоре говорит про меня завхоз.

Опять иду к больной, слушаю её на левом боку, определяю давление на обеих руках; сто тридцать на сорок, обращаю внимание на пульсацию шейных сосудов и думаю, что, конечно же, у больной на аорте выслушивается систоло-диастолический шум и имеется аортальный порок. Но раз имеется порок, то естественно возникает вопрос: вследствие чего он развился?

— Александр Леонидович, больной чего-нибудь назначать будем? — спрашивает медсестра.

— Да. Поставьте пока флакон с глюкозой и аскорбинки добавьте. Посмотрите только, чтобы свежая была,— говорю я.

Вечером я перечитываю главы учебников, где написано про аортальный порок и какими заболеваниями он вызывается. По сути получается, что

у больной или ревматизм, или бактериальный эндокардит, по-деревенски сказать: заражение крови, и я склоняюсь к последнему, а наутро опять слушаю больную и, хоть и неуверенно, уговариваю её полечиться. Она соглашается. Соглашается не потому, что я заумно бормотал ей о том, что такое бактериальный эндокардит и вследствие чего у неё развился порок, а просто, сидя у кровати, я держал её руку и смотрел ей в глаза, и она поверила, что я действительно хочу ей помочь.

У неё на лице — ни кровинки, анемия. Переливаем кровь. Благо у нас с кровью нет проблем. Вызываем с нужной группой крови донора, чаще всего мужика, они у нас все переписаны; берём четыреста миллилитров, даём взамен двести граммов спирта и справку — освобождение от работы на два дня. Это не мои порядки, так уж давно повелось неофициально и срабатывает безотказно.

Кроме того, назначаю ей по миллиону, шесть раз в сутки, пенициллин. Переливаем кровь через два дня на третий, переносимость хорошая, как влили литр четыреста крови, изменился цвет лица, температура почти нормализовалась, появился аппетит и интерес к жизни. Через месяц стала другим человеком. Персонал в больнице про меня говорит: «Разбирается! Как поступила, кака синюшна была — сейчас не узнать. Не будь его, давно бы, прости Господи, все там будем, преставилась». Даже Фёкла Алексеевна, которая наверняка ни разу в жизни не переливала кровь больному, стала по-особому посматривать на меня. И мне бы успех развить, во много раз увеличить дозу пенициллина или вообще заменить его на антибиотики резерва, но беда в том, что глубоких знаний и опыта у меня нет, да и современные учебники, в большинстве своём переписанные один с другого, изложены не практиками, а титулованными мужами, которым уже давно сподручней сидеть не у постели больного, а за письменным столом в кабинете и поучать. Поэтому я, вместо того чтобы окончательно переломить течение заболевания, уменьшаю дозу и кратность введения пенициллина. Через несколько дней опять поднимается температура до тридцати девяти, очень быстро нарастает анемия. Опять переливаем кровь, опять пенициллин, уже двенадцать миллионов в сутки.

Тогда мне казалось, что дозы эти очень высоки, а нужно было вводить во много крат больше.

На этот раз улучшение в состоянии больной происходит очень медленно. И только ещё через месяц удаётся стабилизировать состояние пациентки и поднять гемоглобин, но я уже критически оцениваю ситуацию и говорю больной:

— Я вам напишу направление в республиканскую больницу, где вам необходимо провести дообследование, выделить из крови возбудителя, определить его чувствительность к антибиотикам и провести, чтобы окончательно выздороветь, целенаправленное лечение.

Но больная говорит, что чувствует себя уже вполне прилично, и только после долгих бесед как будто бы соглашается.

— Я прожила тяжёлую жизнь, ничего от неё не жду и смерти не боюсь,— говорит на прощание она мне и по-матерински, пустив слезу, целует.

Отпускаю её с лёгким сердцем, а через некоторое время узнаю, что, к сожалению, она по моему направлению никуда не поехала. Когда у неё возникло обострение, она была госпитализирована в центральную районную больницу, где и скончалась.

29

Я не акушер-гинеколог, но вызывают меня, поскольку я главный, и в «родилку». Если заглянуть в мой диплом, то я сдал государственный экзамен по акушерству и гинекологии на «отлично», но с практическими знаниями у меня

в этой области проблемы. Помню, на практике ребята-сокурсники после пятого курса соревновались, словно в этом вся и наука, кто больше всех сделает абортов, а один парень, перестаравшись, умудрился, выполняя процедуру, вывихнуть палец.

Хоть я в акушерстве и гинекологии не разбираюсь, но об этой науке имею своё, если можно так выразиться, философское понятие. Заключается оно в том, что по возможности не следует вмешиваться в естественный процесс.

Обычно из родильного отделения мне звонят и приглашают, когда роженица не может разродиться или когда в родах появляются какие-либо непредвиденные осложнения.

— В чём дело? — прежде чем идти, спрашиваю я.

— Не может разродиться,— говорит, к примеру, мне акушерка.

— Что-нибудь серьёзное?

— Да вроде нет, но с утра уж схватки начались, а всё ещё около неё стоим.

— А положение, таз какой?

— Первородка, и плод не крупный, и положение правильное, таз, как сани, а разродиться не может.

— Сейчас приду,— говорю я, но прихожу специально не сразу, а минут через пятнадцать-двадцать.

Захожу в отделение и сразу слышу, как появившийся на свет мальчуган или девка уже кричит. Если роженица не разродилась, то, увидев меня, с большим опытом акушерка и санитарка начинают демонстрировать свою квалификацию.

— Давай, давай, давай, давай, тужься, давай, тужься, тужься! — кричат они в один голос, перехватив бедную роженицу поперёк возвышающегося живота простынёй и выдавливая из него младенца. Но эффекта нет.

— Всё, силов нет, умираю! — глядя в потолок выпученными глазами, словно Господу Богу, говорит роженица, уцепившись над головою руками в спинку старой железной кровати.

Лицо у неё искажено болью, красно-сине-багровое, вены на шее вздулись, на лбу крупные капли пота.

— Давай, давай, давай, давай, не разродишься — помрёшь, тужься, тужься! — продолжают в один голос кричать роженице акушерка с санитаркой, словно не замечая меня. Но всё без толку.

— Что делать? — наконец, переводя дыхание, обращаются они ко мне.

— Ничего не делать, отдохнёт, сама родит,— спокойно говорю я, словно речь идёт о том, сколько нужно доложить в квашню дрожжей.

— А вдруг не разродится, отвечать будем! — недоумевает акушерка.

Я ничего не говорю, вытаскиваю из грудного кармана пиджака маленький томик стихов и читаю.

— Доктор, дайте, ради Бога, отдохнуть, я сама...— замечая меня, говорит роженица.

— Пусть отдохнёт, потуги будут сильнее, не нужно её погонять,— говорю я — и в этом всё моё лечение.

— Да она и не тужилась, а уже отдыхать! — замечает акушерка.

Я, ничего не говоря, продолжаю читать Лермонтова. Это у меня вместо транквилизатора.

Акушерка с санитаркой смотрят на меня как на чудака и, не зная, что делать, продолжают стоять, держа каждая свой конец простыни.

— А нам что делать? — спрашивает санитарка.

— Роженица отдохнёт и разродится минут через двадцать,— словно действительно точно зная, отвечаю я и прошу санитарку, чтобы она не стояла без дела, поставить самовар.

— Не знай только за что нам всем деньги платят,— недовольно бормочет санитарка и уходит.

Она у нас, так же, как и акушерка, большой специалист.

Однажды сижу в кабинете, дверь приоткрыта. В коридоре Гришка с санитаркой.

— Насть, а ты ведь в своём деле, наверно, больше врачей знаешь? — в шутку говорит ей Гришка.

— А как же,— серьёзно отвечает Настя,— сестоль, сколько я на одном месте проработаешь, небось будешь и больше профессора знать. Чё вон этот к нам ходит (она имеет в виду меня), ничего ещё не видел и не понимает. Сам небось и пуповину-то не перевязал ни разу (и в этом она права). Прошлый раз зашёл к нам, сел поодаль от роженицы. Она не может разродиться, а он достал из кармана маленькую книжонку и читает. Я думала евангелью за роженицу читает, а прошлый раз гляжу: ба — стихи!!

Как только санитарка уходит ставить самовар, в родильной становится тихо.

— Лишь бы не помереть! — облизывая запекшиеся губы, скосив на меня глаза, говорит роженица.

— Кого хочется-то, мальчишку или девчонку? — спрашиваю я её.

— Мне всё равно, а моему — девку давай.

— Правильно, потом ещё одного,— говорю я.

— Можно и ещё, один ребёнок — не ребёнок,— замечает серьёзно роженица, но по лицу её видно, что начинаются схватки.

— Упрись, упрись в спинку кровати, сподручней,— советую я.

На этот раз схватки сильнее. Вены на шее роженицы опять вздулись, лицо побагровело. Акушерка, сидевшая до того недалеко от кровати на стуле и нервничавшая, подбегает к роженице и по привычке опять тараторит:

— Давай, давай, давай, Маруся, головка появляется! Тужься, Маруся, тужься!

Маруся напряглась, и на удивление быстро в руках у акушерки оказывается маленький мальчик. Некоторое время он не кричит, но акушерка хлопает его по жопке, отсасывает изо рта грушей слизь, и он в напряжённой тишине звонко голосит.

— Воды! Настя, ещё таз воды! — перевязав пуповину, кричит она санитарке.

Я наблюдаю, как акушерка с санитаркой ловко хлопочут около малыша и, взглянув на роженицу, которая ещё не в полной мере осознала, что же произошло, и не пришла в себя, незаметно ухожу: слава Богу, всё обошлось!

Как-то, когда я ещё не проработал в больнице и трёх месяцев, меня вызвали в родильное отделение к роженице. Это была здоровая, физически сильная, с широким тазом женщина. Положение плода было правильное, плод был не крупный, и вызывали меня, очевидно, из любопытства, чтобы ко мне приглядеться.

Казалось, ничего не предвещало непредвиденных неожиданностей. Когда новорождённый появился на свет, акушерка, как обычно, около него захлопотала, но малютка не заголосил. Его личико скорчилось в гримаске, словно он хотел, но не мог чихнуть, а его кожные покровы на глазах стали всё больше и больше синеть. Акушерка, засуетившись, стала брызгать на малыша водой, взяв ручонки, стала неуклюже делать нечто подобное искусственному дыханию: разводить их в стороны и прижимать к грудной клетке, но тщетно, и они с санитаркой в испуге, не зная, что делать, вопросительно смотрят на меня. Вот он миг, когда должна сработать подкорка! Я наклоняюсь над новорождённым, осторожно запрокидываю, чтоб надгортанник не мешал прохождению воздуха в дыхательные пути, назад головку и, наклонившись, обхватив своими губами его ротик и нос, осторожно вдыхаю воздух в его лёгкие. На

глаз видно, как грудная клетка, увеличиваясь в объёме, «вдохнула». Я отстраняюсь от малыша и — о чудо: он сам выдохнул, а затем, самостоятельно вобрав в себя живительный воздух, еле пикнул, несколько раз прерывисто вздохнул, судорожно засучил ножками, тихо, а затем всё громче и громче заголосил.

Слава Богу! Всё обошлось. Но если бы ребёнок не задышал, то все бы наверняка в один голос меня осудили. Ведь я с научной точки зрения в данной ситуации действовал не вполне благоразумно. Но победителей не судят. Не оценили моего поступка и акушерка с санитаркой. В больнице никто о нём не говорил.

30

В. Вересаев в «Записках врача» пишет, что у докторов, даже с тонкой натурой, в конце концов с годами вырабатывается «иммунитет» к страданиям больных. «С глаз долой — из сердца вон». За всех не настрадаешься, и это вполне естественное свойство человеческой души. Но я первогодок, и каждый тяжёлый случай, ложась мне на сердце, постоянно держит мою душу в состоянии неуспокаивающейся тревоги.

Я уже знаю, что, если к непонятному больному не вызову консультанта, то мне не будет покоя, и потому, не теряя времени, сразу звоню в центральную. В тех же случаях, когда излишне самонадеян, делаю ошибки.

Звонит из родильного акушерка. Роженица разродилась крупным плодом. Роды осложнились разрывом промежности и сильным кровотечением. Голос у акушерки дрожит, просит быстро прийти. Бросив все дела, прибегаю.

— Кровотечение, если не зашивать,— не остановим. Вы шейте, я буду зеркала держать,— говорит акушерка с тридцатилетним стажем.

Я, соглашаюсь с ней, смотрю, как струйками кровь быстро стекает по клеёнке, подложенной под роженицу, в стоящий на полу таз. Набежало уже, на глаз, около литра.

— Срочно бегите в стационар, зовите всех сестёр! Нужны доноры, нужно в вену войти, кровь переливать! — взволнованно говорю я санитарке, которая взялась было подтирать тряпкой пол.

Иглу с кетгутом уже подготовили, но я никогда ничего подобного в этой области не только не делал, но и разрыва-то промежности не видел. Помню: в институте как будто что-то показывали, но что к чему — разве там с одного раза разглядишь.

— Шейте, Александр Леонидович, шейте! Уже, наверно, полтора литра набежало, давление падает,— говорит мне, под руку, с испугом, акушерка.

«Глаза боятся, руки делают». Акушерка держит зеркала, но всё залито кровью. Марлевый тампон тут же намокает, и ничего не видно. В нерешительности, думая, что, может быть, акушерка наложит швы на рану лучше меня, я поднимаю на неё глаза, но шить рану — врачебное дело. По её глазам я вижу, что она этого делать не будет. В тревоге перевожу взгляд на роженицу. Она безучастна, на бледном, как бумага, лице крупные капли пота, губы синюшны.

Чтоб сориентироваться, я в очередной раз накладываю на рану сразу несколько тампончиков, потом их быстро убираю и стараюсь определить, откуда же кровит. Но кровит не из одного сосуда, который можно было бы перехватить зажимом, и не из нескольких, а отовсюду. Чтобы перехватить все, я поглубже втыкаю иглу и начинаю штопать. После нескольких стежков кровотечение уменьшается, но я ещё накладываю, последовательно друг за другом, несколько швов, и уже кровь из раны бежит только слабой струйкой. Осушаю рану тампоном. Остальное остановится само собой.

Давление у больной низкое. Уже перепроверили группу крови и позвонили

на кирпичный завод. Оттуда обещали срочно выслать машину с тремя донорами. Чтобы не было задержки с транспортом, мы выслали, на всякий случай, туда санитарную. Но всё равно в лучшем случае, пока они приедут, пока у них мы перепроверим и возьмём кровь, пройдёт часа полтора. Поэтому, не теряя времени, мы берём четыреста миллилитров у Фокеевой Али — это та санитарка, которую я не мог уговорить пойти работать на кухню,— и переливаем.

Наконец, кровотечение полностью остановилось. Перелив полтора литра крови, мы как будто бы полностью восстановили кровопотерю. Все довольны, и это чувство удовлетворения, когда спасаешь тяжёлого больного, я думаю, знакомо только медикам. Рабочий день давно кончился, и за окнами темно. Я, старшая сестра, акушерка, две медсестры, Фокеева Аля и санитарка сидим, пьём с душицей чай, но я критически не оцениваю, под впечатлением первого успеха, ситуацию, не оцениваю степени разрыва и возможных при этом осложнений. Да и заштопал-то рану я наверняка не лучшим образом. И мне бы на следующий день отправить больную к акушер-гинекологам, или же вызвать их к нам, но я полагаюсь на акушерку, которая не заинтересована, чтобы в районе знали, что она неумело приняла роды. И, убедившись на следующий день, что больная себя чувствует удовлетворительно, успокаиваюсь, а через несколько дней у больной частично расходятся наложенные мною швы и в прямую кишку открывается свищ. Возможно, когда я накладывал швы, то «прихватил» и прямую кишку.

Звоню в центральную главному, прошу прислать акушер-гинеколога. Он расспрашивает, в чём дело. По его вопросам понятно, что он в этой области ориентируется не лучше меня, но специалиста присылает.

Валентина Андреевна, добрая, с лучиками у глаз, покачивая головой, долго обследует больную.

— И как вы только решились на это? Как могли? Я работаю восемнадцать лет и в первый раз вижу такие большие разрывы. Будь у меня такой случай, я бы ни за что не решилась, отправила бы в центр.

Я смотрю на неё и думаю: «А что мне оставалось делать? У меня не было выбора! Если бы я не взял иглу, то больная погибла бы от кровопотери!». Но слова оправдания не идут мне на язык, к тому же я знаю, что в любом случае я «крайний». И, не опуская глаз, продолжаю смотреть на Валентину Андреевну. Тут она осеклась, видимо, поняла, что творится у меня на душе, и больше не сказала ни слова. Не стала она докладывать, очевидно, об этом случае и главному врачу, ибо он, воспользовались этим случаем, обыграл бы его на медсовете.

В этот же день больную отправили в специализированное республиканское учреждение.

31

Через год пребывания в «кресле» от моей робости не осталось и следа. Выгляжу я сейчас старше своих лет, в голосе появились повелительные нотки и заправляю хозяйством своеобразно: за год сменил двух слесарей-сантехников за то, что приворовывали, сестру-хозяйку, выгнал Анатолия Петровича за запой в майские праздники и ещё на неделю. Но он, протрезвев, покаялся, что пить не будет, и я его опять принял. Выгнал двух медсестёр за то, что систематически «ставили» больным постинъекционные абсцессы.

Формальностей при этом я не соблюдаю, «на вид» никому не ставлю и выговоров не «шью». Ещё у нас за год не было ни одного производственного собрания, а о том, что у нас в больнице есть профком, вспомнили только под Новый год, когда нужно было распределять детишкам подарки.

Но никто на меня, как мне кажется, не в обиде, по крайней мере, никто никому не жалуется. Перед тем, как кого-то уволить или перевести на другое

место, я приглашаю провинившегося в кабинет и, глядя ему в глаза, спокойно говорю, что за то-то и то-то я его, к сожалению, увольняю или перевожу на другое место работы.

— А можно по собственному желанию? — как правило, бывает встречный вопрос.

— Я на вас зла не держу,— отвечаю я и протягиваю лист бумаги.

— А можно не с сегодняшнего дня, а через месяц?

— Нет,— отвечаю я,— своих решений я не меняю,— ибо знаю, что может исправить «горбатого».

К лету в коллективе, не от меня; а как-то само собой, зародилась идея своими силами отремонтировать стационар.

Благодаря тому, что в конце прошедшего года нам удалось перевести с других статей на хозяйственные нужды по нашим меркам немалую часть средств и с лихвой запастись на текущий год углём, мы имели возможность прикупить и мела, и шпаклёвки, и краски, и линолеум, кроме того, обменяли партию больших алюминиевых кастрюль на два бочонка дефицитнейших белил.

Всё это добро лежало в бревенчатом пристрое к конюшне. Пристрой имел массивную, обитую железом дверь, которая запиралась на два запора. Ключи от запоров были у меня.

Впрочем, Анатолий Петрович мне сам их отдал.

— Вот, Александр Леонидович,— обратился он ко мне и положил на стол связку ключей.

— В чём дело?

— Подальше от греха. Сами знаете, в деревне так. То один подходит с бутылкой, просит белил отлить, то другой. Все вроде как друзья, не откажешь. А так, я скажу — ключей нет, главврач отобрал. К вам же они не пойдут.

— Так что, я как Плюшкин буду?

— Ну хотя бы до ремонта.

И я смахнул связку ключей себе в запирающийся стол. А ремонта в больнице не было очень давно. Если мы, каждый день толкаясь в больничке, ко всему отчасти привыкли, то человеку, вошедшему к нам впервые, сразу бросалось в глаза, что краска совсем облупилась, когда-то жёлтый, а теперь изъеденный хлоркой линолеум на самых видных местах совсем протёрся.

Решили, что, не закрывая больницы, лучше всего сделать ремонт в июле, когда мало больных.

— Переведём из одной-двух палат больных в другие, вынесем в коридор койки,— говорила старшая сестра.— Вначале Гришка с Николаем (он у нас сантехником) затрут стены, следом пойдут санитарки с сёстрами, побелят, вымоют полы, потом покраской займутся.

— Вы давно работаете, вам видней,— подбадривая её, говорил я, заранее обсудив с завхозами, что ещё нужно для ремонта.

С утра, до пятиминутки, я обзваниваю, пока ещё все на местах, руководителей предприятий и организаций, расположенных на нашем участке. Говорю, что больничка наша убогая и нужно привести её общими силами в божий вид. Со мною все соглашаются, и поскольку со всеми я в хороших отношениях, а главное, нужный для них человек, по возможности помогают.

За ремонт взялись дружно. Медсёстры и санитарки приступили к скоблёшке и мытью от старой побелки потолков и стен. Следом Гришка с Николаем затирают трещины и выбоины, потом идёт побелка, местами двойная. Заканчивается рабочий день мытьём полов. После чего, на следующий день, Гришка проводит по стене черту толщиною в полсантиметра и, хвастаясь, говорит, что так ровно, как он, без линейки провести черту, по крайней мере, у нас в районе, не сможет никто.

«Значит, мало пьющий,— смеются санитарки,— если бы пил, то руки бы тряслись».

— И не ворую,— не моргнув бровью, говорит Гришка, наливая в большую кастрюлю сначала белил, затем добавляет голубой и светло-зелёной краски.

Получается приятный салатный цвет. Всем нравится. Приглашают меня и с улыбками на губах спрашивают:

— Подойдёт али не подойдёт?

— Очень хорошо! — конечно же, говорю я.

— Вы хоть, Александр Леонидович, один раз нас отругайте, а мы одним глазком посмотрим, как вы ругаетесь,— говорит мне Настя Фомина, самая зевластая из санитарок.

Главное, что на этот раз никто никого работать не заставляет, все словно по мановению волшебной палочки работают как для себя, с шуточками, в день — по палате. На пятиминутках я даже не поднимаю вопроса о ремонте. И та же Настя Фомина говорит:

— Что-то невдомёк: бывало, девки, помню, Ирек Галимзянович главным был, когда делали ремонт, с утра всем накачки давал, без него чтобы тряпкой мазнуть — ни-ни, во все дыры нос совал. А этот ходит, улыбается, ему всё хорошо, а мы, как черти, перемазались и вкалываем, как дуры, хоть и не платит никто.

— Сегодня мы переходим в другую палату,— говорит мне после пятиминутки старшая сестра.

— Очень хорошо,— отвечаю я, утверждаю акты на списание мела, краски, белил и других ушедших на ремонт материалов. Это я делаю ежедневно для контроля, а в конце рабочего дня захожу в стационар, вроде как принимать работу и осматривать очередную, отремонтированную за день палату. Гришка, Николай, сёстры, санитарки с гордым и в тоже время шаловливым выражением лица смотрят на меня. Я чувствую, каких слов они от меня ждут.

— Эта палата получилась даже лучше, чем вчера,— говорю я, полагая, что главная моя миссия состоит в том, чтобы поддерживать рабочий дух, и это мне в какой-то степени удаётся.

Ведь порой, чтобы поставить на дежурство не в свою смену медсестру или санитарку, приходится не только уговаривать, но и писать приказы, а тут всё сами, и с улыбками. Сложная это наука — руководить людьми. В институте об этом не говорят, литературы о чём угодно, но об этом у нас практически нет, и приходится каждому из нас — а таких, как я, десятки тысяч — познавать тернистый путь вслепую.

Я главному врачу района про ремонт ни слова, но ему доложили, и он прикатил.

Входит. Смотрим друг на друга. Он сомневается: подать или не подать руку, но подаёт. Настроение у него, когда он к нам приезжает, как обычно, паршивое. Всё здесь, чтобы ни делалось, для него не слава Богу.

— Ты что это начал? — спрашивает.

— Посмотрите.— Я не могу, когда кто-то со мной свысока и тоже встаю в позу.

— За какие деньги?

— За свои.— И весь разговор.

Впрочем, я понимаю, что раз мы не ладим, то в этом и моя вина. Оба дураки.

— Пойдём посмотрим,— Ирек Галимзянович встаёт.

— Наденьте халат, брызнет!

Он на меня с недоверием смотрит, но, ничего не говоря, накидывает поверх пиджака халат.

Проходим коридором. Он впереди, я сзади. Навстречу идёт — в одной руке ведро, в другой помазок — Настя Фомина, остановилась, поздоровалась

и улыбается, рада за свою работу и думает наивно, что и главный врач района, глядя, как она работает, тоже должен радоваться. Но Ирек Галимзянович мрачнее тучи, проходит мимо, словно она пустое место. У Насти улыбка застывает на губах. Останавливается у порога одной из палат, где две санитарки и медсестра красят стены. Увидев нас, они вопросительно, с удивлением и виновато смотрят на Ирека Галимзяновича.

— К нам, бабоньки, подмога идёт. Тань, дай-ка гостям ведро,— глядя на главного, говорит подошедшая Настя Фомина, которая никогда не лезла за словом в карман.

Ирек Галимзянович косится на Настю и поворачивается к выходу. Я — за ним. По ходу он открывает дверь одной из отремонтированных палат и на мгновение задерживается.

— Надо было краску темней.

— Для туалета колер другой подберём.

Проходим в кабинет.

— Когда закончишь? — спрашивает он.

— Через неделю.

— Почему так долго?

— Может, материалом поможете, будет быстрее,— замечаю я.

На этом мы и прощаемся.

— Главный-то наш бывший идёт, не здоровается, так бы и мазнула по морде помазком. Как от нас уехал, заважничал, а то мы его как облупленного не знаем! Бывало, ещё к нему квартиру белить ходили, он нам бутылку ставил, за одним столом сидел, а тут морду наел, не подъедешь. Ещё радоваться должен, что задарма мы сами всё делаем, в других больницах небось барышников, не за так, нанимают,— говорила Настя собравшимся около неё бабам.

«Ершист и г...ст»,— наверняка думает про меня Ирек Галимзянович. Ведь когда к нему приезжает начальство, он первым делом приглашает за стол и, как показало время, не зря.

32

Отношения мои с главным врачом района «развиваются». После окончания ремонта получаю телефонограмму: «Срочно, сроком на три дня, выслать в центральную больницу санитарную машину».

Нам без «санитарной» — всё равно что без рук, и я тут же ответ: «Ввиду поломки, машину выслать не могу». На другой день звонит сам.

— Ты почему не выслал машину? — голос срывается на крик, и у меня он вызывает только улыбку.

— Какую машину? — спрашиваю я спокойно, и мой тон выводит его из себя.

— Санитарную! Грузовую ты же развалил,— ещё сильнее кричит он.

— Не на ходу.

— Как не на ходу, я только сейчас узнавал.. Приеду проверю.

— Коробка передач барахлит, может, у вас есть, захватите, пожалуйста, заодно.

Главный врач молчит. У него нет слов, у меня тоже. Я кладу трубку, неподвижно смотрю перед собой и думаю: «Кто его знает, что у него в голове, может, на самом деле приедет, устроит здесь спектакль». Вызываю шофёра.

Приходит дядя Ваня. Он, как всегда, показывая, что шибко работает, держит тряпку и, пока мы говорим, вытирает ею испачканные машинным маслом руки.

— Машину в центральную больницу на три дня просят,— говорю я.

— В центральну? — по лицу видно, что дяде Ване никуда ехать не хочется.— У них у самих семь штук, три новых.

— А машина-то на ходу?

— Сами знаете. Одно делаю, другое валится. А коль на три дня, говорите, то пошлют за полтысячи вёрст,— отвечает дядя Ваня, и мы решаем, что посылать машину всё равно, что в дальнейшем остаться без машины. Это, очевидно, на руку главному врачу.

Ясно, что я для главного врача района — кость в горле, и, чтобы меня подёргать, а также в назидание другим, он в очередной раз подсылает ко мне комиссии.

— Как вы можете не писать на всех больных истории болезни?! Ведь вы же попадёте под суд, и никто вас не оправдает! История болезни — это документ, который в первую очередь нужен нам, а не больному. История защищает нас от прокурора. Ведь если больной умрёт...— говорит мне заведующая терапевтическим отделением, пожилая, уставшая ото всего женщина. У неё, после того как на неё накричал главный врач за то, что она, по его мнению, плохо обслужила престижного пациента, развилась невралгия тройничного нерва.

— На тяжёлых больных я истории пишу.

— Ну, всё равно, у нас каждый может в любой момент умереть, а у вас история пустая: значит, вы его не лечили. А была бы история, чего греха таить, в неё можно и что нужно подписать.

— До обеда «на мне» тридцать пять стационарных больных,— отвечаю я,— кроме того, хозяйственные дела, поэтому, если мне заниматься никому не нужной писаниной, то у меня не останется времени даже поговорить с больным.

— Тогда за что же вам деньги платят?

— Деньги мне платят не за то, что я мараю истории болезни, а за то, что я лечу больных,— отвечаю я и, в свою очередь, привожу примеры — какие порой полуграмотные выписки поступают к нам из центральной больницы, а затем открываю большой шкаф, доверху заполненный перевязанными пыльными стопками историй болезней.

— Сколько я здесь работаю,— говорю я,— ещё ни одна бумажка из этого шкафа никому не потребовалась и не принесла пользы. И цена всему этому такая: во сколько эту бумажку оценит макулатурщик.

— Вы неисправимы! — обиженно говорит она, вписывая в журнал на меня очередную «телегу», и на этом наш разговор заканчивается, но когда она приезжает в следующий раз, то всё начинается сначала.

— Вот если приедет комиссия,— говорит она,— никто о том, о чём вы говорите, не спросит. Первым делом будут смотреть истории болезни. Я вам даже по опыту скажу: никто особенно и не будет вникать в то, что вы там написали, главное, чтобы всё было заполнено. В этом и состоит наша работа.

В ответ мне нечего ей сказать. Она, глядя на меня, вздыхает, но по всему видно, что она не держит на меня зла и, мне кажется, где-то в подсознании признаёт мою правоту, и конечно же, лично ей всё равно, заполняю или не заполняю я истории болезни.

В заключении нашей беседы она интересуется, поскольку у неё незамужняя дочь, как я живу, кто и где работают мои родители, но, видимо, с её точки зрения, я неперспективный жених, и в завершение она говорит:

— Ох не завидую, не завидую я вам. С таким отношением к делу вам везде будет тяжело. Требования, поверьте мне, везде одинаковые, и что бы вы в своё оправдание ни говорили, вас никто не поймёт.

Затем она передаёт журнал главному врачу санэпидстанции, которая, ища к чему бы придраться, не только берёт со столов на стерильность смывы, но и заглядывает в горшки.

— С вами говорить вообще бесполезно,— строча в журнал замечания, говорит она,— ездим к вам, как будто нам больше делать нечего.

— А вы и не приезжайте,— отвечаю я и, не желая продолжать неприятный и бесполезный разговор, выхожу из кабинета.

Моё отношение к ней задевает её самолюбие, и в следующий раз она начинает при всех, за существующие и несуществующие грехи, меня отчитывать, а я, не долго думая, советую ей заглянуть в туалет, который находится во дворе центральной больницы, куда можно войти не иначе как только в охотничьих сапогах. Не ожидая от меня такой дерзости, она покрывается пятнами и с той поры, глядя на меня, сжимает губы в тонкую полоску и называет за глаза меня хулиганом.

Если в первое время, когда приезжала комиссия, я, желая с пользой использовать случай, просил специалистов проконсультировать больных, то в последующем, не желая зря тратить времени, говорил старшей сестре:

— Я на медпункты.— И, уезжая, наказывал, чтоб неповадно было к нам ездить, не готовить для комиссии за счёт больных обед.

Приезжая, я уже не читаю, как в первое время, и не принимаю близко к сердцу замечания, а только бегло пробегаю глазами по строчкам, интересуюсь: сколько зря исписано страниц — и опускаю журнал в ведро с открывающейся крышкой, которое стоит за моим креслом в углу, но его находит старшая сестра, прячет и при очередной проверке подсовывает комиссии.

Теперь на районных совещаниях у каждого докладчика отдельным пунктом — наша больничка. И из совещания в совещание докладчики, глядя на главного врача района, говорят о том, что, когда вызывают меня в роддом, я не оказываю роженицам помощь, а в то время, как они мучаются, сижу и читаю газету; что в течение года у нас не проведено ни одного производственного совещания; что я должным образом не заполняю медицинскую документацию и, прогуливая, не посещаю собрания в центральной больнице; что при строительстве прачечной я, вместо рабочих со стороны, заставлял работать тяжелобольных. Во время этих «спектаклей» выражение лица у главного врача хмурое, такое же выражение своему лицу стараются придать его приближённые, в то время как по лицам многих сидящих в зале пробегает лёгкая, добродушная, ироническая улыбка. Они довольны, что ругают не их, а меня. Главные же врачи участковых больниц жмут при встрече мне руку и, смеясь, говорят:

— Крепко ты Галимзянычу насолил...

— За место не держусь и в заместители не рвусь,— отвечаю я.

33

После посевной, в конце мая, у нас в районе ежегодно проводится день донора. Сдавать кровь безвозмездно, к тому же не зная, как она будет использована, желающих не очень много. Поэтому кампания из года в год у нас проводится, по традиции, своеобразно. Готовятся к ней загодя, закупая несколько ящиков водки, продукты, словно к празднику. Причём скудных средств, которые выделяет для этих целей здравоохранение, разумеется, не хватает даже для более или менее сытного обеда. Такса такова: за двести граммов крови — сто грамм и с большим куском мяса второе; за четыреста граммов крови — соответственно, двести. Деньги на это мероприятие, нарушая финансовую дисциплину, изыскивают кто как может. В районе все, включая первых лиц, об этом знают, но не обращают внимания.

«Если главный врач района будет знать, что у нас так же, как и везде, то наверняка подошлёт с проверкой комиссию»,— рассуждаю я и, упреждая события, набираю номер его телефона. Спрашиваю, объяснив ситуацию:

— Как быть?

— Проводите по традиции,— говорит он.

— А деньги откуда?

— Ты уже не новичок. Спроси у Гришки, он скажет, где взять...

Перед днём донора в больнице провели генеральную уборку. Выписали всех нетяжёлых больных, чтобы в освободившихся палатах обследовать доноров и производить у них забор крови. Заранее распределили: кто будет «стоять на вене», кто на регистрации, кто на определении группы крови, кто на раздаче обеда. Вышла только небольшая загвоздка с Гришкой, которого было рискованно ставить на раздачу водки, но решили, что неудобно отстранить его от этой процедуры, после того как он в течение трёх дней, бегая из сельсовета в сельпо, пробивал товар.

Ещё не было восьми часов, как появился первый донор. Это был Мизон. Работал он скотником в колхозе потому, что там можно было в любой день не прийти на работу,— должность дефицитная и доступ к кормам, которые он пропивал. И сейчас, судя по помятой, заплывшей физиономии, был он с глубокого похмелья.

— Ты чего это? Хоть бы помылся... Чай, не на скотный двор, в больницу пришёл! — напустилась на него Нина Ильинична.

— Кровя...

— Не кровя, а выпить небось захотелось, пришёл чуть свет. У тебя уж, чай, вместо крови самогонка одна.

— Душа водку принимат. Бери стакана три.

Нина Ильинична справилась у Фёклы Алексеевны: можно ли Мизона записывать в доноры.

— Пиши для плана. Раз сестоль пьёт, значит здоров,— ответила та и, когда он к ней подошёл определять противопоказания к сдаче крови, спросила:

— Ты случайно не желтел?

— Чё?

— Глаза не желтели?

— Зубы, пальцы от табака желты...

«Здоров»,— написала Фёкла Алексеевна и, когда донор отошёл от её стола, заметила:

— Весь проспиртовался, а пахнет как от порченого сазана.

Кинув в угол рядом со снимаемой обувью верхнюю робу, Мизон обнажил локтевой сгиб, засучил рукав грязной рубахи и прошёл в палату, где проводили забор крови.

— Сюда, сюда,— усадила его за столик медсестра, предварительно постелив на табурет и валик, чтобы не запачкать салфетки. Трижды, в то время как Мизон смотрел тупо в сторону, потёрла марлевыми, смоченными в спирте тампонами локтевой сгиб и ловким движением, с ходу ввела в толстую как жгут вену острую иглу, которая прозрачной трубочкой была соединена с флаконом, где находился, чтобы кровь не свернулась, жидкий консервант. Кровь ударила тугой струёй и стала, пенясь, быстро заполнять флакон.

— Бери ещё,— сказал Мизон, когда заполнился флакон и медсестра, наложив на трубку зажим, ловко переколола иглы на второй флакон.

— Кто жалет, а мне не жалко, не жадный, каждый год сдаю,— говорил Мизон, выпрашивая вместо обеда водки, но его наши бабы прогнали, чтобы он своим видом не смущал народ.

Основная масса доноров стала прибывать ближе к обеду. Все работали споро. Только с одним парнем вышла незадача. Вытащив из вены иглу, ему вовремя не прижали место вкола ваткой, и, увидев, как тонкой струйкой кровь побежала по локтевому сгибу, он вдруг резко побледнел, свалился со стула на пол. Его тут же уложили на кушетку, а к носу поднесли ватку, смоченную нашатырным спиртом. Через несколько секунд парень открыл глаза и, увидев множество устремлённых на него глаз, чудно закрутил головой.

— Чё, чё? — не понимая в чём дело, выходя из обморока, залепетал он.

Все дружно рассмеялись. Парень ещё больше смутился и уткнулся лицом в подушку.

Из близко расположенных сёл доноры приезжают в сопровождении фельдшеров на грузовых машинах, туда же, где местные руководители транспорт не выделяют, приходится высылать «санитарную», в которую столько набивается доноров, что, прогибаясь, скрипят усиленные рессоры, а дядя Ваня, переживая за технику, бранится непечатными словами.

В массе своей доноры народ особый: здоровый, жизнерадостный и весёлый. День донора они называют сабантуем. Настроение у всех, в том числе и у нас, медиков, по-особому приподнятое. Шутки и смех у всех на устах. Есть среди доноров и гипертоники.

— Надо дурную кровь спустить,— говорят они.

Некоторые, как Мизон, пришли опохмелиться.

Есть и такие, которые заходят по третьему кругу, но мы больше четырёхсот грамм, за редким исключением, не берём.

После обеда из дальнего села приехал за компанию с мужиками семидесятилетний старикашка. Он бодро спрыгнул с грузовика и вместе со всеми встал в очередь, но Фёкла Алексеевна его забраковала.

— По возрасту не подходишь, да ещё, не дай Бог, что случится, за тебя отвечать.— Обидела до слёз.

Он ко мне. Я смотрю на него: щупленький, тщедушный. Думаю: «Наверняка чем-то хворый, в тебя самого нужно кровь вливать». А он:

— Перед народом зазорно, деревней засмеют.

Я его отговаривать:

— В вашем возрасте нельзя, кровь не лечебная.

А он:

— Жену — молодку пятидесяти пяти лет взял, перед ней — хоть сквозь землю провались.

Столковались на том, что мы ему просто выдали справку и талончик.

— И ты с нами? — спросили у него мужики, когда он подошёл к Гришке.

— А то как же! Я только с виду такой. Нужно в корень смотреть,— ответил он гордо, размахивая справкой, и положил перед Гришкой талончик.

— Налей!

— Такому донору — двойную дозу! — вступился один из мужиков.

— Двойную, двойную! Больница не обедняет! — загоготали все.

Гришка посмотрел на старшую сестру, которая тоже смеялась, и, откупорив непочатую бутылку, налил стаканы с верхом.

Старичок ещё выше поднял голову и под общий смех, говоря, что сейчас пойдёт сдавать кровь по второму разу, давясь, через силу осушил стакан.

Под конец рабочего дня, когда иссяк поток доноров, подошли на пару председатель сельсовета и главный бухгалтер. Они справились, как проходит день донора, а затем с заднего входа вошли к Гришке, который под конец поднабрался, и его пришлось-таки на другой день заменить сестрой-хозяйкой.

Наконец ушёл последний донор. Флаконы с донорской кровью, чтобы они не побились, уложили в специальные коробки, погрузили в «санитарную» и отправили по тряской дороге в центральную больницу.

За день все, работая как на конвейере, без перерыва на обед, устали, но были на подъёме. Словно отмечая праздничную дату, налив каждому по стопке, все уселись за общий стол. Второго уже не осталось, и поварихи разнесли загодя отваренный картофель, который показался очень вкусным.

На другой день с утра на грузовой машине подъехал главный инженер спиртзавода Кургаев и привёз с собой, прихватив секретаршу, человек двадцать мужиков. Секретарша Нюра, маленькая, кругленькая, как колобок, очень говорливая женщина, открыла дверку кабины и вывалилась на руки принявшему её шофёру. Следом за ней, под добродушные улыбки мужиков,

отдуваясь, вылез из просевшей под тяжестью грузного тела кабины хозяин. Покрикивая по привычке на своих мужиков, словно бывалый капрал на новобранцев, он вошёл ко мне.

Я стоя приветствовал желанного гостя, спросил о здоровье.

— Слава Богу! Сам будь здоров! — Утерев платочком лицо и шею, Кургаев уселся напротив меня.— Ну-ка, померь. Кровь в висках стучит, наружу просится, по башке знаю — не меньше двухсот тридцати.

Он не торопясь снял пиджак и закатал на предплечье рубаху. Я измеряю давление и говорю ему, что у него, двести сорок на сто двадцать. Конечно же, он никаких таблеток от давления не принимает, и я ему в очередной раз поясняю, что за границей, в том числе и в Америке, уже давно доказали, что больным с гипертонией необходимы систематический контроль давления и поддержание его на нормальных значениях с помощью лекарственных препаратов, иначе возможно прогрессирование заболевания или даже кровоизлияние в мозг.

— Я не американец. Я неграмотный русский мужик! — отвечает он, и я понимаю бессмысленность убеждения.— Дай команду, пускай восемьсот возьмут.

— Как восемьсот! По стольку мы не берём.

— Так сам же говоришь: может в голову ударить. Прошлый год мне одна бабка-знахарка целый таз спустила. Месяца на три хватило, потом опять стало в висках стучать.

— Как бы плохо не было,— говорю я, но, прикинув, что в моём собеседнике минимум килограммов сто тридцать, соглашаюсь.

Сёстры приготовили четыре флакона.

— Берут, берут! — послышалось во дворе, и несколько молодых рабочих со спиртзавода облепили окно. Однако это Кургаеву не понравилось. Он, отдуваясь, встал, помахал кулаком — ребята разбежались — и задёрнул занавеску.

Сдав кровь, он говорит, что приятно кружится голова. Минут двадцать полежал, затем зашёл ко мне померить давление.

— Сто восемьдесят на сто.

— Сразу, чувствую, в голове токать перестало, надо было литр спустить,— говорит Кургаев, жмёт мне руку и идёт в столовую посидеть среди своих мужиков. Кинув сестре-хозяйке на прилавок талончики, он взял у неё непочатую бутылку и отдал своим мужикам. Сам же выпил только стакан компота.

Как и ожидалось, на нашем участке, на каждую тысячу проживающих, безвозмездно сдали кровь сорок два человека — это в деревне, где в основном проживают пенсионеры!

Но наша кровь не была использована по назначению. Вначале мы её погрузили на «санитарную» и по тряской дороге за тридцать километров повезли в райцентр, что, конечно же, привело к частичному разрушению эритроцитов. В последующие два дня была нелётная погода, и «кукурузник» в областной центр не летал, а порядочных условий для хранения крови в центральной больнице нет. В лучшем случае, нашу кровь пустили на сыворотку...

Всё бы ничего, но главный врач района подпустил к нам из райфинотдела комиссию. Комиссия формальных нарушений по финансовым документам не нашла и уехала, но Ирек Галимзянович не успокоился: вызвал Гришку и хоть Гришка — тёртый калач, но проболтался, сказал, откуда пошли деньги на водку. Опять приехала комиссия. Составили акт, по которому выходило, что мы с Гришкой, поскольку на документах стояли наши подписи, закупили на государственные деньги три ящика водки и за два дня пропили. В довершение ко всему разыграли маленький спектакль: собрали в сельсовете собрание. Прикатил главный врач района с инспектором из райфинотдела. Оба, с виду

выпивши, говорили о честности, неподкупности, благочестии. Когда же я в своё оправдание сказал, куда пошла водка, и о том, что в центральной больнице в день донора было выпито её в несколько раз больше и что на это мероприятие мною было получено благословение главного врача района, то Ирек Галимзянович, глядя мне в глаза, рассмеялся и сказал, что я говорю неправду. Вообще в этот вечер с его обычно озлобленного лица не сходила улыбка и, глядя на него, я подумал: «Как, оказывается, порой человеку нужно мало для счастья».

Постановили на меня и на Гришку наложить денежный начёт.

Через несколько дней ища правду, я зашёл в районную юридическую консультацию, где за столом сидел круглолицый, лет сорока, с виду очень довольный жизнью мужчина.

— Я этих денег не брал. В конечном итоге, они пошли на доброе дело,— сказал я ему, изложив суть дела.

— А это в данном случае не имеет никакого значения,— ответил мне юрист и спросил: — У вас есть в районе человек, который мог бы оказать на главного врача влияние?

— Нет.

Он приложил себе руку на то место, где у него должно было быть сердце, и, не переставая улыбаться, глядя на меня как на редкий экспонат, отодвинул от себя стопку томов со сводами законов и сказал, что, будь он на моём месте, то заплатил бы, но вначале сделал бы выдержку — может, обойдётся. Я так и поступил, но не обошлось, поскольку дело было у главврача на контроле.

34

Скоро два года, как я «сижу в кресле», и, кажется, начинаю понимать, как с виду психически здоровые люди начинают к нему «прирастать». В моём поведении день ото дня уверенности всё больше и больше, и я уже чувствую себя как рыба в воде, но «за кресло не держусь» — ещё полностью, кажется, не деградировал. Не все, естественно, одинаково ко мне относятся: некоторых я, если не уволил, то прижал, и они втихаря меня недолюбливают. Все уже характер мой узнали и, насколько это в наше время возможно, слушаются меня. Временами даже моя роль доставляет мне удовлетворение; отчасти я использую своё служебное положение в личных целях, и это воспринимается всеми в порядке вещей. Например, я продолжаю брать у Гришки, хоть это и не положено, по госцене мясо и масло, и если у меня в квартире, где я, как многие говорят, отгрохал ремонт, забивается сажей печная труба, то я не лезу, как это, к примеру, делает Хасан Хасанович, на крышу и не сую в печную трубу метлу, привязанную за длинную жердь. Ко мне приходит больничный слесарь и более умело исправляет неисправность. Кроме того, в моём распоряжении, всё равно что своя, «санитарная», на которой при необходимости можно куда заблагорассудится поехать или что-нибудь привезти, но я этой возможностью не пользуюсь — просто некуда ездить и нечего возить.

Поодаль от моего дома — баня, где переложили печь, заменили прогнившие полы и полок. Я каждую неделю её топлю и, когда поставленная на окошко парафиновая свеча начинает оплавляться, начинаю работать веником.

Но внутреннее удовлетворение я получаю от лечебной работы. Сельчане ко мне относятся хорошо не потому, что я главный, а потому, что как лекарь, по местным меркам, я на уровне.

Приятелей у меня всего двое. С одним из них я постигаю рыбацкое искусство, а с Вахрушиным Иваном, у которого есть две двустволки и две собаки, я хожу на лису и зайца, но ничего, активно отдыхая, кроме времени, не убиваю.

На работе я не дипломат и, насколько это возможно в наших условиях,

стараюсь быть самим собой. В хозяйстве есть небольшие подвижки. После того как мы пригнали из капремонта грузовую машину и за пьянку одного за другим выгнали трёх шофёров, машинёшка у нас вот уже шесть месяцев на ходу, и у меня новая проблема: ко мне стали ежедневно приходить сотрудники больницы и просить машину. Я, по возможности, не отказываю, но предупреждаю, чтобы не спаивали шофёра, однако с традициями ничего не поделаешь, и наш шофёр уже с большей охотой едет не по больничному делу, а к кому-нибудь на огород.

Авторитет среди больных у меня растёт, ибо я сделал всего одну грубую ошибку, не отправив своевременно к специалистам больную после родов с разрывами промежности. Со всеми, по возможности, я вежлив, по крайней мере, никому ещё у нас в больничке не удавалось вывести меня из себя.

И с лекарствами у нас лучше, чем у других. В районе я познакомился с заведующим центральной аптекой и часто к нему наведываюсь.

— Вот смотрите,— говорит он мне, проводя в склад и показывая на полки,— у нас лекарств и по количеству, и по ассортименту больше, чем в обычной городской аптеке, но всё новое и часто даже очень нужное, как правило, залёживается. Новые препараты хоть не бери. Вы первый, кто заходит к нам регулярно и интересуется.

— Берите вот это,— говорит он, предлагая препараты с истекающим сроком хранения.— Я вам за это и дефицит, и что хотите дам.

— Давайте, нам ко двору,— говорю я,— складывая в ящик пузырьки и коробки.

В конце моего визита заведующий вызывает сотрудницу, она выписывает счёт, при виде которого у бухгалтера сельсовета, постоянно твердившего о сохранности государственной собственности, лоб покрывается крупными каплями пота.

— Не для себя же,— говорю я ему.

Я взял за правило раз в квартал ездить в «Медтехнику» и отовариваться. Уже год как у нас стабилизировалось положение со шприцами и иглами. Старшая сестра по привычке, конечно, их экономит и сестёр, если они сжигают со шприцами стерилизатор, долго и с чувством наставляет. В процедурном кабинете, поскольку больше нет места, физиотерапевтическая аппаратура стоит даже на подоконнике.

Но на душе у меня неспокойно, ибо я уже точно знаю, что всякая моя инициатива во благо больных лично мне — только во вред. Неспокойно ещё у меня на душе и потому, что у нас практически ни одно дело нельзя сделать по-человечески, не нарушая финансовой дисциплины.

Как-то мы ехали по шоссе. Из-под колеса ехавшего нам навстречу на большой скорости грузовика вылетел булыжник и угодил в лобовое стекло нашей «скорой». К счастью, никого не задело, но всё стекло мелкими-мелкими трещинками покрылось и, когда дядя Ваня его чуть тронул, оно всё осыпалось. Пока стояла хорошая погода, мы ездили на небольшой скорости без лобового стекла, но в первый же дождик нас нахлестало. Я обзвонил все организации, но лобового стекла на «скорую» нигде не было. Причём все мне не советовали искать его официальным путём — бесполезное дело да и банк не пропустит. Пришлось составлять очередной фиктивный договор и ехать за триста вёрст в соседнюю область, покупать втридорога за наличные. Там находилось предприятие, выпускающее для машин стёкла, и шофёры знали, к кому следует обратиться. После этого по больнице прошёл слух, что якобы я за казённые деньги купил себе холодильник, и мне пришлось на пятиминутке с дрожью в голосе объяснять, куда пошли казённые деньги.

Авторитет мой среди сельчан растёт, но в профессиональном отношении я, если не деградирую, то топчусь на месте. Всё дело в том, что на нашем участке с населением в десять тысяч человек, встречается очень мало сложных

больных. Всех хроников я уже знаю.

Двое больных мне непонятны. Одна из них, сорокапятилетняя женщина, с постоянно повышенным, более пятидесяти миллиметров в час СОЭ. Она жалуется на постоянную температуру, боли в мышцах, суставах, на сердце и похудание. Год назад я её направил с подозрением на опухоль неизвестной локализации в областной онкологический диспансер, где после обследования ей выдали бумажку, что у неё опухоли нет, и направили в областную клиническую больницу. Там якобы установили диагноз и предписали принимать преднизолон, но больной от этого легче не стало. Я опять направил её на обследование, но она, несмотря на то, что на глазах продолжает сохнуть, никуда не поехала. Это потому, что у нас народ в своём большинстве мало верит нашему брату, а посещение больниц и поликлиник порой превращается у нас для пациентов в унижение.

— Что Бог даст,— говорит она.

Вторая больная температурит в течение года и жалуется на головные боли. В центральной больнице невропатолог выставил ей заумный, в чём им не откажешь, диагноз и выписал лекарств. «Аж на сорок,— по словам больной,— рублёв».

— Если рак, всё равно помирать,— говорит она и в последнее время ничего из лекарств не принимает.

Два раза в неделю она ставит за каждое ухо по две пиявки и говорит, что после этого легче.

Медицинскую литературу я теперь, по большому счёту, почти не читаю, но очень самоуверен и большого о себе мнения, и это, смею заверить, отличительная черта наших докторов.

При всём при том больные неоднократно через районную газету выражали в мой адрес благодарность. Поскольку слух среди населения обо мне идёт, в последнее время в центральной больнице про меня стали говорить: «Лечить он может, но работать не может».

Ещё я знаю, что, если в моей лечебной работе будет какая-либо погрешность, то главный врач района это тут же обыграет, и поэтому при малейшем сомнении в том, что не смогу оказать больному квалифицированную помощь, особенно когда речь идёт о хирургических или гинекологических больных, не теряя времени отправляю больных в центральную.

Как-то фельдшер привёз к нам в больничку семидесятитрёхлетнего деда. По неосторожности он упал в погреб. Без снимков сказать что-либо было трудно, судя по всему, у больного был перелом правого ребра и левого предплечья, но главное заключалось не в этом — у него была одутловатая шея и одышка.

— У вас давно толстая шея? — спрашиваю я.

— Всегда была как у гусака, а как упал, так потолстела,— отвечает больной и предъявляет ещё жалобы на боли в правом боку.

При надавливании кожа в области шеи напряжена, а если по ней щёлкнешь, то как по барабану. «Без сомнения, в подкожной клетчатке воздух. У больного клапанный пневмоторакс»,— думаю я.

По правилам, клапанный пневмоторакс, чтобы больного не раздувало, следует перевести в открытый, для чего больному в бок втыкается толстая игла. При этом лёгкое с поражённой стороны спадается, не участвует в дыхании, и воздух в подкожную клетчатку не поступает. «Но,— рассуждаю я,— это процедура не является безобидной. Больной, вследствие сопутствующих заболеваний, может её не перенести. Тогда не только его родственники, но и наши больничные скажут, что я воткнул старику в бок толстую иглу и его заколол». К тому же эту хирургическую процедуру я никогда не проводил, и у меня нет уверенности, что всё сделаю правильно.

Я прошу санитарку быстро сбегать в гараж за шофёром, а тем временем

мы накладываем больному на конечности шины. Машина подъехала к крыльцу, открыли задние дверцы, осторожно внесли на носилках больного в машину. Прихватив с собой чемоданчик с необходимыми медикаментами, я сажусь рядом, и мы трогаемся. Первые полчаса дороги старик переносит хорошо, но затем он просит поправить запавшую под головой подушку, двигается, что, очевидно, приводит к смещению рёберных отломков, и через некоторое время опухоль с шеи ползёт на лицо, правое плечо и даже на левую половину груди, усиливается одышка. Я перевожу больного в прежнее положение, совсем убираю из-под головы подушку, но ничего не помогает.

— Быстрее, быстрее! — прошу я шофёра, думая: «Лишь бы живого довезти до центральной»,— но дядя Ваня, хоть и нажимает на газ, едет очень, мне кажется, медленно.

Наконец, мы у приёмного покоя. Когда мы с дядей Ваней занесли старика на носилках в приёмный покой, он собой уже напоминал раздутый мяч. От глаз остались одни щёлки, на его одежде пришлось расстегнуть все пуговицы и снять наложенные на конечности шины.

— Срочно дежурного хирурга,— говорю я фельдшерице приёмного покоя.

Она начинает звонить сначала в хирургию, затем в терапию, гинекологию, неврологию — нигде нет.

— Закрылся, наверно, в ординаторской, лежит на диване, смотрит телевизор и не берёт трубку. Сейчас сбегаю,— говорит она.

Больной всё продолжает раздуваться, дышит с трудом, как при астме, и опухоль дошла уже до пальцев рук, которые стали напоминать сосиски.

— Как чувствуете себя? — срывающимся от волнения голосом спрашиваю я его.

— Чай, видите,— еле ворочая языком, отвечает он, и мне кажется, что и язык у него тоже раздулся.

Мне кажется, я жду вечность. Наконец, фельдшерица прибегает.

— Уже два раза всё обегала. Операций нет. Ума не приложу, куда пропал. Сейчас ещё домой позвоню.

Дома дежурного хирурга тоже нет.

— А в инфекции не были? — спрашиваю я, вспомнив, что, когда мы проезжали мимо инфекционного отделения, там в ординаторской горел свет.

— Как-то упустила.

Не выдержав, сам бегу в инфекционное отделение. Там строгий санитарный режим, но я, не переодеваясь, пробегаю мимо санитарки, которая от неожиданности не может вымолвить ни слова, и открываю дверь в ординаторскую. За столом, играя в шахматы, сидят врач-инфекционист, который задержался после рабочего дня, и дежурный хирург. Под столом бутылка из-под вина.

— В приёмном покое больной с клапанным пневмотораксом!

— Какой больной?! — поднимает брови хирург, и оба они,— «умудрённые опытом», смотрят на меня как на человека очень далёкого от медицины.

— Я привёз!

— Так ты что, умирать к нам его привёз?!

— В дороге стало дуть, уже час вас ищем!

— А зачем меня искать? Бери иглу и коли!

— Да у вас не только иглы, дежурного врача не найдёшь!

— А ты, кстати, зачем сюда в таком виде зашёл? Это ведь не участковая больница. У меня дезрежим. Да ещё шумишь. Нехорошо! — замечает инфекционист.

— Там больной помирает! — срываюсь я.

— Ладно, я пойду,— обращаясь к инфекционисту и как бы перед ним извиняясь, говорит хирург.

— Надо колоть! — стоя около больного, который продолжает лежать на

носилках, замечает хирург.— С какой стороны перелом-то?

— В погреб упал на правый бок и дуть стало вначале справа,— отвечаю я.

— А может, слева? Снимок не делали?

— Нет.

Хирург показывает мне пальцем на висок.

— Снимок нужен. Без снимка проткнёшь вместо больной здоровую сторону.

— Так и без снимка ясно,— возражаю я.

— Ну, раз ясно, так нечего было сюда и везти,— отвечает он и просит фельдшера организовать снимок.

— Больной же за это время помрёт!

— Это не участковая больница. Мы ничего здесь не делаем на шармачка,— замечает хирург.

Фельдшерица посылает санитарку за рентгенологом, а больного всё дует и дует, и даже на расстоянии слышно его шумное, затруднённое дыхание.

Не зная, куда себя деть, я выхожу на крыльцо. В полутьме мимо проходит, делая вид, что не замечает меня, главный врач. Следом за ним идёт, судя по виду, какой-то местный начальник. Через некоторое время в кабинете Ирека Галимзяновича зажигается свет. Занавески в кабинете не зашторены, и видно, как представительный товарищ и главный врач ведут между собой конфиденциальный разговор. Наконец, представительный товарищ и главный врач жмут друг другу руки и расстаются. Ирек Галимзянович берёт трубку и кому-то звонит. «Пока он не ушёл, нужно его поставить в известность»,— думаю я и, постучавшись в дверь кабинета, вхожу.

Настроение у главврача, судя по всему, хорошее, и пока я излагаю суть дела, становится ещё лучше. Как обычно, чтобы показать, что он разбирается в лечебных вопросах, он начинает расспрашивать, а я, уже думая, что зря зашёл к нему, раздражаясь, отвечаю тоже полуграмотно.

— Виноваты во всём вы. Дежурный хирург тоже, конечно, должен был быть на месте, но во всём, если больной помрёт, будете виноваты вы,— многозначительно говорит Ирек Галимзянович, но, главное, его улыбка, эта особенная улыбка, которая окончательно выводит меня из себя.

Глядя в упор на главного, я протягиваю руку к стоящему на столе увесистому графину, наполовину заполненному водой. «По голове не буду, по настольному стеклу»,— мелькает у меня в подсознании.

Главный белеет, у него на лице трясётся каждый мускул.

— Я так, я так. На работе всякое бывает,— не своим голосом говорит он, прижимаясь к спинке кресла и до побеления пальцев сжимает подлокотники.

Выражение его лица, фигура выражают страх и беспомощность. Несколько секунд мы, два уже ненормальных человека, смотрим друг на друга: я — стоя над ним с графином в руке, он — снизу вверх. Если бы он повёл себя иначе, я, возможно бы, воспользовался графином, но он беспомощен и унижен. Я ставлю графин на стол и ухожу. На душе смута. Пока искали рентгенолога, больной скончался.

Но этот случай на медсовет главный врач выносить не стал, и не было от родственников жалобы. «Видать, здорово покалечился дед,— говорили они,— даже в центральной ничего сделать не смогли».

Для меня ясно, что, как только появится новый доктор, будет приказ о его назначении на моё место. Я к этому уже готов и, очевидно, поэтому в последнее время всё примелькалось: и Фёкла Алексеевна, с вечной мыслью, как бы пораньше уйти с работы; и старшая сестра, нашёптывающая на меня главному; и оба завхоза, с постоянной в голове доминантой не о деле, а как бы не за свой счёт выпить; и одни и те же ежедневно разговоры; и в большинстве своём уже помятые жизнью лица, с тоской и заботой в глазах. Во всём скудость

мысли. Скушно. Поэтому известие, что к нам приедет новый доктор, все восприняли с интересом. «Если мы сойдёмся, то будет интересней работать и можно будет вместе проводить досуг, а примет он сторону главного, уеду. Меня никто задерживать не станет»,— рассудил я.

35

Через месяц приходит к нам в больничку новый доктор — хирург. Сергей Иванович из местных, родители у него живут в соседнем колхозе. Закончил он медучилище, отслужил в армии, несколько лет отработал, затем институт и по распределению — к нам, по месту жительства. Он лет на восемь старше меня и живёт словно не в радость, а в наказание. Лицо у него скуластое, болезненно-смуглое, взгляд потухший, про таких говорят: невзрачный. Через пять минут нам уже не о чем говорить.

Сергей Иванович прошёлся по коридору, заглянул в несколько палат и, не обратив внимания на операционную, сказал:

— Отпуск у меня не прошёл, но всё равно выйду на полторы ставки, нужно подзаработать.

— Будете главным...— говорю я ему.

— Видно будет.

«С главным у него на эту тему наверняка был разговор»,— думаю я и пишу заявление об увольнении с должности главного врача по собственному желанию.

Приезжаю к Ирек Галимзяновичу, выждав в приёмной, захожу, здороваюсь, но не за руку; между нами во всём напряжёнка. Сажусь без приглашения напротив. Главный, делая вид, что у него есть более важные дела, смотрит на лежащую перед ним бумагу.

— Замена мне есть, буду заниматься лечебной работой, писать истории болезни,— говорю я и кладу перед ним заявление.

Он пробегает глазами по строчкам, хмурится и отодвигает заявление с неестественной деланной улыбкой.

— Это зря. Коллектив вас знает. Вы уже в курсе,— кривя губы, говорит он.— Вспомните, как начинали. Новый доктор ещё очухаться не успел.

— Так всё равно будет приказ! — стараясь поймать взгляд бегающих его глаз, говорю я.

— Кто сказал? — настороженно спрашивает он.

— Всё к этому идёт.

— Это вам кажется. Дела у вас сейчас уже идут неплохо. А ему до главных ещё далеко.

Мне кажется, что в его словах есть смысл, я по наивности ему верю и забираю заявление.

Сергей Иванович ведёт в стационаре две палаты по шесть человек и принимает в поликлинике хирургических больных А на дворе конец августа. Картофель ещё не вырыли, погода держится, и потому больных — раз-два и обчёлся. По всему видно, что новому доктору работа по душе.

Наблюдая, как я веду пятиминутку, как разговариваю и даю поручения завхозам, как договариваюсь с руководителями местных предприятий, Сергей Иванович наверняка думает, что главным быть почётно, работать легко, а привилегий много. Ему и невдомёк, скольких мне пришлось «обломать» и самому «наломаться».

Как-то ко мне в кабинет зашли рабочие, которые для больницы пилили ручной пилой дрова-метровки, кололи их и складывали в поленницы. Дрова были сучкастые, каждая плаха чуть ли не в пол-обхвата, в основном клён и дуб. Пилились и кололись они тяжело, и рабочие набивали цену.

— Так-то оно, да,— говорил завхоз в пользу рабочих, которые пообещали

его «подмаслить»,— что кленову али дубову сучкасту плаху распилить супроть гнилой осины — разница болъша. Пилу хоть каждый день точи. Рубля три на кубометр нужно набавлять.

Деньги выходили небольшие: семь рублей за куб и, оценив ситуацию, я согласился. Однако Сергей Иванович, бывший при нашем разговоре, возразил:

— Я бы больше пяти рублей не дал.

— Скупой платит дважды,— заметил я.

— Во, во, если не согласятся эти — покедова других найдём, без дров под зиму пойдём, и деньги пропадут,— поддержал меня завхоз, а когда Сергей Иванович вышел, добавил.— К креслу примеривается, ходит, вынюхивает, не дай Бог! Прошлый раз стоим на крыльце, вроде и в годах и голова с виду больша, а говорит: «Чё здесь главным не работать! Дал указание завхозам, сел в машину, уехал куда нужно, и все дела...».

36

Через месяц в центральной больнице созывается медсовет. В повестке: проработка очень важных приказов. Я верю и приезжаю.

Главный врач перекладывает на столе бумажки с одного места на другое, а затем обратно — видимо, нервничает. Заместитель по лечебной работе по знаку главного встаёт и начинает читать инструкцию, как вести бумаги. Все вытащили ручки, блокноты и записывают. Только я не пишу, поскольку эту информацию уже давно переслали нам по почте и она лежит у меня, как, наверное, и у каждого, на столе.

— Все дураки, а вы, Александр Леонидович, как всегда, всех умней,— замечает главный.

Наконец заместитель заканчивает нудное чтение, и Ирек Галимзянович, с ударением на каждом слове, сделав всем пространное очередное внушение, предоставляет слово заведующей терапевтическим отделением.

— В связи с тем,— говорит Алевтина Георгиевна,— что объём оказания населению помощи постоянно увеличивается, а требования возрастают, то нам нужно ещё большее внимание уделять документации.

Она сделала паузу и, взглянув на главного врача, который чуть заметным наклоном головы показал, что следует продолжить, договорила:

— Ну а поскольку среди нас сегодня присутствует Александр Леонидович, я думаю, мы должны обсудить выполнение приказов Минздрава по оказанию лечебно-профилактической помощи на его врачебном участке. Ведь, насколько мне известно, несмотря на многократные проверки, личные беседы Ирека Галимзяновича с Александром Леонидовичем, ни количественных, ни качественных изменений в его работе не произошло.

Я пробегаю глазами по окружающим меня лицам. Все они для меня чужие. Подбор кадров у Ирека Галимзяновича основательный. Только акушер-гинеколог и заместитель главного врача по оргметодработе сделаны из несколько другого теста. Акушер-гинеколог смотрит себе под ноги, и, видно, противоречивые чувства обуяли её. А заместитель по оргметодработе по-доброму смотрит на меня и подмигивает. Как он срабатывается с Ирек Галимзяновичем — для меня загадка. Вероятно, у него есть «поддержка», но это всего лишь предположение.

И только тут я соображаю, что все здесь собрались на очередное представление: снимать меня с главных. Я руку — в карман пиджака, вспоминаю, куда я положил заявление об увольнении, когда под уговорами главного забрал его обратно, но, конечно же, оно уже затерялось.

Между тем, меня уже «пустили по кругу». Я сижу, слушаю, словно речь идёт не обо мне. Глаза не опускаю, наоборот, их воротят те, кто говорит,

и молчу: ведь не вступать же с ними в перебранку. «Казалось бы,— думаю я,— здесь мои коллеги и у нас должна быть общность интересов, ан нет: мне гораздо легче, когда общаюсь с больными, а здесь мне душно, словно зажали душу меж двух досок и давят. Конечно, отдавать таким образом «портфель» мне обидно, но, с другой стороны, теперь я буду заниматься только лечебной работой, и чувство свободы переполняет мою душу.

На следующий день завхоз вызывает меня с обхода и говорит, что на этот раз на самом деле нужно чистить выгребную яму, но главбуха в сельсовете «заклинило» на ста пятидесяти рублях, в то время как Колотухин Петька соглашается только за сто восемьдесят.

Подходит кастелянша, у неё нелады: третьего дня мы на носилках отправили тяжёлого больного в центральную, положили на носилки матрац, а больного накрыли одеялом. Она наказала Гришке, который ездил за мясом, их забрать, но Гришка не забрал. Когда же на другой день она сама поехала за носилками, матрацем и одеялом в центральную, то уже не нашла концов, и это не первый случай.

После кастелянши подходит шофёр «санитарной» и просит на пять дней отгул. Ещё на столе в кабинете три заявления от медсестёр на очередной отпуск.

Я всем объясняю, что с сегодняшнего дня я уже не главный и не вправе решать все эти вопросы. Они в недоумении и говорят: «Зачем вы уходите? Мы уже к вам привыкли, а если что промеж нас на работе и было, то на то она и работа». Я по мере возможностей пытаюсь объяснить, что ухожу не по собственному желанию, но меня не понимают.

Все знают, что главным будет новый доктор, и уже по-иному присматриваются к нему. Сергей Иванович дипломатично молчит, но по всему видно, что доволен. В центральной его уже обработали, и он действительно думает, что я развалил всю больницу, дела у меня пущены на самотёк, что бесхозяйственность всем нравится и потому многие о моём уходе сожалеют.

37

Проходит три дня, неделя, десять дней — в больнице безвластие, но приказа о новом назначении нет. Это местная тактика, чтоб поиграть на нервах. Приказ, оформленный задним числом, привезли через две недели.

Сергей Иванович взялся за работу резво.

— Я знаю, вы работали в своё удовольствие, ни за чем не следили, не вели документацию, не экономили деньги,— сказал он мне и, вызвал завхоза, потребовал у него талоны на бензин, которые, доверяя, всегда отдавали дяде Ване.

Дядя Ваня был щепетилен в вопросах честности, обиделся и демонстративно вывернув в кабинете все карманы наизнанку, в сердцах положил главврачу на стол талоны вместе с махоркой.

Со строителями, которые из своего материала делали для гаража утеплённые ворота, тоже вышла незадача: Сергей Иванович сказал, что акт на двести пятьдесят рублей, как было оговорено в договоре, он не подпишет; возникла напряжёнка. В результате дело до рукоприкладства хоть и не дошло, но в течение двух недель, прежде чем выбить деньги, строители материли, в том числе принародно, главврача крепко.

Со мной Сергей Иванович не разговаривает, и я молчу. Он думает, что все его незадачи из-за меня. Я уже не радею за хозяйство, ибо в моей душе уже проросли ростки нездорового, не поощряемого кораном и библией чувства безразличия.

Теперь в амбулатории приём хирургических больных ведёт Сергей Иванович и часто на приём не приходит или опаздывает.

— Сёдни будет хирург? — ожидая, спрашивают больные.

— Ничего не говорил, ждите, может, придёт,— отвечает фельдшерица, которая, когда приходит на приём главный, предлагает ему с клубничным вареньем чай.

Сергей Иванович не отказывается, и они в хирургическом кабинете уединяются.

Прождав час или более, больные опять спрашивают:

— Хирург сёдни будет?

— Ждите, чай, если бы не пришёл, позвонил бы,— отвечает фельдшерица.

Она карикатурно высоко стала держать голову и теперь, здороваясь со мной, уже не изображает на своём лице слащавую, искусственную улыбку.

Сергей Иванович взял за правило два раза в неделю ездить в район к главврачу за советами. Иреку Галимзяновичу, очевидно, это очень нравится.

— В таку далищу приехали, сестоль ждали, если завтра ещё приезжать, хуже заболеешь...— ропщут больные и обращаются ко мне с просьбой, чтобы я их принял.

Если больных мало, то я принимаю их один, а если много, то повторных больных с известными диагнозами принимает фельдшерица. Про то, как проходит приём хирургических больных, когда он отсутствует, Сергей Иванович не спрашивает. Ему об этом тоже никто ничего не говорит.

Он постоянно суетится, озлоблен, всеми недоволен, никому не доверяет, осунулся, и поперёк его лба пролегла новая ложбинка.

С Фёклой Алексеевной у него, как впрочем и со многими, «мышиная возня». Она, увидев, что мне привезли две машины кленовых дров, наказала завхозу, чтобы ей привезли точно таких же или дубовых, но тяжёлая порода на делянке кончилась, и теперь, понимая, что она может вообще остаться без дров, каждый день навязчиво наседала на Сергея Ивановича, но он машину не давал. При обмене мнениями Фёкла Алексеевна за словом в карман не лезла, а Сергей Иванович, чтобы не остаться в долгу и облегчить душу, на правах главного просмотрел её листы назначений и всем больным, под предлогом экономии лекарственных средств, отменил «красный укол».

— Я сама знаю, что назначать! Проработайте с моё тридцать пять лет, тогда, может, будете поумней, чтобы не совать нос в чужие дела,— ответила Фёкла Алексеевна и вновь назначила всем своим больным витамин В-двенадцать.

Но основной конфликт у него с хозяйственным персоналом. С дядей Ваней из-за того, что, выдавая счётом ему талоны на бензин, он подсчитывает по спидометру пробег и вычисляет количество израсходованного бензина. Получается перерасход.

— В конце месяца буду за перерасход вычитать из зарплаты,— говорит он ему.

— Чему вас только в институте учили?! — удивляется дядя Ваня, говоря, что в этом разбирается наверняка даже всем известный в деревне Колька-дурачок, и поясняет: машинёшка старая, поизносилась, пора уж списывать, а дороги у нас ухабистые и ездить приходится часто так, что колёс из грязи не видно, да ещё с полным кузовом людей, так что всё больше на первой скорости да на второй — как не будет при этом перерасхода?

— А мне какое дело,— возражает главврач.

Всё кончилось руганью, а на другой день, сказав, что у машины спустило колесо и застучал мотор, дядя Ваня надолго поставил машину на прикол.

С завхозом у него тоже незадача. Став главным, Сергей Иванович первым делом вызвал Анатолия Петровича в кабинет и сказал, что хватит валять дурака, нужно работать.

— А никто и не валяет. Как можем за таки деньги и работаем,— ответил завхоз.

— Я знаю, как вы работаете! И главный врач района тоже говорит: распустились все!

— Он скажет. Со стороны всем кажется, что окромя них никто не работает. А как при нём работали, так и сейчас.

— Почему машина не ездит? Шофёр говорит, поршня нужно менять.

— А где я их возьму! Разве что рожу! За так мне ничего никто не даёт.

— А мне какое дело!

— Вот-вот, у нас никому ни до чего дела нет, а завхоз давай! Сейчас за гайку бутылку спрашивают, а тут поршня! Схожу в дорожный, спрошу,— сказал с утра завхоз и как сквозь землю провалился, появившись только к концу рабочего дня навеселе.

Зашёл к Сергею Ивановичу.

— Вы где были целый день?

— Как где? — развалившись на стуле, ответил Анатолий Петрович,— За кар-р-р-бю-р-р-атором... Не дают. Пускай, говорит, сам главный придёт, попросит.

— А выпивши почему?

— Кто?!

— Вы.

— Я-то?! Ну и что, если рюмку для аппетита принял?! Подумаешь, какая беда!

— Я вам прогул за пьянку поставлю, табель не подпишу.

— Какой прогул?!

— За то, что пьянствуете каждый день.

— Кто?

— Вы! Не оплачу!

— Ну! Одним днём напугал! За то, что выпил на свои!

— Разница какая: за свои или не свои, на работе, на работе!

— Как какая? Разница большая. Вот вы, Сергей Иванович, на прошлой неделе на больничной машине, как стемнело, с колхозного поля машину сена своей матери или ещё кому увезли. А я за свои пью, разница большая.

— У меня на сено документ есть,— возразил Сергей Иванович...

38

И лечебная работа не заладилась у Сергея Ивановича.

Первую операцию он сделал семидесятидвухлетнему пациенту. Больной лежал в палате у Фёклы Алексеевны и жаловался на боли справа в нижней части живота. Боли были незначительные, симптомы отрицательные, и потому больной получал только инъекции пенициллина. Однако больной проявил инициативу и сам подошёл к хирургу. Сергей Иванович его осмотрел и сразу озадачил, сказав, что, если его не прооперировать, то от апендицита ему не только станет плохо, но он даже помрёт. Больного ещё ни разу в жизни не осматривал хирург, и он согласился. Была дана команда, все стали лихорадочно готовиться к операции. Санитарки в операционной всё, что можно было, намыли хлорной водой. Старшая, она же по совместительству операционная медсестра, поставила кипятить весь имеющийся инструментарий. У привинченной к потолку лампы заменили все лампочки на более мощные. Только возникла проблема с бритвой, чтобы обрить больному операционное поле. Больничной бритвы не нашлось, взяли у больных и обрили даже там, где не нужно.

На этот раз Сергей Иванович сам позвонил в поликлинику и сообщил, что на приём не придёт — операция, и пока шли в течение двух с половиной часов

приготовления, очевидно, готовился морально.

На стол больного положили в конце рабочего дня. Окна операционной непривычно ярко светились, и редкие прохожие, завидев свет, останавливались, но через замазанные краской стёкла ничего не было видно. «Ишь, кого-то подпёрло, не приведи Бог! Хорошо ещё, что хирург есть»,— очевидно, думали они.

Я тоже после работы посматривал на окна операционной — не закончилась ли операция. Как-никак этого больного принял в поликлинике и направил в стационар я. Но свет горел и горел. Обычный не осложнённый аппендицит опытный хирург оперирует менее часа, а тут с начала операции прошло более двух часов, а свет всё горит и горит. «Наверное, что-нибудь серьёзное»,— подумал я, не вытерпел и позвонил на пост.

— Оперируют,— ответила медсестра.

— А что у больного, перитонит?

— Не говорят, оперируют. А старику, видно очень больно, не знай какими словами ругается. Чтобы не дёргался, его за ноги, за руки привязали к столу, и санитарки ещё держат.

Операция продолжалась шесть часов, а наутро операционная сестра собравшимся перед пятиминуткой на крыльце рассказывала:

— Делали под новокаином. Вначале Сергей Иванович разрезал живот, как обычно, немного, искал, искал, а аппендицит найти не может. Пришлось живот дальше резать, пока копались, анестезия от новокаина стала проходить. Больной, ещё ладно, терпеливый попался, но всё равно стал кричать. Хорошо, что ему руки заранее к столу привязали, а то неизвестно бы чего было... Потом ногой он стойку сбил, стал двигаться и кишки все со стола на пол свесились. Санитарок позвали, они втроём навалились на него, а общий наркоз Сергей Иванович делать не умеет. Пока кишки промывали, пока живот зашивали, не знай сколько времени прошло, а аппендицит под конец уж и не искали. Ещё операцию не закончили, с Нюрой-санитаркой, которая за ноги его держала — ни разу на операции баба не была — плохо стало. Тут же на кушетку её положили, сделали сердечный укол, валокардином стали отпаивать. Только вроде она очухалась, глядим, больной побелел вдруг как полотно, давление упало. Сергей Иванович говорит: наверно, кровотечение в животе — давай, дураки, опять швы распускать. Глядим: в животе сухо. А вены спались, иголкой не попадём, и давай мы на стопе вену выделять. Опять не знай сколько времени прошло. Как жидкости прокапали, больной, вроде бы пришёл в себя. «Ну, слава Богу! — думаю,— никто не умер»,— а саму всё трясёт. Сердце зашлось, всю ночь не спала и утром встала — сама не своя. А у Сергея Ивановича после операции тоже руки трясутся. «Я — говорит,— виноват, что ли, что больной попался такой?!» А как больной пришёл в себя, говорит ему, чтобы успокоился, что операция прошла нормально, отросток, мол, удалили.

На пятиминутке все, кто с осуждением, а кто с лёгкой иронической улыбкой, посматривали на Сергея Ивановича, но по выражению его бледно-жёлтого лица нельзя было понять, что у него на уме.

— Нужно работать лучше, чуть-чуть, и не уходить с работы раньше положенного,— неожиданно для всех сказал он.

Его так и окрестили: «Чуть-чуть», а больничные мужики — за то, что он всегда неулыбчив и на взводе: «Смурной».

39

А скоро новая, ещё большая оплошность. На одном из медпунктов сорокалетней женщине, заведующей детскими яслями, по назначению невропатолога центральной больницы в локтевую вену сделали сернокислую магнезию.

На другой день в месте инъекции возникла припухлость. Случай не редкий: подумаешь, инфекция — поболит и пройдёт. Наложили, как и всегда в подобных случаях, повязку с мазью Вишневского, но лучше не стало. Вниз и вверх от локтевого сгиба поползли краснота, синюшность и отёчность. Температура в первые дни была небольшой, но затем стала высокой и постоянной. Из медпункта больная была направлена в нашу больницу. На попутной машине она добралась до поликлиники, ожидала хирурга с утра несколько часов, потом с высокой температурой была госпитализирована на раскладушку в коридор, а через несколько дней, когда освободилось место, в одну из хирургических палат.

На одной из пятиминуток Сергей Иванович сказал, что у больной ничего особенного, нагноилось чуть-чуть. А она робкая, тихая, да и из-за слабости не возмущается. Перевязки ей делала молоденькая медсестра: развяжет в перевязочной, покажет хирургу и опять всё с той же мазью Вишневского завяжет — всё как будто бы как нужно: лечится в больнице.

Через месяц после поступления больной в стационар подходит ко мне старшая сестра и просит пройти в перевязочную, посмотреть её.

— Так её же ведёт Сергей Иванович! К тому же я не хирург. И наверняка ему это очень не понравится, другое дело, если бы он меня попросил,— говорю я, но по лицу старшей сестры вижу, что посмотреть нужно, и мы проходим в перевязочную.

Глянул и ахнул — не доводилось ещё видеть такого. Вспомнил анатомический театр, где на занятиях в студенческие годы мы изучали анатомию. Выловишь из ванны с формалином руку, а мышцы уж отпрепарированы, размочалились — и здесь примерно такая же в области локтевого сгиба рука, но у живой. «Наверно, гангрена,— думаю я,— нужно ампутировать!» — а больная смотрит на меня, в глазах безумное безразличие — и молчит.

— А что хирург? — спрашиваю старшую.

— Ей, вчера говорит, стало лучше чуть-чуть.

«Руку нужно ампутировать, но больная от заражения крови не сегодня-завтра может погибнуть»,— думаю я и иду звонить в центральную.

У главного врача телефон не отвечает. У заместителя по лечебной работе тоже. Они в это время на месте — просто не берут трубку. Звоню в хирургическое отделение заведующему. Взволнованно и, очевидно, невнятно объясняю.

— А где ваш хирург?

— Уехал.

— Куда?

— Ничего не сказал,— словно во всём виноватый, отвечаю я и прошу его к нам приехать.

— У меня операция...— и ещё пять непечатных слов.

— Так больная погибает!

— А вы хотите, чтобы я за вас голову подставил?!

— Так как же быть?

— Передай своему... чтобы он... завтра больную сюда привёз.

— Так она может до завтра умереть! — Но заведующий уже повесил трубку.

Я записываю консультацию с заведующим хирургическим отделением в историю и кладу её Сергею Ивановичу на стол.

После обеда сижу на приёме. Подходит фельдшерица и с особой улыбкой:

— Вас к телефону...

По этой улыбке догадываюсь: звонит главный. Беру трубку.

— Давайте договоримся,— слышу взволнованный, срывающийся голос,— если вас не просят, моих больных не смотреть! Я здесь главный! Без меня в центральную...

— Так больная помрёт!

— Я хирург, я за неё отвечаю. Если не понимаете, не вмешивайтесь! Сами работайте лучше чуть-чуть.

Наутро больная умерла. Умерла тихо, никто даже и не заметил. Медсестра подошла делать укол, а больная не дышит. Отмучилась. Позвонили Сергею Ивановичу.

На пятиминутке дежурная медсестра о скончавшейся больной не сообщила — хирург предупредил, но говорок пошёл. Меж сестёр, санитарок, больных говаривали: «Сделали в вену укол, нагноилось, и от заражения крови умерла. Одно слово: убили! Вот и верь после этого докторам!».

И в центральной больнице молчок. Вскрыли и отдали. Ни комиссий, ни разборов, ни медсоветов, словно ничего и не произошло. Как у нас говорят: «Кому нужно?».

Но повернулось всё несколько иначе.

После этого как про случай стали забывать, прошёл слушок, что поступила жалоба и из центральной больницы поступила директива: готовиться. Санитарки, наводя марафет, выгребали у больных из тумбочек невыпитое лекарство, драили стены, полы и говаривали: «Это брат её, больше некому написать. Мать полуграмотная, а муж — креста на нём нет — не успел жену похоронить, с другой схлестнулся. А брат грамотный и правильно сделал. Как на похороны приезжал, так к главному приходил, спрашивал, от чего умерла».

Всполошилась и Фёкла Алексеевна. Она перестала после обхода смотреть на кухне телевизор и про Сергея Ивановича говорила:

— Всё придирался, придирался ко мне, но Бог правду видит. Так ему и надо! Прошлый раз гляжу, а у него глаза, ей-Богу, жёлтые. Видно, желчь вся в кровь поступает, поэтому и злой. Прошлый раз проснулась ночью, гляжу, а у него в окне свет... Видно, все свои истории переписывает. Я тоже сейчас в два раза больше прежнего пишу. Голову ломаю, не знаю, что и писать.

«Фёкла Алексеевна всегда, как чё, так заболеет»,— говорили санитарки и сёстры, предполагая, что ко дню приезда комиссии она не выйдет на работу, и действительно, Фёкла Алексеевна скоро «заболела желудком».

В больнице же не только наводили марафет, но и на всякий случай, чтобы действовать по ситуации, запаслись коньяком и столичной, однако в предполагаемый день никто не приехал. Лишь только через неделю за два часа сообщили, что приедут, но приехала не комиссия, а солидный товарищ — главный хирург Минздрава области.

Не успела машина остановиться, как главный врач района, сидевший на заднем сидении, проворно, словно ловко обученный швейцар, выскочил из машины и, перегибаясь в пояснице, открыл переднюю дверцу.

С переднего сидения тяжело сполз на землю маленький, но чрезвычайно толстый главный специалист, оправил на себе входившее в моду кожаное пальто и упёрся взглядом в стоящую около крыльца кобылу, на которой больничный конюх Иван Иванович привёз из аптеки медикаменты. Кобыла в этот момент, задрав кверху хвост, оправлялась. Главный хирург, унюхав исходивший от помёта естественный запах деревенской жизни, пошмыгал носом.

— Надо бы на крыльцо! — показывая глазами на помёт, бросил он главному и стал подниматься по ступеням.

Ирек Галимзянович, забежав вперёд, открыл перед ним дверь, и нужно было обладать большим воображением, чтобы, глядя в этот момент на него, разглядеть в нём прежнего человека.

— Вам что здесь?! — не своим голосом цыкнул он, когда гость прошёл в дверь, на Гришку, Анатолия Петровича и Ивана Ивановича, которые стояли на крыльце. И, показывая глазами на кобылу, которая повторно задрала хвост, беззвучно шевеля губами, мысленно их отматерил.

Мужики, ухмыляясь, сели в телегу. Иван Иванович, крутя в воздухе вожжами, тронул и рысцой пустил кобылу подальше от греха к котельной.

Высокие гости вошли в кабинет, но, как на грех, куда-то запропастился Сергей Иванович, и его стали суматошно искать всей больницей.

Наконец «виновника торжества», который, видимо, окончательно поставил на себе крест и ушёл домой, доставили на рабочее место. Но Сергей Иванович решил, что историю болезни умершей больной лучше не показывать, и сказал, что она затерялась, чем вызвал ещё большее недовольство, даже гнев высоких гостей. Поэтому заново переписанную историю и лист назначений пришлось представить.

Но это был не тот случай, когда можно было спрятать концы в воду. Была здоровая, работающая женщина, а сделали укол — и померла. Попробуй оправдайся!

Больничные ждали, что будет разнос, а по местным меркам в этом случае начальник если не матерится, то поднимает голос минимум октавы на две. Но в течение получаса, на удивление всем, из кабинета не было слышно ни звука. Затем дверь открылась, из кабинета в том же сопровождении вышел главный хирург Минздрава и, не заходя в отделение, которое в течение десяти дней драили санитарки и сёстры, направился к машине.

Кряхтя и отдуваясь, он неловко залез на переднее сидение, заметил главному, что, сколько он ездит по районам, в первый раз ему додумались подать не «жигули» или «волгу», а такую «тачку», и укатил восвояси.

И опять по делу об умершей больной тихо.

40

Ничего никому не говоря, Сергей Иванович вдруг стал каждый день ездить на учёбу в хирургическое отделение центральной больницы. Больничные у нас судачат: «Переучивают зазря мужика. Раз руки не тем концом воткнуты да «котёл не варит», учи не учи — всё равно толку не будет».

А на дворе — дело к зиме, но угля не припасено.

— А что мне,— рассуждает завхоз,— уголь на три рубля подорожал, выпишу на свою шею, главный скажет: дорого. Пускай сам выписывает, раз хочет всё дешевей.

Жизнь в нашей деревне течёт ни шатко ни валко со своими новостями. Пятиминутки, пока наш хирург набирается в центральной ума, не садясь в кресло главного, провожу я. Обычно я прихожу раньше всех и через дощатую дверь кабинета слышу, как, собираясь к пятиминутке, судачат о новостях бабы.

В прошлый раз Нина Ильинична говорила, что девчонки из амбулатории третьего дня справляли Павлухиной Надьке именины. Купили бутылку красного, принесли кое-какой закуски и стряпни. Как больных проводили, сели за стол, сидят кайфуют. А у Надьки муж — сам кобель, всё с ... путается, а ревнивый. Сидят, уж хотели домой собираться, слышат, под окном кто-то скребётся, в ставни как будто бы заглядывает. Тоська-санитарка вышла проведать на крыльцо, глядь: стоит мужик с топором. Он как увидел её и побежал, думал, не узнают в темноте, а был то Надькин муж.

Надьке как сказали, так вся она и обомлела, девчонки проводили бедняжку до матери ночевать. А так, если трезвый, мужик работящий, новую избу ставит. Но как напьётся, глаза нальются, за топор — и побежал за Надькой ревновать. Прошлый раз новые туфли топором на мелкие кусочки нашинковал.

— А третьего дни сцепились в магазине, видно, сразу обе без очереди за хлебом полезли, Губаня с Лизой,— вступает в разговор сестра-хозяйка.— Вначале матюкались, а как дело до волосьёв дошло, кой-как мужики расце-

пили. Лиза-то оказалась послабее, вырвалась, оставила пуховый платок и убежала, а Губаня его в сердцах-то в грязь.

— Чего для Лизы пуховый платок, она ещё наторгует,— замечает Нина Ильинична.— Их обеих нужно на сельхозработы посылать. От жира бесятся!

Губаню у нас на селе знают все, и прозвали её так потому, что у неё очень толстые губы, жирно и неряшливо накрашенные дешёвой ярко-красной помадой, которая размазывается по её развратному лицу. Живёт она тем, что ловит на дороге шофёров... Многие её знают и сами к ней по привычке заезжают, как на постоялый двор.

У неё две нажитых от разных мужиков девки. Старшей дочери — Груньке уже тринадцать. Школу она бросила и «промышляет», а младшая без присмотра. Глубокой осенью порой можно видеть, как по замёрзшим лужам, семеня босыми ножками, в одной распашонке, бежит по двору за Губаней, заходясь в крике, её младшенькая дочь. «У других бы так содержать, давно бы околели, а им — хоть бы что!» — удивляются все.

Лиза тоже не работает, но, в отличие от Губани, спекулирует на районном рынке. Официально она состоит на учёте в «дурдоме», и у неё инвалидность по психическому заболеванию, но в деревне говорят, что она не дурочка, а только прикидывается и живёт припеваючи.

В девять часов я приглашаю всех на пятиминутку. На меня никто обязанности главного врача не возлагал, и я, да иначе это и будет всеми понято превратно, инициативы не проявляю, что всех устраивает: никто никого не дёргает, а лечебная работа идёт как обычно.

Оба завхоза ко мне после пятиминутки не заходят, каждый занимается, как и весь хозперсонал, кто во что горазд.

Сергей Иванович каждый день приезжает после учёбы из центральной больницы, но делами не интересуется и в нашу больничку не заходит.

41

Кроме нашей, в районе ещё три участковых больницы. В двух из них, как главным стал Ирек Галимзянович, главные врачи сменились — не сработались. Сейчас там заправляют, как и я, молодые доктора. Со всеми я в приятельских отношениях, но видимся мы очень редко. В самом ближнем к нам участке главным — Козлов Славик. Как-то по дороге в центральную у него поломалась машина и её отбуксировали к нам в гараж. Славка — славный малый, по специальности — хирург. Говорят, что к нему один раз привезли больного с ножевым ранением в область сердца, и он пропунктировал перикард. Больной остался жив, а о нём среди врачей с тех пор местная слава. У него с Иреком Галимзяновичем тоже трения.

По случаю встречи мы, конечно, сымпровизировали.

— Вызывают вдруг на прошлой неделе телефонограммой в райком,— рассказывает он после первой,— а главное, к восьми утра и подпись первого секретаря. Ну, думаю, на токах зерно гниёт! Нужно опять народ посылать. Все дела бросил, приезжаю, а в приёмной у первого уже все главные врачи с участков и Ирек Галимзянович, ходит туда-сюда. Мы гадаем: зачем вызывали, а он не разговаривает, губы закусил и мрачнее тучи. Ждём полчаса, час. Спрашиваем у секретарши, а она — вся из себя: «Ждите, когда нужно будет, позовут». Один из нас хотел было на улицу выйти, покурить, так главный побледнел — вдруг позовут!

Наконец, у секретарши звонок — вызвали. Входим в огромный кабинет, как в нашей больнице конференцзал. Мы думали у первого совещание, поэтому нас не вызывает, а он, оказывается, сидит один, проводит психологическую подготовку. Потолки высоченные, диковинный дубовый паркетный пол, посреди кабинета огромный, для заседаний стол, рядами телефоны. Мы сто-

им кучкой у двери, а первый сидит за столом, смотрит бумаги и словно нас не замечает. Я чуть кашлянул. Главный зыркнул на меня и — дёрг за пиджак сзади, по сердцу аж холодком. Минут, наверно, десять нас не замечал, а мы толчёмся, с ноги на ногу переступаем. Потом на нас посмотрел, словно вспоминая, кто мы, но к столу не приглашает.

— А, это ты! — обратился наконец к главному.

Наш вытянулся, построил нас в шеренгу, сам встал на полшага вперёд. Первый встал и, словно позабыв про нас, прошёлся по кабинету. Одет, главное, на улице встретишь и не подумаешь, что первое в районе лицо. А мы все при галстуках, заранее предупредили: без ошейников — ни-ни!

Подходит к нам, глаза вскинул. Наш Галимзяныч побледнел, а нам чудно, ещё не знаем, зачем позвали. А первый остановился перед Галимзяновичем и неожиданно для всех кулаком ему под нос. И глазами его сверлит, сверлит.

— Где,— спрашивает,— партбилет?

Ибрагимыч наш, бледный как мел, достаёт трясущимися руками.

— Неужели на самом деле кулаком? — удивился я, представляя, какое в это время было у главного лицо.

— Честно, у других спроси,— заверил Славик.— Потом первый спрашивает:

— Почему партбилет не в обложке? — Ибрагимыч стоит, по лицу уж пятна пошли.

— А что ему ещё остаётся делать! — улыбаясь, замечаю я.

— А почему,— говорит,— партвзносы за последние два месяца не заплатил? За что только,— говорит,— тебе зарплату платят?

Взял и выкинул партбилет к порогу.

— Сдай,— говорит,— в сектор учёта. Мы,— говорит,— ещё с тобой на партбюро поговорим.

Короче, выгнал из кабинета, словно собаку из церкви.

Мы оробели, продолжаем навытяжку стоять. А он опять, словно нас нет, прошёлся несколько раз по кабинету, смотрит под ноги, мрачен, и видно, как ходят желваки. Потом остановился напротив нас.

— Убивцы! — выкрикнул громко, не скрывая гнева, а у нас мурашки по спине, стоим, замерли, не дышим.

— Кто,— говорит,— Мандрейкин?

— Я,— ваш Сергей Иванович лепечет, словно с того света.

Первый показал ему пальцем перед строем. Сергей Иванович сделал полшага вперёд, встал, будто палку проглотил.

— Тебя,— говорит,— чему учили?

— Я,— ваш говорит,— в институте без двоек учился.

— А почему же ума нет? А может тебя в дерьмо посадить и, как в средние века, по улице провести?!

А потом целую лекцию первый прочёл: зачем нам деньги платят. Затем посмотрел на Сергея Ивановича и спрашивает:

— Тебя когда в последний раз пороли?

— Как?!

— По голому месту.

— Не помню.— Сергей Иванович еле шевелит губами.

— Дурак! Сколько лет работаешь у меня в районе?

— Три месяца.

— Ещё раз нашкодишь, по миру пущу.

Потом поостыл, с каждым познакомился, спросил: кто, когда закончил мединститут, где работает. Короче, поиздевался, а в конце говорит:

— Дерут вас мало,— и отпустил.

Выходим из райкома, а Ирек Галимзянович — тут как тут.

— Ко мне в кабинет! — сказал и глазами пожирает. Видимо, хотел тут же

после унижения поднять свой авторитет. Приехали в центральную, заходим к нему в кабинет. Он сразу же — копировать первого секретаря. Хотел было нас выстроить в ряд, да не получилось. Остался стоять только Сергей Иванович. С ним и поиграли в райком.

— Хотя, откровенно сказать, поиграли по делам. Как можно не заметить, что у больной гангрена руки, и ничего не делать — ума не приложу,— заключил Славик.

42

Через несколько месяцев, уже зимой, в нашу больничку пришёл на приём к хирургу крепко сложенный, лет сорока мужчина. Три дня назад он, неся в баню в каждой руке по ведру воды, поскользнулся и крепко ударился головой о лежащее у тропки бревно. Потери сознания не было, но у несчастного появились нарастающие интенсивные головные боли. Думал, пройдёт, глушил боль анальгином и водкой, но голову словно стянуло обручами, и он вынужден был обратиться в больницу. Пришёл на приём к нам с утра, а хирургический приём после обеда. Ожидать с головной болью невмоготу, и больной направился в недалеко расположенный от амбулатории магазинчик, где втихаря торговали горькой вразлив. К несчастью, за больным из окон амбулатории подглядывала регистраторша Нина Ильинична и о своих догадках доложила Сергею Ивановичу.

— Ну-ка дыхни,— сказал Сергей Иванович больному, который был несколько заторможен, а на голове у него всего лишь была небольшая шишка.

Больной дыхнул.

— Пить нужно меньше чуть-чуть,— сказал Сергей Иванович пациенту и, не дав больничный лист, выпроводил его из кабинета.

Да больной и не сопротивлялся. Домой в соседнюю деревню он идти не мог и, покачиваясь, дойдя до приёмного покоя стационара, свалился на скамейку.

— Как быть? Лыка не вяжет, ни на что не реагирует. Не выставлять же на улицу, замёрзнет! — доложила главному дежурная сестра.

Больного с диагнозом «Тяжёлая алкогольная интоксикация» положили, чтобы отоспался, на кушетку в коридоре.

Наутро дежурная медсестра доложила, что госпитализированный больной с алкогольной интоксикацией вёл себя на удивление спокойно:

— Как уткнулся лицом к стенке, так и проспал всю ночь.

— А чё ему... В тепле, не под забором. И на чё только пьют?! — заметила Нина Ильинична.

Поскольку в этот день я дежурил, то после рабочего дня справился у дежурной медсестры, как чувствуют себя больные.

— Да ничего. Никого не привозили, а так всё спокойно. Тот, который вчера пьяный, пришёл, всё ещё спит.

— Это про него на пятиминутке утром говорили?

— Спит и на обед не вставал. Как я на дежурство заступила, так он, как на правом боку лежал, так и лежит до сих пор.

— А Сергей Иванович смотрел?

— Смотрели, смотрели. Сказал только, воды пить давайте, если будет просить, раз с похмелья, больше ничего. А так всё спокойно, отдыхайте.

«Непонятно. Не может же человек, хоть и с перепоя, спать почти сутки! Нужно проверить»,— подумал я и пошёл осматривать больного.

Больной лежал на правом боку лицом к стенке. Правая рука его была придавлена туловищем, посинела и затекла. Я перевернул больного на спину, попытался вступить с ним в контакт, но он ни на что не реагировал. «Да он без сознания, а не пьян»,— решил я, обратив внимание, что один зрачок у него больше другого. Зная, что это, как говорят невропатологи, «органика»,

я тщетно стал вспоминать, что бы это значило, но курс «нервных болезней» нам преподавали на пятом курсе всего около двух недель и, сдав экзамен, я почти что всё, по-студенчески, сразу позабыл.

«Если сейчас копаться в книгах, то просто-напросто потеряешь время, а к больному всё равно нужно будет вызывать невропатолога, или, поскольку в районе нейрохирурга нет, хирурга»,— решил я и стал звонить в центральную.

К счастью, главный оказался в кабинете.

Ирек Галимзянович молча, настороженно меня выслушал. Всё это ему явно не нравилось, но переспрашивать и оценивать ситуацию с медицинской точки зрения он не стал — видно, помнил, как первый секретарь крутил перед его носом кулаком. Когда я изложил суть дела, возникла пауза.

— Пришлите, пожалуйста, срочно консультанта,— повторил я.

— Ждите.

Пока нашли машину, пока съездили на дом к хирургу, пока до нас доехали, прошло два с лишним часа. Приехал Виталий Сергеевич, молодой, с десятилетним стажем, пользующийся в районе авторитетом специалист. Говорили, что он прооперировал дочь первого секретаря райкома и получил неплохую квартиру.

Словно мы давно были знакомы, не придавая значения разговорам, которые плели в центральной вокруг меня, он подал мне руку, и мы сразу стали на «ты».

— Чай, озябши с дороги,— сказала дежурная медсестра, ставя перед гостем на стол, большую чашку заваренного с душицей чая и домашнюю ватрушку.

— Раз один зрачок узкий, а другой широкий, значит, кровоизлияние под мозговую оболочку,— заметил Виталий Сергеевич и спросил:

— Травма была?

— Четыре дня, как упал о бревно головой.

— И к вам на своих ногах пришёл?

— На своих, вчера утром.

— И что же?

— После обеда был на приёме у Сергея Ивановича. Он его даже класть не хотел.

— Это в его стиле. Нужно было сразу оперировать, а сейчас, может быть, уже и поздно. Кстати, в диагностическом отношении — типичная ситуация.

— В первый раз такого больного вижу,— в своё оправдание сказал я, подсовывая ему историю болезни, однако Виталий Сергеевич отложил историю и направился в палату.

Осматривая больного, он покачивал головой. Затем, желая привести пациента в чувство, легонько ударил его справа и слева по щекам, но больной на это не отреагировал.

— С операцией опоздали. Отёк и сдавление мозга. Не сегодня, так завтра погибнет.

— Может, попытаться. Мужик здоровый, до этого ничем не болел. У нас ведь всякое бывает,— несмело возразил я.

— Чудес не бывает. У него уже прерывистое дыхание. Поражён дыхательный центр. Если бы протрепанировали сразу, как обратился в больницу, тогда другое дело.

Я в своё оправдание стал говорить, что как только осмотрел больного и заметил у него расширение одного зрачка, так сразу же стал звонить, но Виталий Сергеевич, не слушая меня, прошёл в кабинет, взял историю болезни и прочитал на её лицевой стороне клинический диагноз: «Тяжёлая степень алкогольного опьянения».

— Если больной погибнет с таким диагнозом, то могут не только не вы-

платить по больничному листу, но могут возникнуть осложнения по пособию для семьи в связи с утерей кормильца,— заметил он, затем сделал в истории болезни короткую запись и продолжил: — Вот не поверите, сегодня с семи утра на ногах. Вначале две большие операции, потом пошёл на обход, в истории даже пару строк нет времени черкнуть, а тот, кто не может оперировать, ездит по району с проверками. Да и ваш, наверно, хирург, за большую зарплату, сейчас лежит на диване, поплёвывает в потолок.

— А мы его позовём...

— Зачем?

— Чтоб не поплёвывал в потолок.

— Ради Бога! — Виталий Сергеевич, в том смысле, что не нужно, сделал выразительный жест рукой и стал рассуждать о том, что, если он не сделает операции, то завтра на пятиминутке наверняка тот, кто не сделал ни одной трепанации, скажет, что нужно было оперировать, ибо врач должен бороться за жизнь пациента до последнего дыхания.

— Тогда готовимся к операции?

— Выходит, так...

Я попросил санитарок вызвать операционную сестру и прокварцевать операционную.

Скоро прибежала старшая сестра и, говоря, что только что подоила корову, стала показывать Виталию Сергеевичу имеющийся в наличии инструментарий.

— Всё, всё, что душа желает, есть. Работай только, не ленись,— говорил Виталий Сергеевич, показывая, что нужно положить в стерилизатор, затем прошёл в операционную, осмотрел операционный стол и, проверив освещение, попросил поставить сбоку ещё одну лампу.

Пока брили больному голову, пока санитарки, растворив в ведре воды горсти две хлорки, мыли в операционной полы и кварцевали её, пока в двух больших стерилизаторах кипятили инструменты, прошло часа полтора.

Наконец больного на носилках принесли в операционную и положили на операционный стол. Я впервые присутствовал на операции по трепанации черепа и удивлялся примитивности, в наше-то время, техники её исполнения. Особенно меня поразило, как Виталий Сергеевич сверлил ручной дрелью теменную кость. При этом один конец ручной дрели, которую Виталий Сергеевич поддерживал левой рукой, упирался ему в живот, а вращающийся конец с буром упирался больному в затылок. Правой рукой Виталий Сергеевич крутил рукоятку, и бур вращался.

— Техника — на грани фантастики! Так, просверлив кость, по неосторожности можно провалиться в мозговое вещество,— сказал я, на что Виталий Сергеевич заметил, что в настоящее время и в областной больнице, насколько ему известно, сверлят такой же дрелью и что подобных осложнений, поскольку в конце сверления крутишь дрель очень осторожно, практически не бывает.

Просверлив в кости небольшое отверстие, Виталий Сергеевич, действительно, обнаружил под мозговой оболочкой свернувшуюся кровь и, насколько позволял доступ, осторожно извлёк оттуда пинцетом тёмные, уже не свежие, сгустки крови. Затем он просверлил ещё два отверстия, пропилил пилочкой между отверстиями кость — получилось в форме треугольника «окно». По всему «окну» были сгустки крови, которые Виталий Сергеевич осторожно убрал пинцетом и промыл мозговые извилины новокаином.

— Всё равно всё ещё не извлекли,— заметил я.

— Да, впечатление такое, что гематома очень большая. Бывают случаи, что она распространяется и на всё полушарие. Чтобы определить локализацию, за границей и, очевидно, кое-где у нас, кое-для кого делают компьютерную томографию. Там всё видно: и какое делать «окно», и где сверлить,

а мы — по-гиппократовски. Кстати, тогда тоже, очевидно, таким же способом сверлили черепа. По раскопанным черепам это определили, я где-то об этом читал. Но в данном случае больной, хоть бы сам Гиппократ делал трепанацию, всё равно бы погиб. Вон какой отёк мозга!

Виталий Сергеевич пальцем надавил на мозговую ткань, которая выпирала словно камера футбольного мяча через проделанное в кости «окно».

Как Виталий Сергеевич и предполагал, больной под утро скончался. Об этом доложила на утреннем рапорте дежурная медсестра.

— Я так и знал, нужно было поменьше пить чуть-чуть,— заметил Сергей Иванович.

На этот раз жалобы не было. Не разбирали этот случай и на медсовете в центральной больнице. После этого я часто думаю, что подобная ситуация может произойти не только с каждым, но и со мной. Только медстатистик Галя поставила в графе «число умерших», где нет градаций — умер ли человек на старости лет от хронических заболеваний или же не без помощи врачей,— ещё одну единичку, на которую никто не обратит внимания.

А на сердце у меня тяжело и крепнет желание уехать, не отработав срок. Работать стало не только неинтересно, но и тяжело. Тяжело на сердце за эти две смерти, в которых отчасти повинен и я, но главное: аналогичные ситуации могут в дальнейшем повториться и в силу сложившихся обстоятельств, возможно, я не смогу их предотвратить.

С Сергеем Ивановичем сейчас мы не только не разговариваем, но часто и не здороваемся. Про него пошла молва, что у него «тяжёлая рука», и он лютой завистью мне завидует. Просматривая мои истории болезни, он через старшую сестру делает мне замечания не только по оформлению, но и по терапии, хотя знаний у него в этой области, мягко говоря, не больше, чем по хирургии.

Особенно Сергею Ивановичу не нравится, что местное начальство предпочитает не лечиться у него. Он дал Нине Ильиничне распоряжение: всех начальников, независимо от того, что у них болит, направлять к нему, но от этого ничего не изменилось. Кто же пойдёт на приём к врачу, зная, что это может быть ему во вред?

— Уезжать вам нужно, не приживётесь вы здесь. Смотрю я на вас, всё вы о чём-то думаете, какой-то не как все, посторонний. Вот и я так,— говорит мне сосед по улице дед Алексей.— Тоже всё не любил, когда мною командовали, и через это многое хватил. Всё думал, что лучше будет, а так и жизнь прошла, как один день, словно к печке прислонился, и всё в нужде. А вам что?! Дело молодое, свет не сошёлся на этой дыре.

И я с ним согласен.

Я не отработал по распределению положенных три года, но разве главный будет задерживать такого, как я. «Ему гораздо сподручней работать с такими докторами, как Фёкла Алексеевна или Сергей Иванович»,— в очередной раз думаю я, ожидая в приёмной.

— Передайте, пожалуйста, на подпись,— прождав полтора часа и не дождавшись аудиенции, сказал я секретарю и подал заявление. Секретарь, молоденькая девушка, прочитав заявление и не найдя в нём формальных погрешностей, положила его в папку.

— Если будут свободны, завтра подпишут. Приезжайте через день,— сказала она.

Звоню через день.

— Ещё не подписали, заняты...

Звоню ещё через два дня.

— Подписали,— слышу равнодушно-официальный голос.

Николай Якушев

Вампир Карягин

Слесаря Карягина вызвали на ковёр пять минут двенадцатого. Начальник берёгся и до одиннадцати утра конфликтов избегал — самое инфарктное время.

Карягин хмуро вошёл, хмуро поздоровался и стал смотреть на поверхность директорского стола. Столы неизменно волновали Карягина, будили воображение. Вот и сейчас взором он быстро его украсил на свой вкус: газетка, селёдочный блестящий хвост, свисающие через край немощные луковые побеги, ну и... Но начальник заговорил, и фата-моргана растворилась без следа — только бледно-зелёный телефон и стакан, ощетинившийся сухими и колючими карандашами.

— Карягин! — воззвал начальник.— Ты был вчера на пятой котельной?

— Ну, был!..— уверенно сказал Карягин.

— Да ведь не был же! — и начальник разразился матом, радуясь, что жизнь уже перевалила за одиннадцать часов.

— Ну и что, что не был...—уверенно вёл свою партию Карягин.— Я Мишке сказал...

— Что — Мишке? Я кого посылал? Я тебя посылал!

— А что — Мишка не ходил? — презрительно осведомился Карягин.

— Да плевать я хотел на твоего Мишку! — взорвался начальник.— На пятой котельной, ты знаешь, какие объекты? Школа — раз, детсад — два...

— Да знаю я... Устал я с этой пятой котельной...— доверительно поведал Карягин.

— От водки ты устал,— зло сказал начальник.

Карягин скорбно усмехнулся и стал глядеть в окошко, терпеливо, как узник.

— Другим можно,— глухо сказал он окну.— А как Карягин, так всё — финиш!

— Говоришь много,— подытожил начальник.— А дело стоит. Сотру в пыль. Квартиру ждёшь? Ну, жди!

И он прихлопнул по столу ладонью.

Во дворе ребята грузовиком растаскивали трубы из общей кучи. С труб сыпался слежавшийся снег. Карягин подошёл и с полминуты смотрел.

— Мишку видали? — спросил он наконец.

— О! — откликнулся малый, мотавший на трубу трос.— Не слыхал? В реанимацию свезли. Ещё вчера. В люк упал. Вниз головой.

— В натуре?!!

— Ага! — с энтузиазмом подтвердил малый, скаля идеально белые зубы.— Начальнику ещё не говорили. Узнает — умрёт!

На крыльцо вышел мастер Мешков, могучий как танк.

— Карягин! — гаркнул он.— Дуй на пятую котельную! Вчера ещё... — и дальше сплошным матом.

— Ну да,— зло сплюнул Карягин.— Ждёте не дождётесь, когда и Карягина в реанимацию свезут! Кровососы!

Обиженный, он пошёл в мастерские и отыскал Дмитрича. Он немного посмотрел, как тот ловко орудует леркой, и сказал, откашлявшись:

— Дмитрич, как Бога прошу! Слетай на пятую котельную! Начальник запарил,— давай, давай, детсад, школа... А я не могу — горло прихватило — не вздохнуть... и вообще... Не в службу, а в дружбу, а? Бутылка за мной!

Дмитрич помолчал, но слушал внимательно. Карягин, безуспешно пытаясь заглянуть ему в глаза, шмыгал носом.

— До обеда нужно сделать — край,— изрёк наконец Дмитрич, кивая на разложенные по столу железки.

— Да там делов-то...— заныл Карягин, которого зрелище оцинкованного стола привело в исступление.— Я ж на бюллетень пойду... горло...

Дмитрич спокойными глазами чиркнул по серому лицу Карягина.

— Горло у тебя... действительно...— со значением сказал он.

— Выручишь, значит? — обрадовался Карягин.— Молоток, Дмитрич! Но я в долгу! — строго напомнил он и ушёл.

Выкатился он из гулкой темноты мастерской в несколько приподнятом настроении. Грязный снег во дворе показался ему сверкающим как свежий бюллетень.

Он ещё потолкался возле ребят в надежде выпросить трояк, выслушал пару неумных острот, обматерил мастера Мешкова заочно и, сгорбившись, ушёл.

Народ летел по Москве, не жалея ни сил, ни каблуков. Шуршащей лавой выкатывался из чрева подземки, растекался по улицам, нырял в двери магазинов и выныривал, захватывая новые массы, увлекая за собой, замирал, волнуясь, у светофоров и снова шёл, и шарканье тысяч и тысяч подошв не прерывалось в городе, как дыханье.

Карягин шёл в толпе по раскисшему солёному снегу и мечтал, как если бы он был вампиром из «видика» и пил бы из начальника кровь. Зловещие картины, мелькавшие в воображении, наполняли его душу мимолётным удовлетворением. Вообще-то Карягину нравилась жизнь в Москве — здесь было не в пример веселее, чем в его далёком родном Никольске, откуда он уже давно убыл, женившись на москвичке. Одних троллейбусов в Москве было невпроворот, и это очень его радовало. Угнетало лишь то, что денег в кармане всегда было в обрез — вот и сейчас только мятая пятёрка с карандашной пометкой 416. Карягин завернул уже в несколько точек и убедился, что сегодня это не сумма. Была ещё надежда на «Елисеевский». Озабоченный Карягин вышел на улицу Горького и устремился к подземному переходу. И тут у спуска в подземелье его окликнули.

Прислонившись спиной к парапету, стоял парень в распахнутом полушубке, под которым перламутрово синел дорогой джинсовый костюм. Да, одет парень был что надо, вот только лицо у него подкачало — было жёлтым и застывшим, будто у мёртвого. «Аккуратно одет,— подумал Карягин.— А морда нехорошая».

Жлоб этот улыбнулся дохлой улыбкой и сказал придушенным голосом:

— Слышь, друг! Купи вещь! Хорошая вещь — штатская!

И вытащил из кармана — фу ты! — накладные пластмассовые зубы, совсем как в «видике». «Во, в кон попал» — замирая, подумал Карягин. И даже про «Елисеевский» забыл.

— Хав мач? — спросил он небрежно, показывая парню, что тоже не лыком шит.

— И всего червонец,— похабно улыбаясь, ответил продавец.

Карягин вспотел — так ему хотелось заполучить зубы.

— Эх! — сказал он растерянно, теряя форс.— Пятёрка, больше нет!

Рука парня обмякла и медленно поплыла обратно. Карягин с ненавистью и тоской следил за её движением, а парень вдруг, подумав, сказал безразлично:

— А-а, хрен с ней! Давай!

Он ткнул зубы в ладонь Карягину, принял пятёрку, отвернулся и сразу зашагал прочь нетвёрдой сомнамбулической походкой.

Воспрянувший духом Карягин нырнул в гудящий подземный коридор, сжимая в пальцах драгоценную покупку. «Валька с работы придёт,— лихорадочно соображал он,— а я пасть — а-а-а!.. Или начальнику с утра... А тёща! Тёща-то!..»

Он и не заметил, как выскочил к памятнику Пушкина.

А зря — там была заварушка. Вообще заварушек последнее время случалось много, и Карягин к ним притерпелся. Он их не одобрял — что за радость таскаться по улицам с глупыми плакатами и попусту спорить с милицией! От милиции он старался держаться подальше. Но сейчас вот не уберёгся, попал в беспорядки. У памятника кто-то что-то бодро выкрикивал, взмахивая ритмично кулаком. Толпа волновалась. «Эка,— злился Карягин, пропихиваясь сквозь тепло одетых демонстрантов,— обнаглели! Рабочему человеку не пройти...» Чтобы не выронить ненароком вурдалачьи зубы, Карягин вдруг взял и приладил их во рту. «Глотку перекушу!» — захихикал он про себя и пошёл пробиваться дальше.

А в это время на другом конце толпы милиционер Еськов наблюдал за порядком, сжимая в сильной ладони длинную служебную палку. Еськов ещё только превращался в москвича — в столицу он попал из города Плавска, недавно, по набору — и поэтому смотрел на диссидентов по-провинциальному, был уверен, что все они сионисты и всем рано или поздно сидеть. Вместе с тем он их побаивался и на Пушкинскую площадь шёл против души. Лишь палка в руке немного успокаивала его.

Вдруг все метнулись, кто-то полез на памятник. Еськов напрягся и стиснул палку, ища глазами опасность. И здесь из мрака шуб, пальто, бород и ушанок прямо перед милиционером вывалился оскалившийся Карягин, с зубами. Еськов окончательно забыл, что он москвич, внутренне ахнул и, застыв лицом, врезал палкой в страшную харю.

В общей суматохе это приключение из-за своей мгновенности не было замечено, тем более, что милиционер Еськов тут же благоразумно отступил и даже отвернулся, а Карягин, зажав ладонью лоб, нырнул куда-то вбок и вполуприсяд пересёк бессознательно улицу, благо,что горел зелёный. И он довольно быстро удалился от места событий какими-то проходными дворами и переулками, но всё так же бессознательно — на автопилоте.

Дома он очухался, дрожащими руками вытащил изо рта злосчастные зубы и долго рассматривал себя в зеркале, ища следов удара. Следов не было. Он длинно и ожесточённо выматерил милиционера и приложил ко лбу мокрое полотенце. Голова раскалывалась. Однако в глубине души Карягин милицию зауважал — столь удачно она теперь была экипирована.

Голова всё же болела, и положение усугублялось тем, что ни выплакаться, ни сорвать на ком-то зло не было возможности — жена ещё не пришла с работы, а тёща, видимо, опять отправилась в гости к соседке — ругать перестройку и жаловаться на пьяницу-зятя.

Карягин пошарил в холодильнике, лелея несбыточную надежду, но из бутылок был только гранатовый сок. Он с ненавистью отхлебнул прямо из гор-

лышка и сел на табурет у стола, постанывая сквозь зубы. Это помогало, но чуть-чуть.

Потом он услышал возню у входной двери и голос тёщи, настырно взвизгивающий на лестничной площадке: «Зайду я, обязательно зайду! Ну, всего тебе хорошего!.. Зайду обязательно!..».

«Ах ты, старушка — божий одуванчик!» — с раздражением подумал Карягин и вдруг вскочил как ошпаренный. Зубы! Зубы! Он бегом слетал в ванную и с зубами вернулся на кухню. Тёща всё ещё распиналась на лестнице. «Щас устрою!» — в возбуждении шептал Карягин, прилаживая зубы и в гениальном озарении смачивая углы губ кровавым гранатовым соком. Даже голова будто притихла и, замерев, следила за событиями — что-то будет?

Тёща наконец вошла, тщательно прикрыв дверь, провозилась в прихожей и по-хозяйски зашаркала в комнаты. Карягин, дрожа от возбуждения, сидел на кухне, развернувшись лицом к двери, уперев руки в колени, и ждал. Шаги зашлёпали в кухню. «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои...» — давясь от смеха, подумал Карягин.

— Ох! — обмерла тёща, возникая в дверях.— Напугал! Думала...

Карягин, предвкушая, разинул пасть в зверской улыбке. Тёща смолкла, вгляделась и медленно повалилась на левый бок. Даже шума большого не было.

Карягин продолжал сидеть, нелепо улыбаясь. С его места были видны теперь только тёщины ноги. Ноги не двигались. В квартире стояла душная тишина, только в спальне отчётливо щёлкали стенные часы. Карягину стало страшно. Он медленно встал и на цыпочках приблизился к тёще. Глаза её на побелевшем лице были закрыты, дыхание не прослушивалось. Карягин вспомнил вечные тёщины жалобы на слабое сердце и похолодел. «Угробил старушку!» — мелькнула паническая мысль, и он бросился к телефону вызывать «скорую».

Со «скорой» он договорился неожиданно быстро. Трясущимися руками Карягин положил на телефон трубку и оглянулся. Тёща приподнималась на локте и пустыми глазами шарила по стенам, словно бы восставала от послеобеденного сна. Карягин облегчённо перевёл дух.

Тёща узрела Карягина, вздрогнула и проворно встала на ноги.

Карягин шагнул к ней, участливо бормоча:

— Ну чё ты, ну чё?

Тёща взвыла и дёрнула мимо него в прихожую. «Чёрт, про зубы-то забыл!» — выругался мысленно Карягин и попытался остановить старуху по-хорошему.

— Господи! Да что ж это делается! — заголосила она и ударилась в запертую дверь.

Чтобы не усугублять, Карягин ретировался на кухню. Сердце его стучало. Тёща, справившись с замком, уже выскочила вон из квартиры.

«Ну дела! — подумал Карягин.— Милицию вызовет!»

При воспоминании о милиции опять заболела голова. Карягин бестолково метался по квартире, но милиция не шла, и он постепенно успокоился.

«А чё? — думал он, присев на диван.— Чё я такого сделал, в натуре? Драки не было, трезвый... Не, в натуре, чего я?»

В прихожей затрещал звонок. Подобравшись, Карягин пошёл отпирать. Едва он открыл замок, дверь отбросило будто ветром, а в квартиру решительно и шумно ввалились врачи. Первый врач, ростом под потолок, с ледяными глазами и челюстью американского шерифа, пошёл на Карягина так, словно намерен был тут же применить болевой приём. В развороте его плеч угадывалась чудовищная сила. Карягин шарахнулся, а там следом уже шёл второй — совсем молодой, студент, наверное, но тоже здоровый и широкоплечий, с весё-

лым нахальным взглядом. В руках он держал какой-то аппарат. Карягин рядом с ним почувствовал себя пигмеем.

— Где больной? — суровым голосом спросил врач, шагая прямиком в комнату и сметая Карягина с пути.

— А... это...— проговорил Карягин.— Нету!

Доктор тормознул, обернулся и осмотрел Карягина с головы до пят, будто решал — не отрезать ли ему что-нибудь.

— Это,— заторопился Карягин,— была, значит, старушка... тёща, то есть... Прихватило её... упала, ей-Богу... Я — звонить, а она встала и ушла!

Врач вытянул руку, тяжёлую, как рельс, и уцепил Карягина за пуговицу, видно, боялся, что убежит.

— Ты вот делаешь ложный вызов,— доверительно сказал он,— а где-то человек умирает... Понимаешь?

Карягин молча и испуганно кивнул.

— Не понимаешь! — не поверил врач.— А за ложный вызов полагается ответственность! Вот сейчас мы тебя заберём и сдадим в милицию...

Карягин, которого уже тошнило от слова «милиция», попятился, оставив пуговицу в стальных докторских пальцах. Тот с юмором на пуговицу посмотрел и аккуратно положил на тумбочку рядом с телефоном.

— У меня не ложный! — дрогнувшим голосом сказал Карягин, у которого всё смешалось в голове.— У меня... у меня... горло болит!

Студент обидно хохотнул. Врач задумчиво почесал щёку и пошёл к выходу. В дверях он остановился.

— А ты сегодня горло водкой полоскал? — вдруг строго спросил он.

Растерянный Карягин молча мотнул головой.

— Ну вот видишь...— осуждающе сказал врач.

Студент опять заржал, и они ушли. Бетонная лестница звенела и гудела под их ногами.

А Карягин, оставшись у разбитого корыта, крыл матом коновалов, по блату отхвативших медицинские дипломы. Зубы он закинул на платяной шкаф, решив навсегда забыть о бездарно истраченной пятёрке.

Забывал он до самого прихода жены Валентины. Когда-то была она толстушкой и хохотушкой, но с ростом всеобщего благосостояния смешливость подрастеряла, продолжая, впрочем, преуспевать в полноте.

— Мамы нет, что ли? — спросила она, вставляя себя в квартиру.

Распухшую хозяйственную сумку она прижимала к животу и была от этого похожа на парашютистку.

Уходя от вопроса, Карягин льстиво сказал:

— А меня, Валентина, в жилищной очереди продвинули,— но в какую сторону, не сказал.

— Десять лет тебя двигают,— неприветливо откликнулась жена.— И ещё сто будут двигать...

— Да в натуре я тебе говорю! — возмущённо затараторил Карягин.— Начальник сам лично вызывал, тебе, говорит, Карягин, квартира светит. Теперь, говорит, жди!

Жена, сопя и стаскивая сапоги, не отреагировала никак, но задумалась. Почуяв благожелательный флюид, Карягин принялся вертеться возле жены и потом, когда она на кухне разукомплектовывала сумку-парашют, сказал с удивлением:

— Чего-то сегодня башка трещит, ну прямо разламывается! Ты, это... может, где у тебя есть бутылочка?.. Для облегчения...

— Щас!.. Я тебе десять бутылочек приготовила! — серьёзно ответила Валентина.

Карягин осёкся, но потом подумал вдруг с безумной надеждой, что в самом деле приготовила. Он их, можно сказать, увидел — эти десять бутылочек,

аккуратно выстроенных в ряд заботливой женской рукой.

Карягин ушёл тихо в комнаты и поискал в разных местах. Вскоре он опомнился и присел на диван, подумав с тоской: «Не-е, этот мент мне точно мозг повредил... Чердак поехал...».

Он пошёл к жене и зло сказал:

— Вот что, выпить дай!

Валентина набычилась, как боксёр, заслышавший первый удар гонга.

— Ты что наглеешь?! Что наглеешь?! — выдохнула она и сильно побледнела.— Распусти руки! Распусти! Я тя в милицию сдам!

Карягин застонал и впустую затопал ногами.

— Тебя, корову, саму сдавать надо! — в бессильном гневе закричал он.— Народ обворовываешь! Ты из столовой сумками прёшь! Щас позвоню — пускай берут! С поличным...

— Пускай берут! — отчаянно завопила Валентина.— Отсижу! А ты с голоду сдохнешь, скотина пьяная!

— Я себе всегда заработаю! — хорохорился Карягин.— Вот этими руками!

— И-и-и! — презрительно верещала жена.— Заработаю! — почему-то от этого слова на неё напал смех.

Карягин побагровел и напрягся, придумывая, что бы такое сказать.

— Сука бесплодная! — выпалил он наконец, намекая на самое слабое место в их супружеских отношениях.

Это действовало безотказно — Валентина тихо зарыдала, а распалённый Карягин повернулся на каблуках, мигом убежал в комнату и снял со шкафа зубы, а в прихожей в утешение украл в женином пальто пятёрку, так что теперь у него появилось как бы десять рублей в кармане. Из квартиры он выскочил злой, но решительный.

«Заели, сволочи! — с ненавистью думал он, кутаясь в полушубок и прищёлкивая зубами.— Глотки рвать, кровь пить!» Психологически он уже был в вурдалаки готов.

В город со всех сторон сбегались суетливые сумерки. Жужжа и подмигивая, затлевали фонари. Взъерошенные толпы без устали маршировали по чавкающему снегу. Многочисленные магазины, как аккумуляторы, за день насыщались электричеством и человеческой скорбью.

В один из магазинов принёс свою скорбь и Карягин. Он предусмотрительно схоронил страшные зубы за пазухой и нырнул в людской водоворот. Прилавки были плотно облеплены очередями. В винном отделе давали какой-то напиток, но за восемь с гаком. Карягин вздохнул и осмотрелся. Внимание привлёк одинокий тип с патлами и в очень грязном пальто. Взгляд у него был затравленный, и это не нравилось Карягину, но он подошёл, потому что тип явно маялся:

— Сдвоим? — сурово спросил Карягин, помахивая у патлатого перед носом пятирублёвкой.

Тот отшатнулся словно ошпаренный, но быстро разобрался в ситуации и взял себя в руки.

— Можно...— сказал он застенчиво.

— Тогда я в кассу, а ты — стой! — так же сурово распорядился Карягин и нетерпеливо протянул ладонь.— Давай монету, не телись!

Патлатый спохватился, суетливо полез в карман, выудил мятую трёшку и рубль, сжал в кулаке и беспомощно уставился на Карягина.

— Ты, значит, в кассу? — неуверенно спросил он.

— Время идёт, мать твою!..— рассердился Карягин.

Тип с сожалением передал Карягину деньги и кроличьими глазами наблюдал, как тот исчезает в глубине магазина. «Вот жлоб!» — с неудовольствием думал Карягин, выбивая чек.

Жлоб явно потерял его из виду и отчаянно вертел головой, стиснутый со всех сторон очередью. Карягин издали полюбовался его искажённым мукой лицом и наконец подошёл, небрежно протягивая собутыльнику чек.

Патлатый страшно обрадовался, сцапал чек, но тут же опять скис и панически забормотал:

— Слушай, у тебя там мелочишки не осталось, а? Взять бы чего закусить... Не могу я без закуски...

Карягин презрительно плюнул и сказал покровительственно:

— Стой тут...

И пошёл в бакалейный отдел.

Давали сыр, и стояла глухой стеной очередь. Люди, составлявшие эту стену, были мрачны и решительны, как ополченцы. Карягин топтался на месте, наблюдая, как некая измождённая дама, безумно улыбаясь, пыталась без очереди вручить продавцу свой чек. Свой поступок она ничем не мотивировала, не оправдывалась, как водится, а просто шла напролом, решив, видимо, отовариться или умереть. Крупный мужественный старик, выстоявший своё, не сказав ни слова, вытянул руки и стал даму душить. Она же всё тянулась к прилавку, не забывая при этом улыбаться, будто душили не её. Продавщица бросила работу и демонстративно ожидала развязки. Очередь заволновалась и зароптала. «Отпускайте же, наконец! Сколько можно!» Особенно неистовствовала женщина в огромной, как стог, черкесской прямо-таки папахе. «Понаехало вас тут! — кричала она, выкатив блеклые глаза.— У москвичей изо рта рвёте?» Она так орала, что появился милиционер и от растерянности строго потребовал у неё документы. Внезапно, к общему удивлению, выяснилось, что носительница страшной папахи прописана в городе Козлове, а в паспорте у неё припрятан американский доллар. Милиционер воспрянул духом и забрал козловчанку. Кто-то из толпы на прощанье злорадно стукнул её по папахе.

Продавщица плюнула и продала душимой даме сыр. Бедняга, благодарно улыбаясь, пихала кусок в сумку, а заклинившийся старик, задыхаясь от ненависти, всё тянулся к ней дрожащими руками и не говорил ни слова. Их чувства не нуждались в словах.

Карягин почесал в затылке и вернулся к винному отделу, где патлатый с выражением сладкого ужаса на лице нянчил в руках большую бутылку.

— Закусь взял? — с тревогой спросил он.

— Рукавом закусишь! — разозлился Карягин.

— Я без закуси не могу! — жалобно признался собутыльник.— Желудок как узлом скручивает!.. Р-р-раз! и всё назад!

— Не хрен, значит, пить! — заключил Карягин, забрал бутылку и крупным шагом двинулся к выходу. На фоне патлатого он чувствовал себя героем.

Улица встретила их морозцем и противным ветром. Спутник Карягина скорчился и сразу захлюпал носом. Карягин зажёг сигаретку и уверенно пошёл в темноту. Патлатый мчался за ним вприпряжку, как воробей.

Нюх вывел Карягина к обширной новостройке, тихой и тёмной, как кладбище. Вся территория была обнесена сплошной стальной сеткой, но Карягин отыскал дырку, и они проникли и зашагали к штабелям бетонных плит, смутно громоздившихся в темноте.

За плитами ветра не было. В двенадцати метрах на запертом вагончике тускло светился фонарь. Карягин выбросил окурок и осторожно извлёк бутылку.

— У тебя так не бывает,— спросил вдруг патлатый,— с похмелья как будто душит вот тут и будто сердце останавливается?

— Щас оно у тебя пойдёт! — заверил Карягин и передал ему бутылку.— Отпирай!

В голову ему пришла замечательная мысль — сейчас он незаметно вста-

вит зубы и пугнёт этого мозгляка. Беспокоило его только, что света маловато — тот может не понять, в чём соль.

— Боюсь,— бормотал мозгляк, возясь с пробкой,— без закуски! Р-раз — и назад!

Карягин, отвернувшись, быстро приладил зубы и, наклонившись к самому лицу собутыльника, ощерился как можно шире.

— Не боись! — торжествуя прохрипел он.

Патлатый глянул и тоненько вскрикнул «Ах!».

Бутылка выскочила из его рук, ударилась об острый угол плиты и рассыпалась на куски. Спиртное с мокрым звуком ушло в снег, и в морозном воздухе остро и сладко запахло.

Патлатый, бледнея, смотрел Карягину в лицо и не мог оторваться.

Карягину вдруг стало жарко и тошно. Он сдёрнул с головы шапку, зачем-то присел на корточки и потрогал пальцами проспиртованный снег. Потом он поднялся, и патлатый отшатнулся.

— Ты что сделал, сука? — тихо и страшно проговорил Карягин.

Собутыльник взвыл и бросился бежать, забавно перепрыгивая через кучи строительного мусора. Карягин кинулся за ним, зацепился брюками за прут арматуры, затаившийся в снегу, порвал штанину и остановился. Фигура патлатого быстро таяла во мраке. Карягин бессильно выругался ему вслед.

Стало очень тихо. Крепчал мороз. Тучи незаметно сползали с неба, из-под них выныривали мелкие слабосильные звёздочки. Карягин сел на бетонную плиту и сказал все слова, которые знал.

Он сидел на этой стройке, как Робинзон на необитаемом острове. Вокруг острова, тесня друг друга, разгорались огни. Карягину было жалко себя до слёз. Ничего у него не осталось, кроме рваной штанины и чужих зубов. Ещё ему стало жаль Мишки, которого судьба бросила головой в колодец, а особенно сокрушался он из-за разбитой бутылки. Даже сердце сдавливало и стыли пальцы.

А потом вдруг появилась жена Валентина, толстая и смущённая. Она робко подошла, прижимая к животу сетку, набитую поллитровками, и сказала тихо:

— Я тебя по следам нашла... вот принесла... погреться...

Карягин благодарно заглянул ей в глаза, распечатал бутылку и стал пить, пить, как будто газировку пил в жаркий день. И почувствовал, как разливается по телу тепло и голова начинает кружиться легко и весело... Наконец он оторвался от горлышка и — посмотрел на жену. Она будто помолодела и хохотала от души. Карягин подмигнул ей и тоже во всё горло захохотал счастливым клыкастым ртом.

Мария Максимова

* * *

Напряжённой поступью волчицы,
стрекотаньем слаженным сверчка,
крыльями изогнутыми птицы
и жужжаньем бешеным волчка,—
почему так странно произносим,
словно шёпот, мнящийся во сне,
мерное подрагиванье спицы
или плющ, ползущий по стене.

Смутно, настороженно и тонко...
звук, всегда готовый ускользнуть,—
как причуды грустного ребёнка,
как упрямо вьющаяся чёлка,
градусника лопнувшего ртуть.

О, граница, что не позволяет
окончанье фразы разобрать,
вдоль которой мокрый снег летает,
горькой влагой на ресницах тает;
где крошится дней сухой асбест —
маска, ключ, распятья тонкий крест.

Мелкий, мелкий бисер рассыпает,
думает... о чём? сама не знает.

Кто, скажите мне, в какой отчизне,
укоризне не внимает нашей,
в раковине фугой алой пляшет,
плещется, приюта не находит
и опять, в который раз, уходит?

Бабочка, сестра эфемерида,—
чья в крови пульсирует обида,
маятник, часы или заря,
еле уловимое — «всё зря»?

Почему так трудно произносим,
разве звуки — капли из свинца,
или — ненадёжная основа
гобелена зыбкого, где слово
ткут и распускают без конца?

* * *

Когда, как цикламен в снегу,
трепещет жизнь, поёт
и танцовщицей босиком
бежит и воду пьёт,
тогда, споткнувшись на лету,
услыша резкий звук,
мгновенно падает на лёд,
всё выронив из рук...

Я знаю — вещи говорят
на странном языке:
они не станут разбирать,
край чьей одежды целовать,
чья жизнь — на волоске.

Она — растёт, как куст во рву
заброшенный. Потом
на нём раскроется бутон
с горячим, жадным ртом.

Попробуй долго не дышать,
как жемчуга ловцы,
когда она трубит, зовёт
и смерти требует и ждёт,
как бабочка — пыльцы.

И так легко, к цветку припав,
то плачет, то грозит.
И даже крови кислый вкус,
когда почувствует укус,
в нектар преобразит.

Метаморфозы

Я от вас ускользаю, как луч убегает на волю,
как рука выпускает бокал золотого вина,
я пройду на рассвете по мокрому белому полю
и уйду на звезду, где растёт восковая сосна.
Ведь когда я была этим деревом, полным печали,
и кора разрешала смолою мой голос чужой,
человек из песка, с головой из сияющей стали
под ветвями оставил горящий разрез ножевой.
Пахнут хвоей дожди, и предметы смеются над нами,
воздух полон прошедшим, и лесть превращается в сад,
но грозят обещанья простыми земными крестами
и стучатся деревья в калитки знакомых оград.
Кто стоит у ворот с этой ношей древесного детства,
кто не помнит себя и сжимает потери в горсти,
тот без слов узнаёт опалённое горечью место,
где не скажешь — люблю, на прощанье не бросишь — прости.
Прорастает зерно только там, где ему повелели,
колыбель растворится, а дерево плакать должно,
чтобы корни в глубокой, тяжёлой земле уцелели,
а корявые ветки тянулись в родное окно.

Чтоб лишить нас покоя, последнего сна и рассудка,
стрелы все попадают когда-нибудь в гибкую цель,
торопись ускользнуть из трясины густого поступка,
покидай на рассвете свою жестяную постель.
Все названья предметов, все гости твои дорогие —
имена вековые и зыбкие формы лица —
уплывают от нас, ускользают в древесные выи...
И отряд никогда не заметит потери бойца.

1984

* * *

Это тело, что ждёт и стареет,
Пламенеет, болеет, дрожит,
Среди ночи проснувшись, немеет
И, как ножны пустые, лежит.

В паутине полночной покоя,
Где касаются звёзды плеча,
Ищет жертву безумье нагое
С наглой плёткой в руке палача.

Чтобы в жалобе вечной и сонной
Тело жадно раскрылось, светясь,
Белым коконом жизни бездонной
В чернозёме небесном катясь.

* * *

Изменчивых предметов волокно
Мгновения удерживает наши,
И пенится воздушное вино,
И светятся края глубокой чаши.

Чтоб новый золотился колосок
В потрескавшихся лунках поднебесных,
В часах пересыпается песок
И зреет тишина в опарах пресных.

А ночью загорается огонь,
Разбрасывая искры по округе,
Где скачет зодиака чёрный конь
И циркулем железным чертит дуги.

Во сне перемешав обрывки фраз,
Прошедшее, разлитое повсюду,
Из времени выталкивает нас,
Как пробку из волшебного сосуда.

1985

Комната

Когда-нибудь, верно, здесь вырастут чайные розы
из почвы родной, выполняя завет поцелуя...
Недаром же звери кричат по лесам об ушедших,
ночами плетёт безнадёжность тяжёлые косы,
и кажется — в городе ветер шуршит тростниками.

Предчувствие

Воздух долгих печалей глотая над стылой водой,
вижу — ты уезжаешь навеки из зябкого края.
Мимо чёрных осин, по дороге, влекомый бедой...
Слышно ржанье коней, захлебнувшихся воздухом рая.

1981

В мастерской

Со взглядом, остановившимся на устойчивой точке пространства,
на соске холодеющем, гипсовом, в свете казённом,
как медиумическая кукла, прожорливый монстр обаянья,
ты втягиваешь всех их в себя — на тебя глядящих — поочерёдно.
Кто ты — натура с улыбкою флорентийской блудницы, с гримасой,
стягивающей твой рот в подобие сардонической усмешки,
с дрожью внезапною, скрючившею затёкшие члены,
белым пламенем стойкости схваченная, увлечённая желанием длиться,—
разве не есть ты всего лишь шаткая перегородка между действительностью и искусством?

Веки полуприкрыты, и взглядом, косящим, неверным
видишь мальчика Пинториккио на репродукции старой
(между Купидоном упитанным и черепом, столько раз подвергавшемся дрессировке).
Разве эти голубые горы у него за спиною и причудливые растения на скалах —
не предел равновесия, не место, где он пребывает,
завороженный волею мастера? Разве не ощупывали жадно
щупальца чувств каждый придорожный куст в поисках строительного материала:
годен каждый кусочек мрамора, каждая ветка, осколок стекла иль кувшина?

Так ты, натура, сама для себя становишься источником размышлений
о раздвоенности сладкой, о нагретом вине впечатлений:
с каждой каплей уходишь ты, в область искусства перемещаясь,
с каждым следующим глотком, выпивающим тебя, исчезает причастность
к зримому миру, воспринимаемому лишь бесцветно-условно.
Ближе к запаху масляных красок, густых, как сознание зверя,
запаху, чужеродному человеку, возвращающему чувственность пальцам,
голосу — тембр, гармонию — хаосу звуков;
плотность — бесплотному...
Женщина — мост воплощенья.

* * *

Им не удастся меня убедить
беглым течением красноречивой строки,
научить вычурным поклонам, изысканной маете —
натягивая среди ночи на голые плечи пиджак,

не прохриплю о согласии на неродном языке.
Мягкая пыль стелется бахромой,
рваный край жизни набухает воровскою пеной,
отвесные скалы лижут взгляда ладонь,
голод скребётся чёрствою коркой по звериному чреву.
Кормчий — отсутствие силы, побег омелы в руках,
гибкое просторечие червлёной тяжёлой лозы;
скольжение по небритой щеке назойливой медоточивой слезы
подобно полёту ангела по стеклянному разогретому небу.
Настоящее дело стелется как трава,
никнет ракитою в лоно лесных запруд.
Зверь, что крадётся по следу, знает волчьи права
и не останется там, где его запрут.

Забота

Забота приходит с бумажною ветошью в ранце
и хитро глядит исподлобья глазами старухи.
Жемчужные нитки на голых руках волосатых,
и книжная пыль, и кузнечиков дохлые груды.
И осень приходит с железною перхотью в банке,
янтарные бусы на шее морщинистой белой.
Так ржавые кони пасутся вдоль медной ограды
и дни рассыпаются солью хрустящей и мелом.
Приходит желание с кошкой за пазухой чёрной,
любовником пьяным скребётся у мокрых дверей.
И тянутся губы к щеке загорелой ребёнка,
И жадно хватают матросскую тишь пустырей.

Кража

1

Как люблю я красть мелкие, изящные вещицы,
ибо разве только одну жизнь мы в течение жизни проживаем,
разве не хочется нагнуться, схватить напоминанье о событье
и убежать, чтоб больше не вернуться?
Люблю украсть из места, где я не был,
стрижей крикливых росчерки кривые,
что чертят нами в сотне белых планов,
и отдохнуть в стеклянных павильонах,
на женщин глядя бледно-восковых.
Не знают ведь, что мы опять двоимся
и, размножаясь в отраженьях сложных,
бежим, себя не помня, от объятий,
чтобы украсть у ближнего простуду,
больничный холл и тонкое запястье,
которое в волнении целуем.
Чтобы украсть того, кто нами будет...
И в синий хлопок кутаем бутон.

2

Побудь со мной ещё немного, кража,
так сок лимонный с жадностью глотают
больные, истощённые простудой,
с похмелья тянут утренний рассол.

Укроемся с тобою долгим пледом,
пособником воров неблагородных —
пусть лопнет расточительный гранат
и брызнет на тебя горячим соком
мгновений разорённых и густых.
Я расскажу, как долго счастлив не был,
и, может быть, кормясь отборной пищей,
мы выпестуем краденое чудо —
перемешав краплёную колоду —
обманчивого джокера в игре.

* * *

Тайное слово, как ворон седой,
прячется в дебрях запутанной речи,
в вязи наречий, тяжёлых, как зной,
в вихре глаголов, осенней листвой
сыплющих звуки на камень сырой,
фразы сплетая в причудливой встрече.

И, задержавшись на краешке льда,
медленно чертит пером непослушным
птица-душа, где бумаги слюда
снова крошится в пролёте воздушном.

Тонкая верность играет, растёт,
мягко крадётся и вновь отступает,
чтоб по уступам кремнистым туда
быстро сбежать, где усердье труда
льдинкою синей под солнцем растает.

Первого смысла затерянный след,
в небе малиновом шар золотистый,
мягкий, как летние сумерки, плед,
кошки мурлыканье, дым сигарет
и незнакомец, чудной и плечистый.

Так возвращается путник домой,
в солнечной дымке, из снежного края:
плащ незнакомый, но голос родной —
входит в ворота, с собакой играя...

* * *

То прошлое ослепшее любить,
то в зеркале чужое отраженье,
по лестнице обратного движенья
протягивая рвущуюся нить.

То вдоль реки, что пенится бурля,
брести, то спотыкаясь, то ликуя...
Какое сердце вынесет тебя —
блаженная усталость поцелуя?

То мягкими перстами пустоты
разглаживать пожухлые листы,
и, замерев от жалости и страха,
разбрасывать по ветру зёрна праха,

то чайкой сумасшедшею кружить
с желаньем обольстительным — не жить.

А цепкий мир то льстит, то угрожает,
то флейтою волшебной ублажает
иль тростью, переломленною в ночь,
бросает и бежит трусливо прочь.

Так помнишь — предлагали тебе сласти,
лелеяли, любимое дитя,
чтоб в чёрный шёлк бессмертия, шутя,
закутали, в его оставив власти.

Спелёнутый надёжно и упруго,
забудешь про стремительный недуг,
чтоб жизнь — неутолённая подруга —
еловой веткой выпала из рук.

Руслан Элинин

* * *

С. С.

Я сломал свои крылья
о телефонный кабель
Брошенный в омут мира
с твоего балкона
А ещё через несколько минут эта же нитка
Перерезала облако,
Плывущее ветру навстречу.

* * *

Я б поехал с вами за моря,
Да маман расстроится моя.
Я бы сильно выпил белого вина,
Да расплачется любимая жена.
Я б себя прославил как поэт,
Да обидится талантливый сосед
И писал бы, правды не тая,
Да боюсь удавятся друзья.

Затопите кто-нибудь камин
И ступайте — я хочу побыть один.
А когда дотлеют умные дрова,
Застелите кто-нибудь кровать:
Может быть, увижу вещий сон,
Где я пьян, известен и влюблён.

1992

Никополь

Нам повезло — неделя без дождей
Стеклянный домик с видом на такой же
Песок на простыни, на книгах и на коже
И дни сто раз прохладнее ночей...
И хохот чаек и тепло камней
Прибой из киви, колкие дорожки
Хохлушек вызывающие ножки
И грациозные попутчицы моей.

И пиво цвета утреннего пляжа
За деньги, не похожие на них
Осталось три строки, давай привяжем
К сонету этому слегка азартный бридж
Венецию и Кёльн, тибетские вояжи,
Мадагаскар, Богемы и Париж.

* * *

Доброта — это когда чьё-то фото
Можно поставить на стол

Или когда синица
Нравится окраской груди

Доброта — это когда впереди
Не только улицы, но и лица.

* * *

сыну Денису

Ночь только началась. Кусочки текста
ещё не склеились ни в слово, ни в звонок,
ни в текст, ни в поцелуй...
и при попытке бегства
вновь упираюсь в чьё-то одинок...
Но я не одинок — открыты двери.
Поэма деконструкции шагов.
Ночь только началась —
я сам ещё не верю
ни в твой звонок,
ни в мистику стихов.

* * *

Стаи снега, склевавшие судороги луж.
Дерзкий ветер, обнявший геранные окна.
Стопка текстов, принявших октябрьский душ
и ещё не успевших обсохнуть.

Продолжение — вымысел, в профиль похожий на сон.
Окончание — проза, несомая снежною стаей —
Ожидание чая, как лучших времён.
И затасканной рифмы — предвестницы мая...

* * *

А. О.

Шум осени ленивее кота
и фоносемантичней слова осень,
и комната прохладна и чиста,
и кончились вино и папиросы...

И не хватает мерзкого дождя,
и хочется по-детски повиниться,
и жизнь прожить до завтрашнего дня,
и похмелиться.

* * *

Брали водки, пива брали,
строгих женщин приглашали,
Водку пивом запивали
и навеки засыпали...
Ну а тот, кто просыпался,—
на поминках похмелялся.

* * *

Октябрь, лекарственный, как сон,
и неминуемый как он же,
газоны гложет
жёлтым псом.
Какой роскошный воротник
твоей натурщице безумной...
И чистовик на чистовик
кидают ясени бездумно.

* * *

Она бежала-торопилася,
А я сидел винца напившися,
Мне побежать за ней хотелося,
Но больно сладко мне сиделося.

Она сверкнула за автобусом
И растворилася навек...
Но знаю я: на этом глобусе
Есть мной любимый человек.

* * *

Не можешь с...— не мучай ж...,
вали в Америку, в Европу...
А мы уж как-нибудь тут сами —
Отчизны верными сынами...

План на лето

Найти клад
Привезти:
бельмениты
ведро вишни
ведро китайки
землю и воду
кошку, бутылку

* * *

Я снова пил безудержно и много
чернил из глаз, коленей из стихов...
И серый страх, живучее миноги,
тревожил тину утренних мозгов,

и снилось мне: мы медленно тонули
в каком-то мутном доке и луной
скрывалась луноликая в Стамбуле,
с симпозия в совдеповский запой...

* * *

Е. Пахомовой

Когда держишь в руках маленькую птицу и смотришь в её глаза,
чувствуешь ладонью тонкие крылья её.
Когда держишь в руках маленькую птицу становишься бесчувственным
к остальному.
Ко всему,
Кроме её ключиц да сбившихся перьев хвоста.
И только страх — недоброты, и только страх — ненежности,
и только боязнь за себя:
приручённого к птице человека.

* * *

Я нарисую радостный пейзаж
И назову его автопортретом...

* * *

Песня о невыросших крыльях.
Песня о чистоте грязи.
Песня о смерти смертей.
Сонет о возлияниях обильных.
Жизнь, поместившаяся в рассказе,
Залетевший в метро воробей.

* * *

Когда меня в новой компании просят почитать стихи,
я быстренько думаю, а просят ли они шофёра показать,
как он рулит, или врача, как он оперирует...

* * *

Целый век ожидания первой строки,
перед тем как излиться в искомую строчку,
заставляет расставить все точки над і,
и начать с замирания в точке...

* * *

Выжимание сна из книг.
Телефон — дуэлянт везучий —
терпеливее, чем ночник,
и круче.
Робинзонит холодный сон.
Полстакана флиртуют с чаем.
Расставание есть закон.
Нарушители — отвечают.

В это время бы спать и спать.
От дуэли и до дуэли,
Или пить на чужой постели,
Да себя самого читать.
В это время бы телефон
ощущать как грядущую осень
да стихи, любимые очень,
наблюдать за казённым окном.

* * *

Я ночь потрачу на строку
о женщине
с которой эту ночь

Я жизнь потрачу на строку
о женщине
с которой эту жизнь

* * *

Убежавшая накипь зимы.
Продолжительней скуки ручей.
Невнимательный воробей
в аритмии дождливой тьмы.

Незамеченный воробей,
например, третий вторник марта...
Занавешу окошко картой,
с чьей-то родиною на ней.

* * *

Если это скажу — совру.
А совру — опять повторюсь.
Например: я так жду траву,
А взрастёт — на неё ложусь.
А ещё я вам так скажу:
Философии в этом — ноль,
Я когда на траве лежу —
Не пойму: поперёк или вдоль.

* * *

Я живу на белом свете с незнакомкою женой.
За стеной живут соседи.
И за той, и за другой.

Я их кажним утром вижу,
потому, как им сосед.
И живу. И смерть всё ближе.
От жены засим привет.

* * *

А когда потеплеет до минус пяти
я одену овчинную шапку аляску
и взяв свой приятно-блестящий бумажник
с тремя четвертными
пойду в магазин что напротив
купить майонезу две банки

Майонезу в продаже не будет
и выпив стаканчик томатного сока
обратно отправлюсь неспешно

1987

* * *

Е. П.

Звёзды — взгляды из-под шали.
Снег — смятенье до небес.
В том лесу, где мы гуляли,
Я брожу по слову «лес».

Чтоб потом
Возвратиться в слово «дом».

* * *

Уже ни это и ни то
Не злит, не радует, лишь ветер,
Гуляя в воздухе пустом,
В стихотворенье моё метит,

И попадает, и оно
Теперь напомнит нам немного —
По запаху — открытое окно
По цвету — долгожданную дорогу.

* * *

Светало, воробьёв тошнило.
Мужчина шёл вперёд, его жена,
Прожиты годы оглядев,
Произрекла...
Хотите рифму к слову «дело?»
Она сказала — не спеши...

* * *

А. Жигалову

Я охотник в лесу людей.
Мой азарт: на исходе ночи
Стаи слов поднимать с ветвей
и гоняться, покуда в клочья
не истреплется темнота...
Чтоб потом, побросав в корзину
все трофеи, упасть в низину
беспробудного тонкого сна.

1992

Сергей Зубарев

* * *

я не знаю зачем этот гнёт
непонятно зачем этот скрежет
сигарету шпана отберёт
и наверно случайно зарежет
или просто исчезнет вода
чтобы нечем поутру умыться
или люди летят навсегда
с этажей чтобы просто разбиться
или дорого стоит вино
или бредни сломали затылок
или всем умирать всё равно
или свиньи визжат из копилок
человек заболел и угас
или делу поганому служит
или просто орёт напоказ
или просто с тобою не дружит
а любимая просто ушла
а меня разорвали собаки
я был просто похож на осла
а солдаты уходят в атаки
я не знаю зачем этот гнёт
непонятно зачем эти путы
и по ясному небу плывёт
непростая улыбка иуды

* * *

в городе бешеных инфузорий
трапеза сумрака и победы
отзвук пахоты крематорий
траурный вакуум самоцветы
девонька розовая и чумная
рыщет пагубу будто свисты
а на палубе будто стая
кровью харкают оптимисты
ой вы люди да птахи верха
хаки кактусы да подтирки
на неделе буран коверкай
без недели дрочи пробирки
фура рокота и забора
да засаленные объедки
будто не было кроме мора
ни одной завалящей метки

Посвящение

говорить пижон самосвал таракан пепел
говорить душа та которой в любой ли толпе бел
говорить самум крыса сопля задушить вепря
укусить змею ущипнуть слона марсиане лепра
абстенюга пекло ашрам толокно бубен
в голове моей каша наверно я слеп трупен
говорить язык говорить слова говорить что-то
говорить правда говорить выть говорить до рвоты
говорить букет говорить сфинкс говорить маска
отрубили язык говорить-молчать пасха
говорить опять ибо тёмен глуп виноват болен
ибо если бредишь едва ли молчать волен
на прозренья гран тонны шлака труды страхи
веер смертных троп не с собой и с собой драки
это путь покинутых падших чужих заблудших
это ты и джунгли путь из лучших но он из худших
павианом вой львом реви потруби слоник
дрессировщик круг чей-то смех кто-то пьёт тоник
говорить правда говорить вопить говорить до рвоты
говорить сейчас а иначе когда ж кто-то
во глухой толпе голоси причитай охай
ты наверно скоро заслужишь чин скомороха

* * *

ответь же мне какого поккера
скажи же мне какого шухера
мурлотерьеры дулоокие
мои века башибузукали

и межресничные околицы
ваяли дуплами мороженными
хотя бывалоча и вольница
порою как бы мы и пожили

скажи же мне какого джокера
какого джеггера и шухера
опять нашлись такие цоколи
что бранно соколы агукали

* * *

в доме запах тропы
это с крыш осыпаются двери
и клошары тепла
будто синие птицы окна
кипяточек волшбы
посвящённый
арктической эре
прожигает дотла
и кошмарно возносит
: со дна

* * *

фикус страждущий
миракль из глины
второгодник мусора
уличённых поприщ
знать не знает
как жить красиво
и приходит вечер
и стрижёт антенны

тихо плачет
и целует стены
второгодник ужаса
постепенных улиц
эти головы
полны пепла
но не урны
а маета крови

* * *

тебя не берут в космонавты
и ты стервенея орёшь

спалим эту пошлую правду
да будет красивая ложь

и правы срамные базары
блюя на твои чудеса

и с хрустом клюют санитары
твои голубые глаза

но сказка становится правдой
но пошлой
гляди стервеней

тебя не берут в космонавты
и вот ты опять
прометей

* * *

искусство выше крепдешина
но по сравненью с голой бабой
моя астральная машина
внеконкурентно расцвела бы

ах что за страсти и отрады
на поводу урода рока
не всем даётся то что свято
и в этом странная тревога

* * *

будто с цепи сорвался
будто криком зашёлся
или просто
забрался на колокольню
и не хочу
прыгать

* * *

я сегодня проснулся поздно я так хотел
а когда застелил кровать я уже устал
я сегодня бродил по городу и шизел
я сегодня бродил по городу и упал

и никто не спешил меня осла поднимать
люди заняты делом бухой говорят осёл
а когда я проснулся идти чтобы дома спать
небо было хмурым и дождик кислотный шёл

а когда я брёл некий бог произвёл потоп
я был нищ и жалок но звёзды сияли всем
а когда мне бурные волны сказали стоп
я по волнам брёл или сон меня взял совсем

* * *

город пустых шагов
храм нелепой звезды
ветром снесённый кров
золото немоты
танцы на потолке
падаем как листва
падаем налегке
родина
трын-трава
и бесконечный мрак
в наших бегах иссяк

Макс Ауслендер

Из сборника «Идущий следом»

Перевод с английского ***Василия Темнова***

Человек, который отражался в лужах

Нашедшего сию рукопись, спешу упредить сразу — не отражайся в треснувших зеркалах. Если же случилось часом с тобою рядом зеркало с трещиной, то не гляди на своё в нём отражение, чтоб не заметить тебе ненароком чего лишнего.

* * *

Давным-давно в силезском городе Герлице жил учёный грамоте сапожник по имени Ганс Айнст, и то был мой отец. Читал он Ганса Сакса и прочих мудрёных сапожников, а ещё — толстые старые книги с малопонятными мне тогда названиями и странными знаками среди выписанных красным и чёрным готических буквиц. Держал он небольшую мастерскую, лучшую в ту пору в Герлице, да и не только в Герлице — по всей Силезии знали тогда отцовское клеймо.

Осталось у меня из детства тихое счастливое воспоминание о долгих зимних вечерах, когда кончалась в мастерской работа, подмастерья, пропахшие кожей и клеем, поскрипывая ступенями, поднимались к себе на чердак, и после семейного ужина отец собирал нас всех в гостиной у большого сводчатого камина, где стояли на полке разные заморские диковины, и читал нам из Библии, надев на нос круглые очки, поднимая голову чуть не после каждого прочтённого стиха, чтобы пояснить его или просто оглядеть нас, сбившихся в кучу за просторным морёного дуба столом, разгорячённых и полусонных от тепла очага и вкуса выпитого молока во рту.

Изменилась наша жизнь не в один день, но был день, когда она начала меняться — и я запомнил, что был понедельник, потому как всю предыдущую неделю лил дождь и отец, выглянув утром в окно, сказал: «Ну вот, и ещё на неделю завернул». Герлиц уже насквозь пропитался влагой: все окрестные дороги были безнадёжно размыты, да и в самом городе вода переполнила канавы и текла теперь прямо по мостовым. Стоило ли удивляться, что спрос на отцовы сапоги резко вырос и что, обнаружив в тот дождливый понедельник рано утром на крыльце дерюжный свёрток, заключавший в себе пару потёртых свиной кожи сапог, задаток и записку с просьбой сделать по снятой со старых сапог мерке новые со всею возможной срочностью и занести выполненный заказ часовщику Вестерману, проживающему в доме торговца Шикеле, во втором этаже, отец просто принял заказ в работу. Люди бывают разные, а у отца на такой случай была одна приговорка — у каждой сучки свои блошки — так что не сразу, потому как заказов было много и все как один от людей уважаемых и требовательных, но со всею возможной срочностью сшил отец по старой мерке новую пару и в такой же, как понедельник, дождливый день понёс завёрнутые в дерюгу сапоги — новые отдельно, старые отдельно — чуть не через весь город к дому торговца Шикеле. Мог бы, конечно, отец послать кого-нибудь из нас или из подмастерьев, но, видно, захотелось ему самому перемолвить пару слов с часовщиком Вестерманом. Он ведь с детства сапожничал и приучился угадывать человека по сапогам, как другие по линиям на ладони. Я бы тоже многое мог понаписать о сапогах или, скажем, туфлях, да только вряд ли ты, читающий мою повесть, так же, как и отец мой,— сапожник, а прочим в том толку нет.

История эта была бы неполной, да и не вполне ясной для меня, как не понял бы я причин и смысла ужасной смерти, если бы не найденный мною в мастерской отцовский дневник, где — без указания дат — записывал он все сколь-нибудь значимые события, с ним происшедшие. Понятно, что с определённого места — с того самого дождливого четверга, не то пятницы, все записи в дневнике относились исключительно к той истории, о коей я просто обязан кому-нибудь рассказать. Не вслух, нет, ибо опасно лишний раз открывать рот человеку, знакомому со всепроникающей властью тьмы,— она подстерегает нас там, где мы её меньше всего ждём, она караулит каждый наш шаг. Вот и сейчас базальтовою чёрной глыбой застыла она вплотную к стёклам моего окна — матовое зеркало, бездонный зрачок великана, припавшего недвижно к земле за стеною дома — и смотрит, смотрит мне через плечо. И откуда-то изнутри отзывается навстречу такой же пронзительно чёрный взгляд, немой голос тьмы, живущей скрытно в пыльных закоулках человеческих душ. Я — посередине, между тьмою и тьмой, здесь моё место и отступать мне некуда. Я не брошу вызова, не выйду из укреплённого замка, не стану говорить на площади: слова мои, следы мои чёрными строчками разбегутся по снегу бумаги; слово моё — к тебе, неведомый мой читатель, чьи неясные черты угадываются смутно за белым покровом. Ни к чему мне говорить много — пусть скажет отец, это его история. Так что изволь, взгляни на случившееся не только моими глазами, не только своими, возможно куда более искушёнными в делах мира сего и миров иных, но, хотя бы отчасти, и глазами бедного Ганса Айнста. Единственное, что я позволил себе — свести воедино разрозненные записи, касающиеся одного и того же события, порою весьма обстоятельные, чаще же сумбурные,— да поправить кое-где отцов стиль, слишком сильно отдававший иногда то терпким запахом сапожной мастерской, то пылью забытых ныне книг в рассохшихся кожаных переплётах — и привести его, пусть не везде, в соответствие со вкусами нынешнего просвещённого века.

* * *

Путь был неблизкий, впрочем, это я уже сказал. Дом-то я знал хорошо, только вот никакого часовщика там не помнил, и фамилия Вестерман, кстати, ничего мне не говорила, а я ведь не первый год в Герлице сапоги тачал, и город наш небольшой. Постучал я в указанную дверь, держа под мышкой свёрток, и тотчас же дверь приоткрылась чуть-чуть, едва человеку протиснуться, и никто в эту щёлку не выглянул. Мне поначалу показалось даже, что дверь сама распахнулась. Толкнул я её тихонько, чувствую, стоит за ней человек. «Вы,— спрашиваю,— сапоги заказывали?» «Да,— отвечает из-за двери,— заходите, пожалуйста». Он дверь ещё немного приоткрыл, но сам не показывается. Мне в Герлице бояться нечего («Это я тогда так думал!» — вписано здесь на полях рукою отца), шагнул я прямо в тёмную щель между дверью и косяком, он за мною щеколдою щёлкнул и пошёл по тёмной лестнице наверх. «Пойдёмте,— говорит,— пойдёмте со мной». Лестницы в доме у Шикеле крутые, но помнилось мне смутно, что вроде над каждой лестницей во второй этаж пробито было по окошку — для свету. Стал я глазами окошко искать и нашёл заделанное, заколоченное. «Ну, что ж,— подумал я про себя, слушая, как скрипят деревянные ступени под моими шагами и под шагами впереди идущего.— Ты ждал странностей, Ганс Айнст, ты их, кажется, дождался».

Наверху было также темно — все окна в большой захламленной комнате, куда провёл он меня, занавешены были тяжёлыми синими шторами, и только на столе горели три свечи в серебряном почерневшем подсвечнике. «Часовщик Адольф Вестерман к вашим услугам»,— сказал, обернувшись, впустивший меня человек — был он худ и жёлт лицом, и кожа у него на скулах как-то странно обвисла: мне сразу подумалось, что человек этот серьёзно болен, настолько серьёзно, что не станет своей болезни стесняться даже перед посторонним.

Он сразу же заговорил о заказе, заплатил и извинился передо мной за тот, как он выразился, «несколько странный способ», коим он вынужден был обратиться ко мне и, заодно, за оказанный мне внизу приём. Да, он действительно болен и днём на улицу вообще не выходит. В Герлице он поселился недавно — ну да об этом мне можно было и не говорить.

Мы покалякали о том о сём, и мне он показался человеком весьма достойным и занятным, даже если не брать в расчёт всех его странностей. О мне же, как оказалось, он был весьма наслышан — и ничего удивительного, все знают, какой длинный язык у Якоба Шикеле. Знал он даже о моих книжных изысканиях, и разговор наш как-то

сразу завертелся вокруг предметов, от сапожного ремесла весьма удалённых. Говорил он, на мой вкус, странновато — оно, конечно, баварца в Силезии за версту учуешь, но больно уж складно у него получалось, как по-писаному. Не знаю, может, у них в Мюнхене все часовщики такие, у нас-то попроще.

Вот, для примера, захотелось ему сказать мне, что видел он меня раз из окна. Так он начал издалека, о том, как ему здесь одиноко и скучно целыми днями взаперти и без дневного света, так что приходится иной раз режим и нарушать: «Окна мои не всегда зашторены наглухо. Когда мне становится очень уж скучно с моими зубчатыми колёсиками, даже если на улице день, я позволяю себе приподнять краешек синего моего занавеса и поразвлечься созерцанием проходящих под окнами людей, удивительно беспечные у них случаются траектории — вы уж не обессудьте, я привык к несколько механистической терминологии, такая уж у меня специальность. Вот и вас я приметил в один прекрасный день — знаете ли, у вас уверенная походка.— Он несколько раз ударил пальцем воздух, как будто бы смычком по струнам.— Стремительная такая походка, интересная... траектория! Я навёл о вас кое-какие справки и был приятно удивлён совпадением увиденной мной на улице занятной фигуры с именем Ганса Айнста». И отвесил мне поклон.

Но человек он был хороший, сразу видно, и к вычурности его я быстро привык. Он предложил мне кофе; я не отказался, и пока он гремел за стеной жестяною кастрюлькой, стал оглядывать комнату. Была она какая-то нежилая, может, просто потому, что часовщик и в самом деле недавно сюда вселился. Мебель стояла всё ещё в чехлах, кроме разве что пары кресел, рабочего столика в дальнем углу, стула с высокой спинкой и красного дерева конторки — да ещё часов на стене. Вообще, часов было много: только больших настенных пять или шесть, все разные, но все без исключения — ухоженные и с любовью сделанные. С полдюжины карманных хронометров разложено было на рабочем столе, в разных стадиях починки — некоторые были уже совершенно готовы и уверенно стрекотали, повернув к потолку бледные лица, рассечённые чёрным угольником стрелок, некоторые являли миру сумеречное мерцание крошечных жёлтого и белого металла зубчатых колёсиков, где застывших, а где суетившихся деловито и обеспокоенно, как муравьи в растревоженном палкой муравейнике.

Что-то было общее во всех этих часах, чего-то всем им не хватало. Я присмотрелся повнимательней, и понял — стёкол! Ни в одном из хронометров на столе не было стекла, как и в развешенных по стенам часах.

Вернулся Вестерман, и мы попили кофе — не помню точно, о чём мы поначалу говорили, но ему явно не терпелось поделиться хоть с кем-нибудь своею тайной, а о том, что в качестве своего рода душеприказчика в этом чужом для него городе он выбрал меня, я догадался ещё и раньше. Начал он — помню, это удивило меня тогда — именно со стёкол:

«Дело в том, что я очень боюсь зеркал и вообще всяческого стекла — вы же сразу подметили эту особенность моей комнаты, не правда ли? Здесь ни в чём невозможно увидеть собственного отражения — и, смею вас уверить, у меня есть на то достаточно веские причины. Когда-то у меня, как и у вас, была своя мастерская, правда, далеко отсюда, в Мюнхене, но даже и до этих мест добираются иногда мои часы — как-то раз один из проходивших под моими окнами вынул из жилетного кармана моей работы хронометр — я ведь всех их помню в лицо, как вы, наверно, свои сапоги. Ну, да я отвлёкся — жил я тогда на широкую ногу, да и теперь ещё — а ведь сколько времени прошло — сколоченного тогда капитала мне вполне хватает на то, чтобы не отказывать себе в немногих доступных мне радостях. И хватит, смею надеяться, до самой моей смерти, ждать которой осталось, увы, не так уж долго, несмотря на все мои старания отсрочить её приход.

Случилось так, что мне перешли по наследству от двоюродного брата, ювелира, умершего при весьма загадочных обстоятельствах (он просто-напросто исчез из собственной запертой изнутри комнаты), некоторые вещи, и в их числе — старинной работы зеркало в тяжёлой роскошной золочёной раме, так понравившееся мне с самого начала, что я сразу же решил повесить его у себя в спальне. Правда, зеркало было с трещиной — словно длинная серебряная нить пересекла его сверху донизу, слегка изогнувшись в середине, и оттого изображение в нём как бы состояло из двух отдельных частей, слегка даже смещённых друг по отношению к другу — но я тогда не верил, что могут быть какие-либо основания под суевериями и прочего рода причудами непросвещённого народного ума.

Трещина даже забавляла меня — проходя мимо зеркала, я непременно оборачивался, чтобы уловить момент перехода моего отражения из одной его половины в дру-

гую: переход никогда не был гладким, отражение как будто протискивалось сквозь щель, примериваясь, прежде чем шагнуть, поводя плечами, а потом едва ли не выскакивало с другой стороны, всегда чуть быстрее, нежели шёл я.

Этот маленький ежедневный ритуал сделал случайно забредшую в мой дом вещь необычайно дорогой для меня — я вообще склонен привязываться к вещам, словно они живые существа: моя одежда, моя мебель, мой дом — они словно становятся частью меня самого; мои хронометры — некоторые из них для меня как любимые дети. Качество сие, думается мне, есть необходимое свойство каждого человека, связанного в силу своей судьбы и профессии с рождением вещей, любому мастеру дорого произведённое его руками, да и работа других мастеров вызывает сходные же чувства. Вам, как мне кажется, тоже не чужда подобная тихая уважительная страсть к предметам.

Я стал здороваться с моим отражением по утрам, словно с наделённой лицом и телом — моим лицом, моим телом — душой любимой вещи. Я стал разговаривать с ним, когда одевался, повязывал галстук или, наоборот, когда раздевался перед сном. Я поверял ему свои обыденные беды и радости, рассказывал забавные истории из собственной жизни, либо же услышанные мной в компании друзей. Я отрабатывал перед ним изящные жесты, искал выраженье лица, подходящее для той или иной фразы, для обращения к нужному мне, либо же просто интересному человеку. Мне даже казалось порою, что отражение отвечает мне — едва заметным движением бровей или губ, намёком на кивок, на жест — и я стал видеть в нём собеседника, причём собеседника уникального, невероятного, ведь о подобном понимании со стороны любого другого человека, отличного от тебя пусть только родинкою на щеке, пускай родился он пятью ничтожными минутами раньше или позже тебя,— разве можно мечтать? Я дал ему имя, своё, естественно, и каждый Божий день едва ли не полчаса уделял беседе с Вестерманом.

И вот настал день, когда, проходя мимо зеркала, я обратил внимание на необычайно долгую заминку Вестермана перед трещиной, с другой её стороны он тоже выскочил как-то суетливо, словно помимо моих движений пытался повторить ещё чьи-то. Я был так удивлён, что даже вернулся, встал перед зеркалом и спросил его с привычной в разговорах с ним иронической интонацией: «Да ты, никак, собираешься и в самом деле ожить, а, Вестерман?». Однако последние слова буквально застыли у меня на губах — я говорил, я знал, что я говорю и слышал свой голос, чувствовал движение языка и губ — но на лице моего отражения, вернувшегося в зеркало со мною вместе, не дрогнул ни единый мускул! Он просто стоял и смотрел на меня, зеркальный Вестерман, серьёзно и как-то выжидательно.

Я остолбенел на миг, а затем, немного придя в себя, поднял руку, продолжая глядеть ему прямо в глаза. Долгую, томительную секунду я ждал — и он не шевелился — но вот едва заметная улыбка тронула уголки его губ, и он медленно, нехотя, тоже поднял руку вверх. Некое подобие буйного помешательства овладело мной, паника пополам с восторгом — я вертелся перед зеркалом, скакал, размахивал руками, корчил рожи, выкрикивал несвязные, безумные слова и следил за ним, пытаясь подметить малейшую неточность в движениях его лица и тела.

С этого дня жизнь моя потекла по-иному. Каждую свободную минуту я бежал к себе в спальню, чтобы повертеться перед зеркалом. Я обучал Вестермана различным забавным ужимкам, он варьировал их, меняя последовательность, а то и самый смысл движений, и тогда мы оба покатывались со смеху. Он не всегда в точности повторял мои слова, к нему обращённые, и я пытался угадывать сказанное им по шевелению губ. Я даже стал иногда работать перед зеркалом, показывая ему приёмы моего мастерства — ученика более понятливого и аккуратного встречать мне не приходилось. Правда, в работе он слишком рано стал проявлять стремление к самостоятельности, а оттого не всегда пунктуально следовал за мной в требующих немалой точности операциях: у него не получалось, он злился и иногда даже бросал инструмент — совсем как я в молодые годы.

С течением времени он всё менее охотно подчинялся мне, и даже в выражении его лица стали проскальзывать иногда неприязнь и — едва ли не высокомерие. Он стал позволять себе шутить надо мной, поначалу вполне невинно — скажем, однажды я заметил за обшлагом его камзола кружевной платок, которого я никогда там не носил. На всякий случай я проверил, выйдя из комнаты,— платка не было. Значит, у него уже появились с в о и, пусть призрачные вещи. Ещё месяцем позже я вернулся както раз утром с дружеской вечеринки, на мне был, как сейчас помню, пюсового цвета камзол при бордовом жилете, полуувядшая гардения в петлице, и в руках я держал трость. Каково же было моё удивление, когда, подойдя к зеркалу, я увидел медленно

идущего мне навстречу Вестермана, зевающего и протирающего глаза, одетого в кое-как подхваченный поясом шлафрок и с длинной курительной трубкой в руках. Заметив, что я смеюсь над ним, он моментально проснулся, бросил в мою сторону злобный взгляд и исчез в трещине. Через полминуты он вернулся, как две капли воды похожий на меня, вот только гардения в его петлице была совершенно свежей.

Его попытки хоть как-то обособиться приводили порой к совершенно неожиданным результатам. Так, на некоторое время он решил отказаться от зеркального повторения моих движений, и если я в комнате поднимал правую руку, он, в зеркале, вместо того чтобы поднять соответственно левую, поднимал также правую. Если я поворачивался налево — к двери, то и он поворачивался налево, хотя в его зеркальном мире дверь в этом случае оказывалась у него прямо за спиной. Конечно же, это создавало определённые неудобства, и в один прекрасный день, желая подшутить над ним, я сказал: «Вестерман, а ведь ты всего лишь стал меня копировать точнее, чем раньше, ты — зеркало зеркала, ты переусердствовал любое законопослушное отражение в стремлении угодить хозяину, Вестерман!». Он вспыхнул, пробормотал что-то, почти не двигая губами, повернулся ко мне спиной и исчез в трещине. Но с тех пор фокусы с правым и левым прекратились.

Прошло около года с того дня, как я познакомился с Вестерманом, и состояние моего здоровья серьёзно ухудшилось. Не то чтобы мне досаждали какие-то определённые недуги — я от рождения ничем почти не болел и всегда гордился своей здоровой конституцией — но во мне постепенно развились несвойственные мне ранее сонливость, вялость, нежелание даже думать о чём-то, кроме разве что работы да самых насущных ежедневных потребностей. Я перестал совершенно читать, перестал бывать в опере, заходить к друзьям: даже воскресный визит в церковь стал для меня сущим наказанием. Постоянные мои заказчики и особенно друзья находили, что я сильно сдал, и каждый раз при встрече, едва глянув мне в лицо, участливо осведомлялись о моём здоровье. Из чего они могли заключить, что я болен? — недоумевал я, ведь внешне на мне все эти недомогания как будто не сказывались — напротив, зеркальный Вестерман день ото дня становился всё более свеж лицом и оживлён, он даже пытался — казалось мне — поддержать меня: бодростью вида, порывистостью движений и молодым блеском устремлённых на меня глаз. Он явно старался пообщаться со мной по вечерам подольше, демонстрируя мне каждый раз новые гримасы, а то — доставал из-под стола недоделанные часы и, указывая пальцем на ту или иную деталь, просил меня объяснить причины потусторонних неполадок в призрачных своих зеркальных предметах. И я охотно садился, скинув камзол, за столик у зеркала и принимался с ним вместе за незаладившийся механизм. Слава Богу, законы механики одинаковы во всех вселенных.

Постепенно я стал замечать, что чем больше времени я провожу с любезным моим двойником, тем хуже себя чувствую. Если к вечеру я слишком уж уставал и мне было не до перемигиваний с Вестерманом, наутро я пробуждался с ясной головой, полный сил и готовности во всеоружии встретить новый день. Если же с вечера я сидел перед зеркалом, то утром меня одолевали мигрени, ломота в суставах и полная, безграничная апатия. И чем дольше был немой наш диалог, тем труднее бывало мне поутру оторвать голову от подушки.

И вот одним солнечным февральским утром я проснулся и почувствовал, что на щеке у меня набухает фурункул. Как обычно после долгой вечерней беседы с Вестерманом, я нехотя встал и сразу же пошёл к зеркалу, дабы рассмотреть свою досадную болячку. Однако в зеркале меня встретил бодрый, явно успевший уже умыться Вестерман: кожа на лице его была гладкой и розовой и ни на одной из щёк я не заметил никакого подобия фурункула. Осенённый внезапной догадкой, я бросился к туалетному столику, отыскал старое своё маленькое бритвенное зеркальце, глянул в него — и отшатнулся. Лицо, выглянувшее мне навстречу из крохотного круглого окошка, ничего общего не имело с лицом зеркального Вестермана — жёлтая кожа, мешки под глазами, впалые щёки, одна из которых была безобразно перекошена бесформенной светло-багровой припухлостью, и глаза, больные, измученные глаза смертельно уставшего человека — а ведь было едва ли семь часов утра, я даже и не завтракал ещё! Сейчас я, конечно же, выгляжу не лучше, но я с тех пор успел уже свыкнуться со своей судьбою, тогда же контраст был настолько разителен, что я невольно вскрикнул и вынужден был опереться рукой о спинку стоявшего рядом стула из-за внезапной слабо-

сти в коленях. Вестерман обманывал меня, жестоко обманывал, мало того, до меня понемногу начала доходить основная причина столь плачевного состояния тела моего и духа. Он... да он попросту пил мою жизнь из меня по каплям! Я глядел ему в глаза, я играл с ним, я учил его сноровке и ловкости и забавлялся, видя успехи его и неудачи,— он же ловил, коварно и жадно, каждое моё движение и добывал из него капельку необходимой ему влаги. Я словно оса в паутине бился в его тенётах, слабея с каждым движением — продуманным или неосознанным,— он же ждал, забившись в темнейший из углов туда, где я не мог при всём моём желании добраться до него и вытребовать назад хотя бы часть съеденной моей плоти, выпитой крови, украденной у меня души.

Дрожащими руками я оделся и пошёл, стараясь не глядеть в сторону зеркала, из спальни вон. Но краем глаза я всё же заметил, как лихорадочно задёргался Вестерман, пытаясь привлечь моё внимание, как разошёлся в немом крике его рот и взвились в беспорядочном стаккато руки. Я обернулся — в последний раз — и посмотрел ему прямо в лицо. Сперва в глазах его мелькнула радость: он решил, что снова заполучил меня. Однако мало-помалу происшедшая во мне перемена была осознана им, понятливейшим из учеников. Кожа на лице его как-то вдруг пожелтела и обвисла, плечи ссутулились — не было больше надобности маскироваться,— и, подняв глаза, он глянул на меня с откровенной алчной ненавистью.

Так он стоял и смотрел на меня, и тянул из меня кровь — в последний раз — уже не скрываясь, он даже вытянул перед собою руки с дрожащими пальцами, словно пытаясь удержать меня перед собой, и пока я разворачивал зеркало лицом к стене, как будто пытался даже выглянуть несколько раз наружу из отведённой ему природой двухмерности.

Я провозился с ним минут десять-пятнадцать, но устал, как грузчик. Я лёг и стал думать: что мне делать дальше с Вестерманом. Продать зеркало — простейший из вариантов — показалось мне едва ли не воровским по сути своей, ведь в таком случае я просто-напросто своими же руками выберу для Вестермана следующую жертву. Разбить зеркало и выбросить осколки означало лишь размножить Вестерманов. Я пробовал соскоблить амальгаму; зеркало было старинной работы и сделано было на совесть, понемногу, маленькими кусочками, серебристая чешуя осыпалась с его спины, обнажая простое чуть зеленоватое стекло. Каждый день теперь я очищал от скверны маленький кусочек прозрачного светлого камня — ещё один нож в спину беззащитному Вестерману — и порой мне казалось даже, что я ощущаю его содрогания при скоблящем звуке металла о стекло.

Примерно за месяц неторопливой, но обстоятельной работы я разделался со своим врагом, однако хворь моя не проходила. Мало того, день ото дня мне становилось всё хуже и хуже, я даже вынужден был в конце концов оставить мастерскую на младшего своего компаньона. Долгое время я терялся в догадках — о, утраченное время, упущенное безвозвратно,— пока однажды не порезался во время бритья. Привычным жестом я вёл сверху вниз по намыленной щеке лезвие опасной английской бритвы, глядя на сосредоточенное своё отражение в маленьком круглом зеркальце, рука моя дрогнула, и пена под самым лезвием окрасилась в розовый цвет. Я вздрогнул — но не от боли, а от полузабытого уже чувства ужаса: ибо губы моего отражения — глаз я не видел — скривились в чуть заметной усмешке, осторожной и недоброй. Я поднял зеркальце к глазам — и встретил самоуверенный и жестокий взгляд Вестермана.

Швырнув зеркальце — лицом вниз — на стол, я бросился осматривать за зеркалом зеркало и всюду находил — его, не себя. Я вынес из дома все зеркала. За зеркалами последовала полированная посуда, за посудой — стёкла от хронометров, медные пуговицы и тазы, хрустальные бокалы и пузырьки с одеколоном — где бы ни отражался я хотя бы тенью, тут же начинала тень выплясывать передо мной совершеннейшим Вестерманом».

Он помолчал немного, отхлебнул совсем уже холодного кофе из чашечки и продолжил: «Немного погодя я продал дело, продал дом и переехал сюда, подальше от Мюнхена, но где всё же в ходу ещё немецкая речь. Слишком много знакомых было у меня там, думал — уеду, меньше будет хлопот, ан теперь вот вою, не с кем словом живым перекинуться».

«А почему...» — начал было я, но он, при первом же звуке моего голоса поднявший на меня взгляд, не дал мне даже задать вопроса.

«Почему я не выхожу из дому? Но это же элементарно, дорогой мой господин Айнст. Стёкла. Окна. Днём идёшь по улице, словно сквозь строй зеркальной армии,—

и в каждом окошке ждёт меня, не спросясь хозяев, зеркальный Вестерман. Поэтому и в доме у меня окна зашторены наглухо — попробуйте взглянуть в окно, чуть на дворе стемнеет (или просто в ненастную погоду — как сегодня) — вы увидите себя, а я — сами знаете, кого увижу. Вот и приходится мне гулять лишь по ночам, когда добропорядочные горожане спят, заслонив оконные стёкла. Единственная моя возможность размяться и глотнуть свежего воздуха. Ещё лучше, когда ночью нет луны — из-за новолуния или из-за туч на небе — тогда в городе слишком темно, чтобы я мог даже ненароком хоть в чём-то отразиться. Так что, когда в начале прошлой недели пошёл дождь, я радовался как дитя — возможности ежевечерней прогулки. К сожалению, после недели усердных пеших походов по ночным улицам, по самым лужам — ведь не видно ни черта под ногами — старые мои сапоги совсем развалились, и я вынужден был обратиться к вам, чему теперь несказанно рад. Тот полуночный визит, кстати, не лучшим образом сказался на моём здоровье — я ведь вынужден был идти через весь город чуть не по щиколотку в воде — в туфлях. Но я не жалею».

И он предложил мне составить ему компанию в ночных его прогулках, и я, отец семейства и уважаемый в городе человек, был настолько очарован необычностью его истории, что согласился безо всяких колебаний. Едва темнело, я уже ждал его, и после ужина, после вечернего чтения Библии детям, раздавался размеренный стук в дверь, я выходил, и мы отправлялись в путь по тёмному городу. О чём мы только не говорили! Вестерман оказался замечательным собеседником — он умел говорить и слушать, был любознателен и начитан, а главное, он, подобно мне, живо интересовался всем, что имело отношение к плавному ходу гигантского механизма Природы, и собственная его необычная судьба лишь усилила в нём интерес к непознаваемым ещё тайнам мироздания. Дальние земли и небесные революции планет, ангельские иерархии и рецепты алхимиков — не часто, должно быть, приходилось продуваемым ночными ветрами улицам Герлица слышать подобные разговоры. Слова падали с наших губ как секунды с циферблата часов на башне герлицкой ратуши, и, словно маятник, отмерял им срок мерный стук наших добротных сапог, братьев, меченных единым клеймом, по герлицким мостовым.

Ночь за ночью проходила в разговорах, завораживающих широтой плывущих из полуночной тьмы горизонтов, но с каждым разом Вестерман выглядел всё хуже и хуже. Он не желал в том сознаваться, говорил, что было бы несправедливо умереть тогда, когда он нашёл, наконец, достойного противника и собеседника, однако прогулки наши делались всё короче и короче и мы всё чаще присаживались где-нибудь на ступенях церкви, чтоб отдохнуть в сухом и безветренном месте.

И вот настала последняя наша ночь — небо в тот день совершенно расчистилось, и когда я вышел незадолго до прихода Вестермана на крыльцо, над городом вовсю сияла луна. Вестермана не было долго, так долго, что я уж было поставил на сегодняшней ночи крест и стал готовиться ко сну, но тут он постучал, уже заполночь. Он едва держался на ногах, и в лунном свете больше был похож на собственного призрака, нежели на себя самого. Он сказал, что провозился со своими часами и вышел поздно, но стоило нам только тронуться в путь, и я понял — он шёл ко мне не меньше двух часов. После каждого пройденного квартала я останавливался, чтобы дать ему возможность перевести дыхание, а если видел поблизости ступеньки, то и сажал его, чуть не насильно.

«Дорогой мой друг,— сказал я ему, едва мы дошли до ратушной площади,— не лучше ли нам вернуться? Вам трудно будет дойти сегодня до дому. У меня четверо подмастерьев, и если вы не захотите воспользоваться моим гостеприимством, они отнесут вас домой на руках. А лучше вот что — посидите-ка вы пока здесь, а я сбегаю и приведу их».

Мои слова явно задели его, он сердито на меня глянул, пробормотал что-то вроде «Будет вам меня хоронить, глядите вот»,— и бросился вдруг бежать, спотыкаясь и покачиваясь, через площадь, явно имея в виду показать мне, насколько он ещё силён. Я вскочил было, чтобы догнать его и удержать — и остолбенел. Зеркальный Вестерман, о котором я столько слышал от Вестермана настоящего, всегда интересовал меня, и втайне я даже надеялся как-нибудь увидеть его случайно — при том, что во время наших прогулок я старательно оберегал моего друга от незакрытых ставнями окон, если видел их издалека. Но такого я не ожидал.

Пошатываясь, на подгибающихся ногах, бежала через пустынную площадь нелепая худая фигура Вестермана, разбивая ногами за зеркалом зеркало сияющих в лунном свете луж, и из каждой лужи кривлялись ему вслед маленькие человечки, одетые,

как и он, в брусничного цвета камзолы. Их были сотни — в каждой, в каждой, даже в самой маленькой лужице где-нибудь в выемке между булыжником сидел свой Вестерман. Вели они себя совершенно безобразно, точно стая цирковых обезьян — кувыркались, стояли на головах, сучили в воздухе худыми, обутыми в мои сапоги ножками — некоторые так даже умудрялись высунуть из лужиц головы и махали друг другу ладошками.

Но вот ноги Вестермана подломились, и он упал, прямо в лужу, расплескав вокруг себя пригоршни лунного света, и в каждой искрящейся красным от брусничного его камзола капельке наверняка сидела жадная маленькая пиявка. Рябь кругами разошлась по луже, и в этой ряби чудились мне большие, маленькие и вовсе уж крохотные ручонки, цеплявшиеся за слабо пытавшегося встать часовщика. Я бросился к нему, поднял его под мышки и, подставив ему плечо, повёл со всей возможной быстротой к дому Шикеле.

Я был вне себя от страха за жизнь Вестермана, бессильного страха — чем я мог помочь ему? Я уже почти бежал, волоча часовщика за собой, и в голове моей не было ничего, кроме коротенькой фразы — «Скорей бы успеть»,— но взгляд мой всё же оскальзывался время от времени на мокрой мостовой, чтобы выхватить из тёмных окошек воды гримасничающего человечка в брусничном камзоле. Я был не волен в глядении на них, то было даже не любопытство — словно некая сила внутри меня жаждала приобщиться к этой тайне, пока сам я был занят бездыханным уже почти телом Вестермана.

Квартал за кварталом отмахивал я, и в руках у меня болталась теперь тряпичная кукла, а не человек: всё легче и легче становилось тело Вестермана и всё радостнее скакали брусничные человечки в лужах. Но вот, наконец, и последний поворот, вот и дом Шикеле с заложенными на ночь окнами. Я осторожно посадил Вестермана на приступочку у двери, прислонил его к косяку и отыскал у него в кармане ключ. Долгие несколько секунд не мог я нащупать ключом язычок замка, но — щелчок, дверь подалась, я обернулся — Вестермана на пороге не было. Я огляделся. Улица была пуста, сияла луна в огромной луже у стены соседнего дома — и лишь вдалеке, в той стороне, откуда мы пришли, блеснул, показалось мне, на воде брусничный отблеск.

Я поднялся наверх, в комнату часовщика, надеясь, что никто не видел нас этой ночью на улице, взял из вещей его — на память — простенький серебряный хронометр без стекла и с застывшими стрелками, лежавший на рабочем столе, вышел из дому, запер за собой дверь, а ключ зашвырнул по дороге домой в самую большую лужу на ратушной площади.

* * *

Дальше отцовы записи сумбурны. Поначалу, очевидно, жизнь его текла относительно спокойно. Конечно, отец много думал о Вестермане и о его смерти, но записи на этот счёт чаще всего ограничиваются лишь парой-тройкой слов, для меня совершенно невнятных. Очевидно, доверить свои мысли о судьбе Вестермана он не решался даже бумаге. Единственная более или менее вразумительная страница, имеющая отношение к нашей истории, посвящена тягостным раздумиям — отдавать или нет в починку вестерманов часы. Неподвижные их стрелки постоянно напоминали отцу о смерти. Часы он в конце концов отнёс знакомому часовщику, и тот их починил, очень быстро — нужно было просто поправить в них что-то и завести.

А потом отец заболел, и болезнь его, как я сейчас понимаю, носила тот же характер, что и у покойного Вестермана. Не знаю, подцепил ли он эту заразу в ту самую лунную ночь, виноват ли знакомый часовщик, помимо починки посчитавший своим долгом подыскать для хронометра подходящее стекло, но отец перестал выходить на улицу даже по ночам, распустил по домам подмастерьев и сам перестал работать в мастерской. Я думаю, он надеялся — как Вестерман в своё время — что скопленных долгими годами работы денег хватит на жизнь и ему самому, и нам, его детям. Что ж, не так уж он был и неправ. Из дома нашего сразу исчезли, конечно же, зеркала и всё, в чём отец мог увидеть своё отражение. Целыми днями он просиживал теперь за старыми своими книгами, очевидно, пытаясь отыскать в них рецепт от постигшей его напасти, спускаясь вниз лишь к обеду, к ужину, да после ужина оставался ненадолго с нами, чтобы почитать нам. Эти семейные вечера остались, должно быть, единственной радостью в его жизни — я так и запомнил его, крупного некогда мужчину, теперь худого и жёлтого, в обвисшей одежде, без очков — любое стекло было изгнано из нашего дома — читающего стих из непонятной нам страшной книги и поднимающего за-

тем голову, чтобы пояснить его.

Кем мне считать себя — отцеубийцей? — если я, если все мы послужили невольно орудием его смерти. Что могли мы понять тогда, в тот обычный тихий летний вечер, когда накрапывал на улице дождик, шурша по подоконникам и ставням за портьерами, а отец читал нам еле шелестевшим уже голосом — в последний раз — «кто может сразиться с ним?». Вот он поднял чуть близорукие глаза, обвёл нас взглядом, и ужас вспыхнул вдруг в глазах его. Заслонив лицо рукой, он бросился было к лестнице — к себе, наверх — а мы вскочили в испуге и закричали, глядя ему вслед,— и растаял.

Я знаю, что он увидел. Своё отражение в глазах своих детей, в наших глазах.

* * *

Мы выросли, и судьбы наши сложились по-разному. Я давно уже не слышал о своих братьях, но искренне надеюсь, что они живы и здоровы и что зеркальный двойник выбрал меня одного. Не знаю, в чём я оказался крепче отца и Вестермана — возможно, я просто готовился к этой встрече. Я заставил его подчиниться. Он пытался шутить со мной так же, как с Вестерманом поначалу. Но я заставил его поднять руку раз, и ещё раз, и десять, и сто раз подряд, пока глаза его не остекленели окончательно и всякое живое движение не осталось лишь в моей власти. Ещё несколько раз он испытывал мою бдительность — но я всегда начеку. Я всегда начеку.

Охотник Хольц

Слушайте все, оставьте ваших псов: они ещё побегают за вами следом; слушайте, обопритесь о камни этих стен и отложите котомки в сторону: не сладок хлеб того, кто торопится развязать суму; слушайте, кому охота слышать, как погиб охотник Хольц.

Всегда он был один, охотник Хольц, и всегда он искал дорог покруче. Дальние моря он знал как свои карманы и неведомые нам страны — как медные пуговицы на охотничьей своей куртке. Один, без провожатых, бродил он по незнакомым лесам и горам: проходило время, и сам он мог бы стать по ним проводником, когда захотел бы, да только был он всегда один. Если случалась война, воевал и охотник Хольц, и на войне оставался охотником. Вольным стрелком бродил он по вражеским тылам и полнил счёт своим охотничьим трофеям. А то, случалось, и забывал порой, какого цвета форма нравилась ему поначалу больше, и вместо зелёных мундиров брал на мушку голубые. Когда же надоедала ему такая охота, закидывал он ружьё за спину и уходил себе снова в лес — охотник Хольц.

Всегда он был один, ибо не любил чужих слов и чужого дыхания за спиной — и всегда сопровождал его один-единственный неизменный спутник. Был у охотника Хольца пёс по имени Мэйт, и мало будет сказать, что предан был Хольцу Мэйт как собака. Огромный он был, лохматый и чёрный как дьявол, и с чёрных его губ капала белая пена, когда гнал он с коротким отрывистым лаем красного зверя под выстрел охотника Хольца — хватая воздух алой с чёрным пастью. Крошечным тощим щенком выхватил его когда-то охотник Хольц из-под колёс крестьянской телеги и вылечил его, больного, и выкормил молоком из рожка, и обучил охоте. Могучим псом стал маленький чёрный щенок, осторожным и злобным как волк, и одного только Хольца любил он так, как любит Бога монах-отшельник в горном скиту. Охранял он по ночам покой охотника Хольца, крепко спал Хольц по ночам, потому что знал, что не о чём ему беспокоиться. И если случалось Хольцу — а в то беспокойное время со всяким такое случалось — не понравиться кому-то из гуляк в трактире, не было ему нужды показывать всем, как умеет он метать нож или стрелять навскидку. Стоило лишь блеснуть ножу в руках у чужого человека — молчаливой тенью мелькало мощное тело Мэйта, и Бога благодарил чужой, если отделывался прокушенной кистью. Чаще же ловил чёрный пёс Мэйт не блеск ножа даже, а блеск глаз, направленных на охотника Хольца: поднимался он тогда с жёлтого дощатого пола, вставал в рост, чуть прижав уши, и ворчал тихо и глухо, глядя в сторону и подрагивая мускулами ног,— и этого бывало довольно.

Не был охотник Хольц человеком богатым и продавал обычно добытые им шкуры где-нибудь поблизости, недорого и не торгуясь, а мясо ел сам и кормил пса, или тоже продавал, если случалось. Не был он, однако, и беден и мог бы охотиться просто себе в удовольствие, если бы не смотрел на охоту как на добычу, как на любимую работу, а не как на забаву. Был у него где-то дом, да только бывал там Хольц раз в год, а то и раз в два года — лес был ему домом, и горы. Немного было нужно ему от людей —

порох, пули, соль, мука, чай — да залатать время от времени зелёную охотничью куртку, да сшить на заказ новые сапоги из мягкой кожи, да посидеть иногда в трактире.

Был охотник Хольц знаменит, и часто просили его сделать то или это за деньги. За одну работу он брался, за другую — нет, и только сам он мог бы, наверно, объяснить почему. И вот однажды пришли к нему жители далёкой горной деревушки и сказали, что завёлся у них в округе волк-одиночка — резал он поначалу коз на выгоне у самой деревни, да днём, под самым носом у хозяев. Устроили было на него облаву, потом ещё и ещё одну, и вроде гнали-то его прямо под выстрелы, и стреляли в него чуть не с десяти шагов, а словно заговорён он был от пуль. Пробовали травить его собаками, да только делались самые злобные волкодавы трусливее городских побрехушек, едва лишь чуяли его след. А потом и вовсе обнаглел злодей: набежал как-то, ближе к вечеру, на деревенское стадо у водопоя, загрыз пастуха и собаку, а коров — каких не зарезал, тех покалечил. А недавно напал в лесу на лесорубов — было их четверо, и ружьё у них было, и топор на длинной рукояти у каждого. Один всего из четверых в живых остался — три дня просидел на сосне, а когда сняли его, седой был как лунь и в уме повредился. Спрашивали его, спрашивали: как, мол, всё случилось-то, а он только цеплялся за мужиков скрюченными пальцами да плакал. Только на четвёртый день, почитай, в себя пришёл, да только толку от него — ни на грош, потому как городит парень нечто несусветное.

Обещали они ему заплатить хорошо серебром, прямо сейчас, если согласится он пойти на волка, да только отмахнулся охотник Хольц от денег, собрал свою суму, свистнул собаку Мэйта и спросил: куда идти?

Добрались они до горной той деревни, и первым делом попросил охотник Хольц привести к нему того лесоруба, а когда привели, выгнал всех из избы, где поселили его, и велел тому рассказывать. Молод был ещё лесоруб, лет двадцати пяти от силы, но — правду сказали ходоки — мертвенной белизной весеннего талого снега в сумерках светилась его голова. Взглянул он на Хольца, взглянул на чёрного пса и сказал: «Жалко мне тебя, охотник, и пса твоего жаль. Не на зверя ты выходить собрался, оборотень этот волк, нежить. Ну, да тебе решать, слушай по порядку. Он ведь и не нападал на нас-то поначалу, просто шёл себе мимо. День был, солнышко светило, а он вышел вдруг из лесу на поляну, да и оказался как-то сразу прямо между нами, четверыми,— мы широко стояли. У одного из нас ружьецо было, хорошее, надо сказать, ружьё, он с ним и во сне не расставался, всё надеялся волка этого встретить где и подстрелить — так вот, бросил он топор, схватил ружьё, заряженное и к сосне прислонённое, и в волка шагов этак с дюжин с двух и пальнул картечью. Попал или нет, я не видел точно, врать не буду, да только с двадцати-то шагов картечью в волка как не попасть. Я тогда уже топор перехватил да побежал туда, к волку-то. Выбегаю из-за деревьев и вижу, как бросается нежить эта на стрелка и прямо в лицо ему вцепился, и в горло. Те-то, двое других — поближе меня были, бегут с разных сторон, а волк стрелка загрыз, посмотрел на них, ружьё с земли пастью поднял да ствол так и перекусил пополам, словно хворостину. Тот, что поближе к нему был, парень молодой совсем, с перепугу видно, топором в него бросил, близко, развернулся, да и бежать обратно. Да только волк, от топора увернувшись, в два прыжка его нагнал и тоже заел, как первого. Третий-то был мужик смелый да опытный, он суетиться не стал, а пока волк над парнишкой тем кровожадничал, подбежал да топором ему с единого маху голову-то и отсёк. И вот тут-то и поседел я, потому что своими глазами видел, как покатилась волчья голова с оскаленной кровавой пастью на сухую хвою, а после ухмыльнулась по-собачьи да и прыгнула снова на плечи и приросла, будто и не было ничего. Парень-то, лесоруб наш, успел только топор поднять ещё раз, а волк на него уж и прыгнул. Я и не помню, как на сосне очутился, не помню, сколько и просидел на ней, только вижу всё глаза волчьи и сейчас перед собой, то жёлтые, то с красным блеском, чуть глаза закрою, тут и вижу. Знаю, что не жилец я на этом свете — достанет он меня хоть из погреба, да я и не боюсь уже — вот тебя только жаль, зря ты сюда пришёл».

Смерил его взглядом охотник Хольц — не похож был седой лесоруб ни на лжеца, ни на труса. «Не волнуйся за меня,— сказал он.— Я сам о себе позабочусь». Пожали они друг другу руки, и стал охотник Хольц устраиваться на ночлег, потому что солнце уже зашло и фиолетовой мглой подёрнулись горы на востоке. Лёг охотник Хольц не на крестьянскую кровать, а на дощатый топчан в сенях, и лёг рядом с ним на пол пёс Мэйт. Заснул охотник Хольц — как провалился, и странный ему приснился сон. Снилось ему, что стоит он ночью в долине, на посыпанной белым речным песком извилистой дороге, и исчезает дорога вдали в ложбине между чёрными двумя горами. Мёрт-

вым призрачным светом заливает долину луна, блестят на дороге крупинки белого песка, блестят миллионом настороженных глаз капли холодной росы на траве, блестит, чуть дыша, лунная дорожка на чёрной глади озера с пустыми берегами. А чуть подальше, за первым поворотом, сидят у дороги два зверя — справа волк, а слева собака — и смотрят на Хольца рубиновыми искорками глаз. Пытается Хольц достать из-за спины ружьё, да не слушаются его руки, висят, будто плети, вдоль тела. Пробует он шагнуть вперёд, да ноги будто увязли в зыбучем песке по колено. И тут разламывается вдруг чёрное зеркало озера с бледно-серебряной лунной дорожкой и появляется из воды огромный десятиногий рак с корявыми клешнями, и ползёт, ползёт на берег, глядя прямо на Хольца, и царапает острыми ногами землю, и фиолетовые огоньки горят в чёрных глобусах рачьих глаз. А волк и собака, словно ждали того, поднимают морды к ночному беззвёздному небу и воют, воют, воют на луну, и видит охотник, что волк этот и есть лесной оборотень, а чёрная собака от волка через дорогу — Мэйт. Сидят оба, не глядя ни на Хольца, ни на озеро, ни друг на друга, и воют на луну, и будто шевелятся две чёрные горы вдали у дороги, как огромные звериные острые уши.

Проснулся Хольц от того, что выли в деревне собаки. Не спал и Мэйт, стоял у топчана, глядя куда-то сквозь стену, и ворчал потихоньку, прижав слегка острые уши. «В чём дело, Мэйт?» — спросил охотник Хольц. Повернул Мэйт тяжёлую чёрную голову, и блеснули в его глазах рубиновые искры. Снял охотник Хольц со стены ружьё и вышел из дому. Светало уже, бледнела в небе полная луна, выли в деревне собаки, и привкус крови почудился Хольцу в свежем утреннем воздухе. Ступил он несколько шагов и увидел в пыли у дороги, прямо под окошком спаленки, огромный волчий след.

Наутро пришли к дому, где поселился Хольц, крестьяне и сказали, что приходил ночью из лесу волк и что убил он полоумного лесоруба прямо у того во дворе. Лежал лесоруб на спине, с прокушенным горлом и сжимал в мёртвых руках черенок от сломанных пополам трёхзубых вил, и лицо его, не тронутое зверем, было спокойно под седыми волосами.

Ушёл охотник Хольц обратно в дом, достал из-за пояса кисет и вытряхнул на ладонь с полдюжины серебряных пуль. Зарядил он серебряной пулей ружьё, снарядил патронташ, свистнул Мэйта и отправился в лес, туда, куда указывал волчий след у самого его порога.

Недолго пришлось охотнику Хольцу искать зверя. Только лишь перевалил он через первую гору, тихо ступая по мягкому ковру из бурой сосновой хвои, как заворчал чёрный пёс Мэйт и, не опуская уже носа к земле, побежал вперёд. Пошёл быстрее и Хольц, и не успел он пройти и сотни шагов, как увидел впереди огромного волка. Вышел волк из-за соснового медвяного в утреннем солнце ствола и встал между двух сосен, поджидая охотника и пса. Напрягся Мэйт, зарычал и бросился было вперёд, но свистнул тихо Хольц, и остановился пёс, припав к земле. Поднял Хольц ружьё, прицелился быстро в волка, который прыгнул уже вперёд — и выстрелил.

Кувыркнулся в воздухе волк и упал на четыре лапы, шагнул несколько раз вперёд, прихрамывая на переднюю правую,— Хольц уже перезаряжал ружьё,— и метнулся назад. Крикнул Хольц, и прянул с места чёрный пёс Мэйт, и помчался вслед за волком, низко стелясь над бурой хвоей, молча. Перехватил Хольц ружьё и побежал за Мэйтом следом — исчезли уже волк и собака между жёлтых сосновых стволов.

Выбежал он на прогалину и успел увидеть только, как обернулся припадающий на ногу волк и как посмотрел он прямо в глаза настигшему уж было его Мэйту. Будто вкопанный остановился Мэйт, прижался Мэйт к земле и зарычал высоко и отчаянно, и взлаял несколько раз, не спуская глаз с волка, но дальше с места не сдвинулся. Сверкнул волк на Хольца рубиновыми звёздами глаз, и понял охотник Хольц, что не вернётся больше оборотень в эти места, что навсегда покидает он этот лес. Сами собой опустились руки Хольца с готовым было выстрелить ружьём, и потянуло его домой, подальше от этих гор — но провёл рукой по глазам охотник Хольц, и ушло наваждение, и ярость снова вскипела в его душе. Поднял он ружьё, да только не было уже перед ним красноглазого волка.

«Мне нужен твой скальп, слышишь меня, нежить?! — прокричал охотник Хольц в ту сторону, где исчез волк.— Я развешу твою шкуру у мужичья на заборе!» — и эхом отозвался сосновый лес. Сбежал Хольц вниз по склону и положил горячую руку на голову дрожащего, ощетинившегося пса.

Долго шли Хольц и Мэйт по следу волка. Видно, серьёзной оказалась рана, достала оборотня серебряная пуля, ибо оставлял он на илистых берегах лесных ручьёв следы только от трёх лап, а правой передней царапал лишь землю — но шёл при этом ни-

чуть не медленнее, чем человек и пёс, и не видели они на следах его ни единой капли крови. День уходил за днём, другим стал лес и другими стали горы — помнил эти горы Хольц, не раз он здесь уже охотился и знал, что на десятки, если не на сотни миль кругом, нет ни одного человечьего жилья. А оборотень то ли дразнил их нарочно, то ли действительно стал уставать — несколько раз примечал его Хольц издалека, хромоногого, но так ни разу и не дал им волк подойти на выстрел.

И вот, однажды утром вышли Хольц и Мэйт по следам оборотня к узкому ущелью между отвесными чёрными стенами. Заворчал встревоженно Мэйт, когда ступили они на усыпанное чёрной галькой дно ущелья, но шёл уверенно вперёд охотник Хольц, и Мэйт шёл рядом. Глухая тишина ждала их в ущелье — ни единая травинка не пробивалась сквозь чёрные камни, не жужжали здесь шмели и пчёлы, и ни разу не пискнула птица, пока шли они ущельем,— только где-то капала вода с камня на камень да перекатывалась под ногами чёрная галька. Солнечный свет не проникал сюда — так высоки были стены и так близко стояли они, и холодом веяло от камня. Час за часом шли они по извилистому ходу, и лишь однажды донёсся до них откуда-то спереди одинокий волчий вой.

Но вот — блеснуло впереди зелёным и вышли охотник и пёс в незнакомую долину, поросшую сосновым лесом, а прямо посреди долины блестело солнцем круглое, как луна, как серебряная монета, озеро, и стояла на берегу озера деревня. Огляделся охотник Хольц, подозвал Мэйта, открыл ему пасть и натёр клыки мазью из баночки.

Узкая дорожка бежала в сторону деревни через сосновый лес, по ней, немного погодя, и вышли к околице Хольт и Мэйт. Люди в деревне жили — поднимался дымок из труб, проблеяла где-то коза, но до странного пусто было между домами, только несколько собак грелись в пыли посреди дороги. Увидев Хольца и Мэйта, поднялись собаки и лениво потрусили навстречу. И собачонки-то были плохонькие, мелкие и лохматые дворняги, но как-то уж слишком по-хозяйски держались они и бежали тихо посреди дороги и глядели прямо на пришельцев — так что невольно легла рука Хольца на рукоять тяжёлого охотничьего ножа, да и у Мэйта на загривке стала понемногу подниматься шерсть. Усмехнулся Хольц в бороду, нагнулся, подобрал с земли голыш покрупнее, размахнулся и запустил в собак камнем. Как подменили вдруг трёх лохматых дворняжек — встали они намертво среди дороги, ощетинились, лютой злобой засветились жёлтые глаза на острых мордах — а потом развернулись и, коротко тявкнув, метнулись куда-то вбок.

Пожал охотник Хольц плечами, подошёл к ближайшему крылечку и стукнул в дверь два раза. Потом ещё раз. И ещё. Поднимался дымок из трубы — топилась печь к вечеру — но тихо было в доме, будто вымер он. Перешёл охотник Хольц через улицу, стукнул в другую дверь, потом в третью, в четвёртую — и ни звука не услышал в ответ. Дошёл он так до обветшалой избушки в конце деревни, толкнул просевшую дверь, и подалась она. Зашёл охотник в дом, и пахнуло на него могильной сыростью — но чисто было в избёнке, метено и висели на оконце занавески, а на столе лежал кусок варёного мяса, ломоть хлеба рядом, и стоял кувшин козьего молока. Огляделся охотник Хольц, заглянул в подпол, посмотрел во дворе, завёл в дом Мэйта и запер дверь на щеколду.

Заснуть он в ту ночь не успел. Только снял он сапоги, только лёг, как вскочил на ноги Мэйт и зарычал озверело, глядя снова сквозь стену. Встал охотник Хольц, не зажигая света, взял стоявшее в изголовье ружьё и выглянул в окно. Кругом дома стояли собаки — большие и маленькие, лохматые и гладкие, всех мастей и оттенков, стояли и смотрели на дом. Светло было снаружи, будто днём, и странный был оттенок, голубоватый, у лунного света. Хмыкнул охотник Хольц себе под нос, выкатил из ствола серебряную пулю и зарядил ружьё картечью, а потом приготовил зарядов впрок. Отодвинул занавеску в сторонку, открыл быстро окно, выставил наружу ружейный ствол и пальнул туда, где стояли собаки погуще. Воем, визгом и лаем взорвалась ночная тьма, и бросились псы к открытому окну. Только успел охотник Хольц окошко захлопнуть, как ударилась в него первая собачья морда, а потом ещё и ещё. Перезарядил охотник Хольц ружьё, принёс из сенцев косу, что подобрал в сарае, подошёл к окну, поглядел на оскаленные собачьи пасти, на безумные глаза, на когтистые лапы, скребущие по стеклу — и выстрелил, не открывая окна. А потом — схватил стоявшую у стены косу и рубанул сквозь пороховой дым по первой сунувшейся внутрь собачьей морде.

Не помнил он, сколько простоял с косой в руках у окошка, отсекая головы и лапы,

только к той поре, как перестали набегать из тьмы собачьи стаи, успел он отмахать себе руки и не раз и не два перезаряжал в минуты затишья ружьё, чтобы встретить новую захлебнувшуюся воем и лаем волну картечью. Хорошо, что одно-разъединственное окошко было в той избёнке, а то бы не сдобровать охотнику Хольцу и чёрному псу Мэйту. И вот, когда вроде бы перестали рваться в дом осатаневшие псы, выглянул Хольц в разбитое окно и увидел, как собираются остатки собачьей стаи на улице, зализывая раны, и как смотрят они не на дом, а куда-то в сторону. Потянулся взгляд Хольца вослед собачьим взглядам и различил в сгустившейся вдруг тьме, как хромает вдоль улицы трёхногий волчий силуэт.

Бросился Хольц к столу, зарядил ружьё серебряной пулей, подбежал ещё раз к окну — и отлетел, будто кукла, в сторону, а когда встал снова на ноги, увидел; как несётся навстречу оборотню, расшвыривая побитую стаю, чёрная тень Мэйта. Снова залита была улица голубоватым светом, и — успел удивиться Хольц, пока добежал до двери и откинул щеколду — отбрасывали собаки по две тени каждая: одну тень лунную и другую — голубую. И только билась одинокая лунная тень под лапами Мэйта, и тащилась следом за оборотнем одна голубая тень.

Поздно выбежал на крыльцо охотник Хольц — сомкнулись уже смазанные наговорным зельем клыки Мэйта на горле оборотня, и сомкнулась собачья стая над чёрным телом Мэйта. Кинулся Хольц туда, где шевелилась гора собачьих тел, схватил ружьё за ствол и стал раскидывать собак, круша им черепа и спины, а когда последнего ублюдка отшвырнул от недвижного Мэйта, так и не выпустившего из зубов волчьей шеи, поднял, сам для себя нежданно, глаза,— и увидел, что стоит над лесом огромная голубая собака с острыми как пики гор ушами и смотрит прямо на Хольца. Синим туманом клубилось её гигантское тело и проблескивало тысячами красных искорок, словно капли крови бегали, переливаясь, вверх и вниз. До колен лишь, до сгиба ног доставали ей верхушки самых высоких сосен, и сияли ровным голубым светом два огромных глаза без зрачков, лился на долину синий свет, и мерк с ним рядом свет луны. Бросился Хольц наземь, поднял голову Мэйта на обмякшей шее; а потом схватил ружьё — и выстрелил серебряной пулей прямо меж льющих холодное голубое сияние глаз.

Померкли две голубых луны, словно два маяка погасли в одночасье — и растворилась в тумане голубая собака. Поднял Хольц с земли тяжёлое собачье тело и понёс его обратно в дом.

Неделю прожил охотник Хольц в избушке на краю той призрачной деревни, выхаживая своего чёрного пса, и ни единого человека так и не увидел он за всю неделю, хоть и поднимался каждое утро и каждый вечер дымок над крышами дворов. А когда начал Мэйт, хоть и плохо, на три ноги хромая, ходить, собрал охотник Хольц то немногое, что было у него, положил в сумку снятый с оборотня скальп и отправился домой.

Быстро привела его дорожка к чёрному боку скалы, но как ни искал он, так и не смог до вечера найти той узкой щели, что привела его сюда. Лишь стало темнеть, донёсся до охотника Хольца одинокий собачий лай, и понял он, что нужно возвращаться в избушку, и как можно скорее. Вот только Мэйт совсем измотался за день — еле ковылял последний час, поскуливая потихоньку, а когда дал ему Хольц понять, что идут они назад в деревню, лёг на дорогу пёс и голову положил на лапы. Как ни уговаривал его Хольц, как ни упрашивал, не двинулся Мэйт с места. Забросил тогда Хольц ружьё за спину, взвалил пса на плечи и зашагал вниз. Темно уже было, и вышла луна, шёл Хольц вниз к деревне, и повизгивал у него над ухом Мэйт, будто объяснить пытался что-то.

И вот когда остался до деревни один-единственный поворот, увидел охотник Хольц впереди чёрные собачьи силуэты. Нагнулся он, положил на землю Мэйта, шагнул вперёд и снял с плеча ружьё. Тихо стояли собаки, не двигаясь, будто ждали чего-то, и стоял перед собаками силуэт оскальпированного волка. Ждал и Хольц, и даже не удивился, когда разлилось над лесом голубое сияние и выступила, выросла из тумана, по колено в соснах, огромная голубая собака. Перекрестился охотник Хольц, поднял ружьё, навёл его меж голубых озёр света и понял вдруг, что не на него смотрят эти два глаза, а куда-то ему за спину, и пробежал у него — впервые за всю его жизнь — по хребту холодок. Вскрикнул охотник Хольц, обернулся и успел заметить только, как прыгнул, цепляясь ему в горло, чёрный пёс Мэйт и как метнулись за ним следом по земле две тени — одна тень лунная, а другая — голубая.

О тех, кто ходит следом

О биографии Макса Ауслендера, литератора без выраженной — согласно фамилии — национальной и культурной принадлежности, я уже писал (см. Волга. 1992. № 4. С. 169—170). Он был человек без роду и племени, писавший одинаково свободно по-английски и по-французски, что, впрочем, не такая уж и редкость, если не принимать во внимание ещё одного обстоятельства: гораздо реже, чем по-английски и по-французски, но всё ж таки пробовал он силы ещё и в немецком — языке исторической родины, и в испанском, языке, так сказать, страны происхождения. Он кочевал всю жизнь с места на место, из страны в страну, из языка в язык и из жанра в жанр. Ни к какой национальной литературе так и не пристал, ни в одном из литературных жанров не смог стать классиком — а может быть, того и добивался. Вот только две основные точки его биографии совпали, по крайней мере, пространственно: он родился в 1918 году в Монтевидео, и пятьдесят четыре года спустя, словно замыкая цепь, вернулся туда же — за год до смерти.

Опубликованные здесь сказки взяты из одного относительно раннего англоязычного сборника — «Coming next», «Идущий следом» (1947), хотя одна из них печаталась автором и ранее, ещё до начала Второй мировой. Сказки эти сбиты достаточно крепко, хотя зрелым — в масштабах дарования Макса Ауслендера — текстом здесь можно назвать разве что «Человека, который отражался в лужах». «Охотник Хольц», Ауслендеров довоенный «хит», на мой взгляд, слишком явно, напоказ, демонстрирует знакомство — весьма, к слову сказать, любительское, по моде тех лет — автора с таротной символикой; хотя и не без претензии на философическое её осмысление. Главный герой здесь, как ни странно, вовсе не сам охотник Хольц, но чёрный его пёс, или, вернее, сам принцип следования, неразделимая в начале сказки пара человек — собака. Таротный Дурак, один из самых конфликтных внутри себя, но зато и «обещающих» арканов, изображает как раз эту самую пару — вооружённого оборванного человека, идущего, не глядя перед собой, а глядя через плечо, на собаку, несущего в котомке за плечами всё своё имущество; и пса, поводыря и погонщика, который не даёт Дураку спать на ходу, останавливаться в пути, на полдороге. Более детальное раскрытие сюжета карты см. в «Волге» же (№ 7—8 за 1992 г., «Как стать Дураку Повешенным» и № 11—12 за 1994 г., «Ключ от Александрии: второе приближение», о таротной составляющей «Александрийского квартета» Лоренса Даррелла). Кстати, одно из старых наименований этой карты — Товарищ, Попутчик, то есть по-английски именно — Мэйт.

Вторая карта не просто подразумевается — «для тех, кто понимает». Она дана прямо, нарисована в пророческом сне охотника Хольца. Это Луна, один из самых «тёмных» таротных арканов, символизирующий — на самом общем уровне — восстание природы, как дикой (волк), так и приручённой (собака) против человека. Замкнутая волшебная долина, царство мистической голубой собаки и есть в данном случае экстраполированное в пространстве опытное поле, на котором происходит трагическое по своей сути посрамление зашедшего слишком далеко Дурака, искателя и первопроходца. В этом контексте самый, пожалуй, значимый в сказке эпизод — не все те сюжетные арабески в духе «чёрной» прозы, которые заботливо выстраивает для читателя Ауслендер, но сама погоня за волком. Таротный смысл её «не так-то прост», как говаривал, бывало, Фауст, ещё один Человек с Собакой. Ведь Хольц, свой путь земной пройдя до половины и очутившись в сумрачном лесу, блуждает в нём долгое время «меж волком и собакой» (было у древних такое обозначение предутренних сумерек). Не переставь быть Дураком, идущим, он сам становится псом, преследователем и погонщиком — для уходящего волка, для тёмной, «злой» составляющей дикой природы, вырвавшейся по неведомой нам причине на волю. Та самая извилистая дорога к просвету меж двух гор, явленная ему во сне,— это его дорога. Дурак не может, не должен останавливаться, иначе он упадёт вниз и пожран будет Тифоном — так в Таро. Поэтому и не прекращает погони Хольц, хотя и понимает, что загнал до времени «зло» обратно в берлогу. Но вот зашедший слишком далеко, увлекшийся погоней,— пожран тоже; пёс предан Хольцу именно как пёс, и псом же Хольц будет предан. В тёмных глубинах тех бездонных озёр, в которых отражаемся мы порой по ночам, водятся такие чудища, которым благодарность, преданность, любовь — в человеческом понимании этого слова — что камыш под членистыми их ногами. Однако, если не заглядывать туда...— и так до бесконечности. До бесконечности ходить по кругу Человеку, Природе Ручной и Природе Дикой, и кто в конкретном каждом случае окажется сильней — Бог весть.

О том же речь и в «Человеке, который отражался в лужах». Хотя финал здесь исполнен, всё ж таки, умеренного — я всегда начеку — оптимизма.

Вместо заключения краткого этого экскурса в мир сказок Макса Ауслендера позволю себе привести целиком перевод одного из чуть более поздних французских его стихотворений, любезно предоставленный мне Эриком Хабибулиным. Называется стихотворение так: «СОЛНЦУ: с любовью». Одно только сперва замечание. Вряд ли Макс Ауслендер думал, когда писал его, это стихотворение, что вернётся в Уругвай и что именно там и умрёт. В Восточную Республику Уругвай (это полное, официальное имя страны), на флаге у которой — именно солнце. И что на вопрос приятеля, куда это он, мол, собрался на старости лет, ответит строчкой из «Битлов»: «I'll follow the sun».

К стихотворению два эпиграфа, и оба по-немецки, на коренном, так сказать, языке. Первый из Гёте, из «Фауста», самое начало второй части: «So bleibe denn die Sonne mir im Rüken!». В пе-

реводе Б. Пастернака строка эта звучит следующим образом: «Нет, солнце, ты милей, когда ты сзади!». В немецком оригинале интонация несколько иная: «Так оставайся ж, солнце, за моей спиной!».

Второй — из Рихарда фон Шаукаля, тонкого австрийского лирика рубежа веков. Финальный стих из «Портрета испанского инфанта работы Веласкеса»: «Die Sonne sendet Pfeile. Pfeile bringen Tod». «...Солнце посылает стрелы. Стрелы несут смерть».

И — само стихотворение:

Не успевшим обратно на небо удрать облакам
притворяться и прятаться утром в ложбинах кустах камышах
выйдет солнце и кончатся запахи, кончатся запахи
все
кроме запаха солнца.

В полдень в раму тяжёлую золото прозелень бронзы
оглушительный шёпот кузнечиков шёпот кузнечиков влит
как в горячий оправлен янтарь и в тяжёлой повис
пустоте
до скончания века.

К вечеру солнце стыдливо прячется за горизонт и упав
умирает тучи лучи раскидав как больной одеяла перины подушки
бредит цветами закатными маки тюльпаны — но — ирис
(душистый табак)
сумерек
губы синеют.

И едва повернётся спиной говорить перестанет
загорается малое солнце — Денница то, Веспер свирепый
но за ним загорятся другие их много далёких холодных чужих
здесь
улыбнись и умри.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

Ольга Лебёдушкина

Пятнадцатая дверь

Другая нелепость — будто я, Астерий, узник.
Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора?

Борхес

Когда лабиринт становится постоянным местом жительства, безысходность постепенно приобретает очертания комфорта. У Борхеса в жилище Минотавра-Астерия было «четырнадцать» дверей, что означало бесконечное число, и каждая из них не была выходом, потому что выход из лабиринта не то что бы невозможен — он н е н у ж е н.

Постоянное ощущение уюта безысходности, привычка зрения к потёмкам лабиринта, динамика бесконечных странствий из тупика в тупик — всё это давно уже не детские страхи русской словесности. Это сама жизнь, которую литературе, лишившейся прежних амбиций, остаётся только воспроизводить.

Каждый получает свой участок тупика, чтобы его обживать и возделывать. В вечное пользование. Это ещё один аргумент в пользу ненужности поисков выхода: тупик превращается в драгоценную недвижимость, в капитал, в залог благосостояния.

Знаменитые стихи И. Бродского продолжают оставаться знаменитыми, не превращаясь ни в классические, ни в хрестоматийные, потому что комментарий к ним не нужен, это по-прежнему — гениально уловленное общее умонастроение.

Зоркость этих времён — это зоркость к вещам тупика... Впрочем, «вещи» — не узы, не оковы, потому что обитатели бесконечных тупиков — не заключённые. Это добровольные колонисты, н а с е л е н и е.

Отечественная словесность этого года, если судить по литературной периодике, населена чрезвычайно густо. Формальные признаки жизни здесь более чем явные: наличествует большое число новых имён и заглавий, составляются списки претендентов на премии и репутации. В с ё к а к в с е г д а. Ужас, изначально содержащийся в этой безобидной формуле, когда она применяется в отношении литературы, почти не ощутим.

Тем не менее, жанр журнального обзора вымирает. Если «всё как всегда», если наивная критическая похвала «событие» становится ненужной там, где ничего уже не может произойти, то необходимость в такого рода критических писаниях сама собой отпадает. Вот почему автор этих поверхностных заметок отказался от идеи целостного взгляда на русскую словесность 1995 года. Эта задача показалась невыполнимой. Но речь пойдёт о том, что появилось словно извне, поверх сложившейся «табели о рангах» и букеровских приоритетов, даже, кажется, без оповещения на задней стороне обложки, и всё же — запомнилось.

...Если и есть что-то общее у двух авторов, которым заметки посвящены, так это то, что написанное ими претендует на «событие» в литературе. И поскольку речь идёт о наших современниках, о людях, говорящих на нашем общем языке, то их объединяет общее для всех в пределах этого языка и этой нации: испытание и искушение свободой.

В остальном же авторы и герои этих прозаических текстов существуют не просто в разных литературных и социальных пространствах. Это разные формы жизни, вряд ли совместимые. Наверное, так и должно быть.

* * *

Читать современных не могу. А иногда так хочется чего-нибудь без прикрас и выгибонов про нашу жизнь! Чтоб кто-то — с душой и мозгами — поделился. Чтоб не вариться в собственном соку. Но писаки, скорее всего, просто трусы: вдруг — напишешь, а лет через десять всё окажется не так... Вот и ждут, пока уляжется, утрясётся, пока умные дяди разберутся, что к чему, а потом уж и они будут пережёвывать разжёванное!

А. Згировский. Душа плюс деньги
(Из дневника Алексея Ильина)

Маленький роман «Душа плюс деньги» (всё же это роман, а не повесть, если судить по значительности метафизических конструкций, отчётливо просматривающихся за текстом) обращает на себя внимание, прежде всего, открытостью, с которой в нём заданы этические вопросы с их проклятой «внелитературностью». В прозе минчанина Александра Згировского, нашедшей себе пристанище на страницах петербургской «Звезды» (№ 1—95), русская словесность опять взялась за старое.

В центре романа — история заказного самоубийства: о том, как человек убрал себя чужими руками, избежав при этом (?) и нравственной ответственности за грех, и продолжения жизни, которая, по его собственному определению,— «страх, боль, кровь»... Человек этот — преуспевающий бизнесмен Алексей Ильин, глава издательской фирмы «Диамант», производящей немудрёный ассортимент уличных лотков: «Монстр», «Красотка», «Виконт де Бражелон», «Смерть под парусом», «Богатые тоже плачут»... («В устав, на всякий пожарный, заложили всё, что смогли придумать: от разведения раков и рыб через организацию туристской деятельности до изданий на иностранных языках, включая корейский <...> Из всех бредовых и мучительных идей жизненной оказалась идея Ильина тиснуть самолично им написанную (три дня в газетном зале библиотеки) брошюру «Как избавиться от лишнего веса, не ограничивая себя в еде». Брошюру размели — и пошло, и поехало!.. Издательский концерн „Диамант"!») Концерн возникает как бы в зазоре между нудным русским словом «дело» и английским «бизнесом», значение которого, в силу своей неопределённости и праздничности, кажется более просторным, манящим. Важно не то, что производить, что делать, в конечном счёте, важна даже не прибыль, не находящая себе применения: «зряшность» дурных диамантовских денег на протяжении всего действия становится очевидна — они никому не приносят пользы. Важен «бизнес» как образ жизни, как вера. И именно эта вера в конце концов оказывается обманом.

Трагедия главы «Диаманта» рассказана в стиле диамантовской же продукции: первые страницы намеренно апеллируют к тому читателю-покупателю, который своими запросами сделал состояние диамантовцев. Крупный бизнесмен найден мёртвым в своей квартире, после его смерти остаётся дневник, который в конце повествования и должен помочь в расследовании убийства. Читатель утончённый, пробежав первую главку, в которой по всем законам криминального жанра заложены первоосновы интриги и брошены все положенные кости читателю наивному, отложит журнал с прозой Згировского в сторону и окажется неправ, потому что уже через страницу действие начнёт развиваться вопреки жанру: потрясённые коллеги-друзья расследовать убийство не будут, а займутся своими проблемами, изредка вспоминая об Ильине, дневник в расследовании не поможет, а разгадка в конце будет, но вовсе не та разгадка, которая полагается в таком случае — душа Ильина так и останется тайной для всех. У Згировского литература экзистенциальная (и экзистенциалистская!) оказывается намеренно упакованной в крикливую суперобложку бульварного чтива. Не случайно дневниковые записи Ильина почти буквально рифмуются с размышлениями Мерсо перед казнью: «Они придут завтра утром. Это я знаю точно! И это счастье — самому! самому! — слышите все?! — самому определять сроки!». Улыбка мёртвого Ильина — это улыбка счастливого Мерсо, раскрывшегося навстречу равнодушию окружающего мира.

Один из приехавших на место преступления милиционеров позавидовал: «Живётся ж людям, даже на тот свет с улыбкой».

Что же заставило Ильина натравить на себя убийц?

Его дневник, непонятная коллегам «Философия с лирикой», рассказывает читателю о «двойном бытии» удачливого предпринимателя Ильина. Миф о том, что феномен

«двойной жизни» — явление позднесоветской реальности, в романе Згировского, посвящённом реальности «новой», несостоятелен. Бизнес как новое сильнодействующее средство в деле самоосуществления личности помогает плохо, что и понуждает Ильина к тайному дневникописанию, к «философии»...

Философия эта поначалу проста. Она как бы искусственно отпочковалась от философии «Московского комсомольца» и телеигр Первого канала: «Люди склонны скрывать от себя свободу своей воли, и эта склонность приобретает характер и силу врождённого инстинкта.

Всучить себя в руки Христа-спасителя, в руки Кармы-прозорливицы, в руки ангелов, апостолов, пророков, марксов, фюреров, генеральных секретарей — вот цель. Чем социализм был так угоден миллионам? Тем, что гарантировал избавление от себя — всё светло, всё ясно, а главное — всё решено за тебя, инстинкт торжествует. Почему сейчас так ломаются люди? — Потому что пришло время решать самому?» Это первая запись в дневнике Ильина, вполне в духе времени, как все переломные времена, немедленно требующего «нового человека», и, кажется, здесь требования соблюдены идеально: вот он — абсолютно свободный человек, лишённый «совковых» комплексов, для которого Христос равен фюреру, потому что «покушается» на его свободу. Казалось бы, вот тут-то оно и должно произойти — полное и желанное совмещение жизни внешней и жизни внутренней, когда ничто не мешает и не закрепощает, когда мысль и жест одновременны. Но, начиная вести дневник в последний год своей жизни и делая эту запись, Ильин ещё не понимает свершившегося: сам факт ведения дневника уже расщепил благополучную жизнь надвое, стал знаком конца, который ещё не осознан, но предчувствуем. Поэтому вскоре появляются первые сомнения: «Человека нужно готовить к власти и деньгам долго и упорно, как космонавта к полёту, иначе — перегрузка и кровь горлом». А затем — то, что и вовсе не согласуется с мировидением «хозяина жизни»: «Тридцать семь — это возраст, дожив до которого, надо твёрдо знать: зачем?».

Вера Ильина в им созданный «Диамант» была верой человека, осознающего себя абсолютно свободным от всяческих лже-идей, твёрдо знающего, что уж теперь-то... Но оказалось, что «Диамант» ничем не лучше добровольного рабства у Кармы-прозорливицы, апостолов или фюреров с марксами: «Мы создали «Диамант», думая, что это ручной зверёк... А он оказался монстром, питающимся душами! Первой приглянулась моя, он присосался, и уже по-живому не отодрать!».

Трагическая раздвоенность жизни даёт себя знать и в самом дневнике Ильина. Дневник не противостоит другой реальности его существования, а отражает обе реальности, их противостояние и непримиримость. Бизнесмен Ильин осуществляет кодекс абсолютной веры в себя, с которого начинаются его записи. Его теневой двойник в метафизической «ночи» борется с Богом. Этот библейский, до-литературный подтекст дневника Ильина слишком явствен: «Присутствие Бога в этом мире невыносимо! Всё, что угодно, можно стерпеть, но только не чьё-то всезнание и всевластие!». Не мешает даже обилие очевидных ассоциаций и почти буквальных цитат из популярнейших философских текстов. Совершенно «неновые» мысли Ильина лишены ощущения опосредованности. Да и то, что Ильин борется с самим собой и борьба завершается самоуничтожением,— сюжет универсальный для русской литературы с её вечными «лишними людьми», которые одновременно и «герои нашего времени».

В этом смысле ультрасовременная, написанная по горячим следам действительности проза Згировского заставляет читателя «откинуться в какой-то ...надцатый век» русской словесности и прежде всего — в девятнадцатый, в прошлый, которому суждено очень скоро стать позапрошлым, а значит — всё менее классическим, всё более странным и шероховатым, делающим неубедительными всякие попытки некогда модного «компрометирования».

Роман Згировского о том, что никогда, может быть, ещё наша отечественная разорванность, расщеплённость на душу и плоть, земное и небесное, привычная нашей культуре, не была так велика и мучительна, как сейчас, когда мы научились её стыдиться и делаем вроде бы всё для того, чтобы от неё избавиться. Смерть Алексея Ильина — история метафизического крушения души в космосе Бердяева или Даниила Андреева. «Душа + Деньги = Богатство,— пытается Ильин найти хоть какую-нибудь формулу, которая позволила бы свести воедино, то, что для него самого несводимо.— Можно порассуждать. Богатство минус деньги равняется душе, то есть богатство без денег. И так далее с объяснимыми вариантами».

Но что-то не получается в расчётах. Не сводится баланс. Жажда самоосуществления не приводит свободного бизнесмена Ильина к созданию суперконцерна, оживле-

нию производства и процветанию державы, как очень бы всем хотелось. Наоборот, обороняя свою свободу от апостолов и марксов, он становится рабом «Диаманта» и вдруг понимает, что и здесь он безнадёжно обманут, что свободы, необходимой для того, чтобы быть собой, быть равным самому себе, и здесь нет, и никогда не было. Новая русская мечта оказалась новой русской иллюзией. И никакого иного пути, кроме одиноких и мучительных бесед с Богом, для того, чтобы реализовать себя, у Ильина больше нет. Поэтому дневник, начатый столь бравурно — апологией абсолютной свободы — завершается интимно-кощунственным обращением к Богу, который из небытия постепенно превратился в «Него», а из «Него» — в «Ты»: «Сфальсифицировать волю Всевышнего? Мысль парадоксальная и, на первый взгляд, неосуществимая. Ну, а если предложить Ему такую игру: я не сомневаюсь в том, что Ты всё знаешь; тем не менее допустим, что, организовывая своё убийство и не спрашивая на то Твоего согласия, я Тебя вроде бы и обманываю; ясно, что если я этого не заслужил или попросту не дорос, то ничего и не выйдет — Ты в такие игры не играешь, а если я достоин перехода в лучший мир, то Ты сделаешь вид, что ничего не заметил».

Если следовать логике сюжета, Алексей Ильич заслужил то, чтобы «Всевышний сделал вид...». Он уходит из жизни чистым, «угодив» абсолютно всем: не нарушил заповедь — не наложил на себя руки, не создал проблем коллегам-«диамантовцам», сделал богачкой свою вдову, даже вернул долг своим убийцам. Он подстраховался отовсюду. Эта невыносимая, хладнокровная тщательность его ухода наводит на догадку: может быть, именно в этом — в смерти он увидел ответ на своё роковое «зачем?».

Псевдодетектив Згировского сегодня заметен ещё и своим демонстративным невыполнением нынешнего «соцзаказа» на нового «положительного героя» в литературе.

Два года назад А. Латынина в «Новом мире» задавала себе и читателю памятный вопрос: выдаст ли литература капиталу «патент на благородство», поятся ли в современной прозе «хорошие богатые»? Тогда же в статье ответ был дан: не будет патента на благородство. Через год «Новый мир» опубликовал «истерн» А. Черницкого о «челноках», ещё через полгода — сентиментальный опус Зои Богуславской, явно претендующий на типический, а то и канонический «образ предпринимателя», наделённого ярко выраженными пассионарными качествами.

Характерно, что Згировскому при нарочитой «плебейской», «масскультурной» внешности его прозы соскользнуть в счастливое пространство «соцзаказа» было проще простого: достаточно было бы «почистить» чересчур серьёзный дневник Ильина и всё-таки сделать самоубийство убийством. И получилась бы трагическая история отечественного бизнесмена, рассказанная с необходимым пафосом,— готовая политическая метафора, газетная иконка, заряженная грёзами фотография.

Но, вместо этого, говоря на языке массовых газет и дешёвого чтива, Александр Згировский сумел сделать то, что всегда умела русская литература: сигнализировать о том, что в атмосфере безысходности «не можно жить», нельзя привыкнуть к воздуху обманутой веры и дышать им. Снова всё складывается по Лосеву: боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. То, что было принято за свободу, оказалось ещё одной неволей. Поэтому Алексей Ильин умер улыбаясь.

* * *

ВЕДУЩАЯ. *Как Вы представляете себе современного поэта?*
ПОЭТ. *Ну, прежде всего, это человек немолодой... Филолог... Верующий... Желательно христианин...*

Из телепередачи

В том, что живая и интересная русская проза появилась не в одном из привычных литературных журналов, а в «Новом литературном обозрении», ничего неожиданного нет. Наоборот, именно этого и стоило ожидать, с тех пор как филология из науки стала всё заметнее превращаться в реалию литературного быта.

Появление же в печати текста с многозначным названием «Конец цитаты» было настолько естественным и необходимым, что при глубокой личностности всего, что там высказано, он почти поднимается до высот божественной анонимности. Как справедливо отметил А. Зорин в послесловии к публикации, название «Конец цитаты» несёт в себе множество отзвуков: эхо «радиоголосов», пробивающихся к бессонному слушателю сквозь вой и хрипы «глушилок», эхо научных конференций с их строгим этикетом

и, наконец, горькая правда о наступивших временах, которые больше не признают цитату главной ценностью культуры.

Эти времена убивают мифы, не успевшие толком родиться. Антимифологичен Згировский на фоне неубедительной газетной мифологии о благородных бизнесменах — хозяевах новой лучшей жизни. Не сложился и другой миф — о филологе — первом лице культуры, и это несмотря на то, что насаждался он, может быть, не менее активно. «Интерпретатор» однозначно лучше понимает суть «искусства», нежели «художник»,— такие фразы стали общим местом в сегодняшней критике, поддразнивая своей демонстративной неуязвимостью: и «интерпретатор», и «искусство», и «художник» — всё в кавычках. Но рано или поздно кто-то должен был напомнить о том, что всё не так. «Конец цитаты» Михаила Безродного — о том, как интерпретатор капитулирует перед художником, как он по собственной воле отказывается п о н и м а т ь, потому что своими глазами увидел ничтожество и обусловленность своего понимания, но в то же время осознал в себе дар.

Это проза, написанная на филологическом и околофилологическом жаргоне, где вполне наукообразные фразы перемежаются филфаковскими шуточками. Впрочем, выбор языка — здесь не главное. Вийон тоже писал на арго. Стиль и манера героического периода отечественной филологии — тартусских трагических пикников, московских и петербургских тайных радений, когда наука становилась чудом и подвигом одновременно, подлинной алхимией,— эти стиль и манера теперь стали языком маргинала, отброшенного далеко за пределы привычной для него жизни. Это заметки недавнего эмигранта, живущего в Германии, ощущающего происходящее с ним как «рассогласование времён». То, что его мучает,— возможность или невозможность «второй жизни» в новом пространстве и новом времени.

А в «старых» времени и пространстве была Публичная библиотека. Это магическое название постоянно повторяется на протяжении всего текста.

В послесловии А. Зорин с учётом всех «но» и разнонаправленности литературных векторов сравнивает «Конец цитаты» с «Записными книжками» Л. Я. Гинзбург и, разумеется, с Розановым, но у автора-персонажа есть куда более близкие родственники. Слишком уж напоминает неотступно преследующий несчастного филолога-отъезжанта призрак Публичной библиотеки Веничкин Кремль, вместо которого, в какую сторону ни пойди, попадаешь на Курский вокзал. Да и «несравненный Эдичка» возник на страницах послесловия тоже неслучайно, не в результате перетекания «Прекрасной цитаты» в «прекрасную эпоху», а «прекрасной эпохи» — в «великую», а потому, что и Эдичкина прекрасная Елена — только цитата из страны, где дешёвое шампанское.

Одинокое «Я» прозы Михаила Безродного с её исступлённой болью, рвущейся сквозь заслоны научных терминов, очень близко именно к этим знаменитым «Я». Ерофеев, пожалуй, даже филологичнее Безродного, потому что у него есть приём. Безродный же бесхитростен и обнажён в своём отсутствии приёма. Он говорит на своём чудовищном языке — языке Публичной библиотеки, терминов и цитат, потому что никакого другого не знает. Но получается почему-то не диссертация, а художественная литература.

Всё дело в контексте и в читателе.

До отъезда автор-герой жил в мире, который состоял из «четырнадцати» Публичных библиотек, с «четырнадцатью» дверьми, каждая из которых не была выходом. Астерий и не понял сразу, что вышел через пятнадцатую, несуществующую.

Раньше его жизнь в лабиринте скрашивало ощущение собственной избранности, тайнознания: он читал и цитировал книги, о которых не знали непосвящённые, коллекционировал «кунштюкамерные» заголовки, и это давало осмысленность его жизни.

Теперь его прибежище в чужом языке и чужом времени — голубая книжища антологии Конради, «Заммлунг дер гедихьте фюр ди шуле»: оттуда и Йандль, и Моргенштерн, которых он по старой привычке пытается цитировать. Но теперь это общедоступные экспонаты для ленивого школяра на случай, если тот вздумает совершить экскурсию по «дойтче люрик».

Здесь, на территории «рассогласования времён», бесполезно смаковать слова и оттенки их смысла — всё равно никто не услышит и не подхватит брошенное слово, полу-слово, полу-фразу на лету, никто не посмеётся изящной центонной шутке. Здесь если и возможен разговор, то на языке жестов или неповоротливых слов-глыб, несущих главные бытийные значения. Встреча с неведомой свободой обернулась болью одиночества.

Поразительный художественный эффект «филологической прозы» Михаила Без-

родного, по-видимому, рождается из этой боли, иначе никак не объяснишь поистине магического воздействия какой-нибудь строчки, вроде: «речь, рассчитанная на артикуляционное сопереживание...» — когда вдруг перехватывает горло от внезапного ощущения, что вовсе не о Пастернаке идёт речь, а о себе, о себе — цитатами, центонами, терминологическими конструкциями!

Автобиографическая неслучайность филологических занятий в прозе Безродного полностью разоблачена. Интерпретатор так же обусловлен, как обусловлен в мире художник. Дар «артикуляционного сопереживания», доходящего до самых глубин голоса и сердца,— тоже Божий дар.

Другое дело, что его художественная природа раскрывается только за пределами Публичной библиотеки, о которой тоскует автор-герой. Те же самые слова, написанные в тиши возлюбленных стен, имели бы вполне конкретного адресата — один-два десятка обитателей того же пространства и приобрели бы вид разрозненных тезисов к каким-нибудь очередным чтениям. Но в гулком молчании иноязычья, обращённые к безымянному читателю, к кому-нибудь, просто от переполняющей сердце тоски, тезисы превращаются в литературу.

«Сначала приходит понимание, что всех книг не прочитаешь. Потом — что обо всех не напишешь. После чего остаётся либо писать «своё», либо переходить с «истории» на „морфологию"». Автору кажется, что у него ещё есть выбор, а на самом деле «своё» пишется, создаётся на глазах читателя, открывшего серьёзный филологический журнал, а потом вдруг уяснившего, что его завлекли в беллетристику.

Остроумные лингвистические шутки Безродного до непереносимости грустны, особенно стихотворные.

Как были те выходы в степь хороши,
И как хороши были свежие розы,
Как тихо над пропастью было во ржи,
Как билось в пути и жилось не по лжи,—
На эти, а также другие вопросы
Ответят поэты и авторы прозы,
Давайте похлопаем им от души.

Пока дышу, надеюсь
надеюсь, пока дышу
дышу пока, надеюсь
надеюсь, дышу. Пока.

Одна цитата у Михаила Безродного вынесена за скобки, за пределы всевластных кавычек: «Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем был обязан ей бессрочно...». Но она присутствует во всех фрагментах, где автор сетует на затянувшееся прощание с родной речью. Речь без цитат перестаёт быть родной, перестаёт быть нужной. Но нужно ли и, главное,— возможно ли это прощание?

* * *

Легко констатировать затянувшуюся безысходность — в литературе, в обществе, во всём. Но то, что тыняновское определение «промежуток» для наших времён слишком оптимистично, кажется очевидным. Не промежуток — тупик, откуда выйти можно только через дверь, которой нет. И здесь фантастическая живучесть литературы, изначально в ней заложенная, остаётся последней надеждой.

Во всяком случае, у тех, кто соглашается на испытание свободой, есть шанс остаться живыми.

Кирилл Кобрин

Василий Васильевич / Людвиг

Из той же мы материи, что сны

В последнее время две фигуры тревожат мои сны. Графический стиль карт таро подарил им назойливую изобразительность, скульптурность, даже аллегоричность. Невзрачный господинчик со светлой бородкой указует перстом на собственные чресла. Второй — вихрастый, худой, со стремительным профилем — смотрит на свою поднятую руку. Оба персонажа порядком надоели мне,и чтобы расправиться с ними, я пишу этот текст.

Вдохновенный маг и грязное чудовище — вот ключевые образы, унаследованные нашим веком от предыдущих; Просперо и Калибан. Современники братьев Люмьер и братьев Райт принялись смешивать их, изготовлять мутанта. Роберт Стивенсон в «Докторе Джекиле и мистере Хайде» продемонстрировал возможность совмещения порядка и хаоса в существе заурядном. Доктор Фрейд разъяснил, что все человеческие существа заурядны, т. е. состоят из порядка и хаоса. Профессорский сынок Боренька Бугаев обратился в белоснежного символиста Андрея, а последний — в пьяного идиота, пляшущего фокстрот в берлинском кафе. Тот же Бугаев придумал мутанту гениальное имя — «Аполлон Аблеухов», иными словами — «Аполлон с облыми ушами» (или «Аполлон Блюющий»?). Этакий Просперо, вытирающий зад страницами магических книг. Список мутантов нашего века известен, печален и, увы, длинен; длинен настолько, что не стоит и начинать, помянем лишь самого колоритного — бритого наголо культуролога Фуко, в чёрном кожане, верхом на «Харлей-Дэвидсоне».

Зато помянем и исключения, нелепых и трагических одиночек, чей удел: гордость, мужество, честь. Вот Владимир Соловьёв в цилиндре сидит у лап египетского Сфинкса. Вот карикатурный империалист Черчилль, выстоявший против люфтваффе, Гитлера и Сталина в сороковом году; презрительный Борхес, поменявший Нобелевскую премию на обед с Пиночетом; толстяк-энтомолог, сочинивший «Пнина»... Все они уникальны, ибо адекватны себе и судьбе, ибо их девиз: «Девиз, что должен, и будь, что будет». Персонажи моих снов, кажется, из их числа.

Один из бранчливых текстов Андре Бретона содержит следующий пассаж: «Нам нравится митра древних заклинателей, митра из чистого белого льна, на передней части которой был помещён золотой клинок, на неё не садились мухи: чтобы их отпугнуть, были проделаны омовения». Бретон намекает, что он сам — мистагог сюрреализма в белой митре. Роль Калибана при этом троцкистском Просперо отводится Жоржу Батаю: «Беда Батая в том, что он размышляет; конечно, он размышляет как тот, у кого «на носу муха», что его сближает больше с мертвецом, чем с живым человеком, но он **размышляет**. Он стремится посредством небольшого механизма, который ещё не совсем сломался у него, передать навязчивые идеи: уже из-за этого, чтобы там не говорил Батай, тщетно его стремление противиться, **как зверь**, всякой системе». Сказано здорово, но, как часто бывает, не о том человеке. Батай, этот надувной монстр мелочной лавки сюрреализма, этот порно-гегельянец, здесь не при чём. А кто при чём?

Когда я думаю о Василии Васильевиче Розанове, то представляю его себе с непременной мухой на носу. Василий Васильевич мечтает. Он не видит мухи. Он смешно подёргивает носиком, отчего очёчки прыгают вверх-вниз. Муха улетает. Василий Васильевич вздыхает и принимается за очередное сочинение по половому вопросу. «Половой

вопрос» — навязчивая идея Василия Васильевича. Он пишет о «поле» чудовищные непристойности. Василий Васильевич вообще — «чудовище»[1]; он «как зверь противится всякой системе». Он мечтает, он — задумчив: «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг её очерченности ничего не входит.

Я — каменный.
А камень — чудовище.
Ибо нужно любить и пламенеть...
В задумчивости я ничего не мог делать.
И, с другой стороны, всё мог делать («грех»)

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и всё вокруг меня». Положим, «грехов» особых не было — не считать же оными хрестоматийное «неимение устоявшихся политических мнений»! Человек частный (а, значит, хороший) в задумчивости о политике забывает. Особенно в задумчивости о том, о чём Розанов: «Да сохранится свежей и милой твоя п..., которую я столько раз мысленно ласкал... А что, хочешь, ровно в 12 ч. ночи на Нов(ый) год я вспомню её, чёрненькую, влажную и душистую. Шлю на память мои волосы»[2].

Именно Василий Васильевич — чудовище, зверь бессистемный, однодумец — играет в моей приватной аллегории роль Калибана, алкающего Миранды. А что за Просперо смотрит на свою поднятую руку? Кто в белой митре?

В изданной недавно книге «Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель» есть две фотографии. На соседних страницах, одна против другой. Слева — взъерошенный, орлиноносый, худой Витгенштейн, застёгнутый на все пуговицы своего клетчатого сюртучка. Справа — развалившийся в кресле, грузный, нахмуренный (нахМУРенный) Мур, его объятый жилетом живот раздвинул фалды мятого пиджака. Антураж: неявный кембриджский сад. Подпись: «Я знаю, что это дерево»: Витгенштейн и Мур в саду размышляют о философии». Такая вот философия, очищенная от бациллоносных монад, абсолютных идей, архетипов до грюн пункта британского дуба. Впрочем, и дерево-то ненастоящее, ведь, как известно, Витгенштейна (с подачи Мура) более всего интересовал такой вопрос: «Откуда я знаю, что это рука?». Тем и начинается его последний трактат: «Коли ты знаешь, что вот это — рука, то и это потянет за собой и всё прочее». Эрик Лённрот треугольному лабиринту предпочёл лабиринт, «состоящий из одной-единственной прямой линии». Витгенштеин превзошёл элеатов и возвёл лабиринт, состоящий из одной-единственной фразы. Выхода из этого лабиринта нет. Точнее — есть, но гипотетический: не выходить из него, т. е. не говорить **ничего**. («Любое предложение может быть выведено из каких-то других предложений. Но эти последние могут оказаться не более достоверными, чем оно само»), тогда наш лабиринт растает в воздухе. Этот траппистский канон невозможности сказать что-либо Витгенштейн доказывал большую часть жизни (после публикации «Логико-философского трактата»), доказывал яростно, многоречиво, величественно. «Когда он говорил, его лицо было удивительно подвижно, выразительно. Взгляд был пронзителен и часто неистов. Весь его вид был внушителен и даже величественен»,— сообщает Норман Малкольм. Перед нами жрец, маг, Просперо, одной фразой расколдовавший самую натужную философию, самую изящную словесность, самую выспренную элоквенцию в ничто. Вдохновенный Людвиг.

Но почему же они снятся вместе, Василий Васильевич и Людвиг, Калибан и Просперо? Почему в моём сне не прыгают, не вертятся, не разговаривают, а застыли, каждый в своём уголке, на одном месте? Думаю — разгадка — в словосочетании «на одном месте». Розанова и Витгенштейна объединяет то, что они — люди, не стремящиеся куда-либо, а стоящие на одном месте, каждый на своём, каждый на своём уголке, если хотите. Проговорился об этом только Витгенштейн: «Я бы мог сказать: если бы того места, куда я стремлюсь, можно было достичь, лишь поднимаясь по некоей лестнице, то я отказался бы туда взбираться. Ведь место, куда мне действительно следует стремиться, должно быть тем местом, которое я уже занимаю... Первое движение созидательно и кладёт один камень к другому, второе же всегда хватается за тот же са-

---

[1] Разве не «чудовище»: «Всем великим людям я бы откусил голову»?

[2] Очень важно, что Василий Васильевич «ласкал» предмет восторга только «мысленно». Только! И непременно «в задумчивости».

мый». Розанов высказался (по сути — о том же) энергичнее, банальнее и темнее: «и бегут, бегут все... чудовищной толпой. Куда? Зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?

— Да тут не volo, а, скорее, ноги скользят, животы трясутся. И никто ни к чему не привязан. Это — скетинг-ринг, а не жизнь».

Пусть будет так. Но не глупость ли, не постмодернистский ли выверт, не маньеристский ли экивок ставить рядом, в одном тексте, Розанова, мечтающего (в разгар столпоутверждающей беседы с Флоренским) о «мамочкиных щах», и Витгенштейна, заявившего: «Мне всё равно, что есть, лишь бы одно и тоже»? Капустнейшего Василия Васильевича и абстрактнейшего Людвига? Пожалуй, кулинарное возражение «спариванию» моих персонажей самое сильное. Гастрономический вопрос вообще из наиболее тонких. Что предпочитал Розанов? «Крылышко гуся» глодал «без божества, без вдохновенья». Зато — «рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника... и испанские громадные луковицы, и образцы капусты, и нити белых грибов на косяке двери» — «полное православие». «Беломорскую сёмгу» не жаловал, т. к. ей угощают на либеральных писательских обедах, и вообще порицал писателей за обжорство «на халявку». Так был ли Василий Васильевич гурманом, любил ли вкусно покушать? Покушать любил, но гурманом не был. Обратим внимание на фразу «какие-то вроде яблочков». Знаток бы так не сказал, он бы назвал какие: мочёные ли, печёные. Просто Розанову важен был ещё один гастрономический компонент «полного православия», вот он и яблочки разложил, какие-то вроде. И щи его ненастоящие, и сёмга его литературная, гоголевского происхождения. Василию Васильевичу всё равно что есть, лишь бы есть, лишь бы жить. Вот его истинное меню: «2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испечённых яиц может часто спасти день мой». Такова гастрономическая тайна Розанова. Он ел, чтобы жить, «ибо жизнь моя есть день мой, и он именно **мой день**, а не Сократа или Спинозы». И разве не таков Витгенштейн? «Всё равно, что есть, лишь бы одно и то же» можно продолжить, «ведь питаясь одним и тем же, я живу». Это библейская, ветхозаветная кулинария; именно в таком контексте можно понять и торжественные слова давидова псалма: «Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил её (землю)», и восторг Витгенштейна по поводу банальнейшего хлеба с сыром: «Было невероятно смешно слышать, как он восклицал «Hot Ziggety»[3], когда моя жена ставила перед ним хлеб и сыр». Вот и получается, что гастрономические принципы Василия Васильевича и Людвига были одинаковы: их объединяло мнение, что «самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности»[4]; естественно, та же самая благодарность выражалась и по поводу одного из составляющих оного существования — хлеба насущного. Только благодарность Розанова была по-эстетски православно стилизована, а у Витгенштейна по-бойскаутски педалирована. Но 50-летний бойскаут (к «пятидесятилетнему» прибавим «еврей», «гомосексуалист», «эмигрант из Вены») разве не стилизация?

Теперь о том самом «чудесном факте существования». Люди, исполненные благодарности по поводу данного факта, конечно, мистики. Мистиком был Честертон. Мистиком был Розанов, написавший: «Но, скажем: каково же солнце, которое неизречённым тьмам народа даёт хлеб, даёт как «по службе», «по должности», почти «по пенсии». Даёт и **может** дать. Даёт и, значит, хочет дать? У солнца — воля и... **хотение**?». Пожалуй, солнце, дающее хлеб «по пенсии», будет сильнее любой сведенборговой баронессы, любого Адама Кадмона, любой мистической розы. Мистицизм, по определению Сартра,— это интуитивное наслаждение трансцендентным. Точнее не скажешь о Розанове, наслаждавшимся рождающим солнцем. У Витгенштейна то же наслаждение, но несколько иным. Параграф 6.44. «Логико-философского трактата» гласит: «Мистично не то, как есть мир, но то, что он вообще есть». Вряд ли «лунный» Людвиг мог мистически переживать Рождение[5], но вот «возможность существования чего-либо» дарила ему такие, например, мгновения: «Я в безопасности, ничто не может причинить мне вред, что бы ни случилось».

Как и других мистиков, моих персонажей мало кто понимал по-настоящему, да они и не стремились к этому. Интуитивно переживая «общее» (трансцендентное), мистик

---

[3] Старинное канзасское сленговое выраженьице, типа «Вкуснятина!».

[4] По ехидному высказыванию Борхеса о Честертоне.

[5] Норман Малкольм вспоминает: «Он добавил, что не может понять представление о Творце».

в своих писаниях разорван по краям: выражается весьма по-своему (т. к. «интуитивное», т. е. «своё»), а говорит о вещах, известных каждому («трансцендентных»), но подавляющим большинством не замечаемых, но переживаемых.

Зинаида Гиппиус пишет о Розанове: «И открытость полная — всем, то есть никому». Сам же он вздыхал: «Ах, добрый читатель, я уже давно пишу «без читателя»,— просто потому, что **нравится**». И добавлял: «Пишу для каких-то неведомых друзей» и хоть «ни для кому». Витгенштейн тоже особых иллюзий о своём читателе, вернее, «понимателе» не имел. Он уяснял **сам для себя** некоторые вещи, а что касается Другого, то: «Типичный западный учёный... всё равно не постигнет духа, в котором я пишу». Вот почему, будучи великолепными собеседниками (каждый в своём роде), Розанов и Витгенштейн оказались никудышными школьными учителями: Василий Васильевич наверняка «отсутствовал» на уроках, пребывая в «задумчивости», а яростный Людвиг попросту терроризировал ничего не понимающих учеников.

«Учительские годы» Розанова известны прежде всего тем, что в это время он жил, платя по странным достоевским долгам, с Аполлинарией Сусловой и написал своего «Ганса Кюхельгартена» — злополучный трактат «О понимании». В более дотошном европейском мире «школьную эпопею» Витгенштейна всё-таки раскопали[6] и что же? Бесплодные попытки, напрасная ярость, непонимание, полный провал — иной учительской карьеры для нашего философа вообразить невозможно. При этом теоретические проблемы педагогики мои персонажи обсуждали со страстью: Василий Васильевич сочинил целую книгу «Сумерки просвещения», Людвиг был одним из копьеносцев австрийской школьной реформы. Думаю, и тот, и другой с отвращением вспоминали роль, которую им довелось играть, одну из самых лживых и циничных ролей, роль школьного учителя.

Написав последнюю фразу, я вдруг вспомнил, что мой скульптурный сон впервые приснился мне в Лондоне, в обшарпанной каморке припанкованного пансионочка «Maree Hotel». Накануне, за рюмкой водки я спросил Александра Моисеевича Пятигорского, что он думает о Витгенштейне. Пятигорский ответил примерно следующее: Витгенштейн — типичный венец, хитрейший, делал вид, что ничего не читал; человек индивидуальнейшего гомосексуализма; члены блумсберийского кружка[7] прямо-таки молились на него, но он не принял их типа гомосексуализма. Вот тогда-то я вспомнил Розанова, написавшего, например, такое: «Действительно, я чудовищно ленив читать. Напр. Философова статью о себе (в сборнике) прочёл 1-ю страницу...». Или: «уже в университете дальше начала книг «не ходил» (Моммзен, Блюнчли,)». И ещё: «Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочёл тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то **первою строкою** и стоит это: «Мир есть моё представление».

— Вот это хорошо.— Подумал я по-обломовски.— «Представим», что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно».

Именно хитростью, афишированным невежеством впервые совпали мои персонажи. Зачем им было нужно это дуракаваляние? Как род защиты от окружающих. И Розанов, и Витгенштейн не хотели соучаствовать в «коллективном проекте будущего», кто бы таковой проект не затевал: кружок Мережковских или блумсберийский кружок. Поэтому, как заметил Пятигорский, сокровенный гомосексуалист Людвиг чурался идеологически фундированной сексуальной свободы блумсберийцев. Так же и Василий Васильевич только посмеивался над революционно-христианским эросом друзей-богоискателей, например, Мережковского: «А с «попадьёю» если **также**, то вы вцепитесь ей в косу и станете с ней кричать о своих любимых темах, и, прокричав, до 4-х утра, всё-таки в конце концов совокупитесь с нею в 4 часа, если только вообще можете совокупляться (в чём я сомневаюсь)».

Дело ведь не в «гомо-» или «гетеро-», дело во внутренней сосредоточенности на самом главном, на «своём месте», своей судьбе, сосредоточенности шахматиста Лужина. Лужин машинально делал многие общепринятые вещи, «чтобы не мешали окружающие», но, когда наступление «окружающих» стало опасным, он выпрыгнул из их мира. В окно. Мои персонажи тоже «защищались»: заявляли, что ничего не читали, служили, вели разговоры. Потом тоже прыгнули. «Прыжком» Розанова стал отъезд в Сергиев

---

[6] Уильям У. Бартли.

[7] Любопытно, что наш с Пятигорским разговор происходил в Блумсбери. Однажды я был в гостях у некоего русского поэта, живущего рядом с ивановской башней. Поэт обзывал Вяч. И. Иванова «дутой фигурой» и говорил, что у того нет ни одного «настоящего» стихотворения.

Посад и «Апокалипсис наших дней». «Прыжком» Витгенштейна — уход из университета. В обоих случаях смерть означила приземление.

Д. К. Хотов как-то припомнил следующий случай. Однажды он спросил своего ученика, читал ли тот Витгенштейна. Ученик переспросил: «Витгенштейна? Который писал афоризмами, как Розанов?». Над этой фразой можно посмеяться («Бетховен похож на Чайковского, т. к. **тоже** сочинял симфонии». К тому же, строго говоря, Розанов **не писал** афоризмами). Но можно и не смеяться. Первый взгляд безымянного ученика оказался верным, м. б., потому, что «первый». Мышление и Розанова, и Витгенштейна корпускулярно, они мыслят молекулами, пусть разными. Из этих молекул составляется вещество их писаний, хотя, на первый взгляд (на этот раз — неверный), способ их соединения разный. Главное, что получившийся результат и для Розанова, и для Витгенштейна единственно возможен. Отстаивание своего «единственно возможного» — такова их судьба. Они чуяли её и следовали ей. Они знали «свои камни» и хватались только за них. Василий Васильевич и Людвиг не зря скульптурно расположились в моих снах. Ведь место, куда они действительно стремились, было тем местом, которое они уже занимали. Тоже, своего рода, аллегория свободы.

Итак, музейная комната моего сна закрывается. Повернём выключатель. Прикроем двери. Перечитаем напоследок объяснительную табличку:

«Ведь честные и сильные натуры как раз в это время отворачиваются от сферы искусства и обращаются к иным вещам, ценность же индивидуального как-то находит своё выражение. Правда, не так, как во времена великой культуры. Культура — это как бы грандиозная организация, указывающая каждому, кто к ней принадлежит, его место, где он может работать в духе целого, а его сила может с полным правом измеряться его вкладом в смысл этого целого. Во времена же некультуры силы распыляются и мощь личности тратится на преодоление противоположно действующих сил, сопротивления трения. Она находит своё выражение не в длине пройденного пути, а, может быть, лишь в теплоте, порождённой преодолением сил трения. Но энергия остаётся энергией, и пусть фантасмагория, открывшаяся взору в наш век,— это отнюдь не становление великого творения культуры, где лучшие совместно работают для достижения единой великой цели, а малоимпозантное зрелище толпы, лучшие представители которой стремятся лишь к достижению своих частных целей — мы всё-таки не должны забывать, что дело не в зрелище» (Людвиг Витгенштейн).

А. В. СУХОВО-КОБЫЛИН. **Учение Всемир. Инженерно-философские озарения. М.: С. Е. Т., 1995.**

Уязвлённый очередным провалом очередной отчаянной попытки перехитрить цензуру и провести на сцену свою последнюю пьесу — на сей раз «Смерть Тарелкина» запретил лично министр внутренних дел Н. И. Дурново, полным равнодушием литературных и театральных кругов семидесятипятилетний драматург и философ в 1892 году запальчиво и зло извещает своего друга и советчика Николая Васильевича Минина, серьёзно занимавшегося философией: «Находясь в Твёрдом убеждении, что Философские Труды мои встречены будут с тем же равнодушием и замалчиванием, т. е. с тою же Злобою и Ненавистью, я решился по Окончании моего Труда ехать в Германию, перевести часть Сочинения по-Немецки и издать в Германии. Если в этом Труде есть Истинное Содержание — то он скорее получит Оценку там. Здесь в этом низшем и низком Этаже Человечества, который зовётся Россией, безумно дожи<да>ться Суда и Справедливости по такому делу, как Ф<илософ>ия с её всемирными вопросами — на это надо высшую Породу и высокие Мозги»[1].

Сухово-Кобылин, питомец физико-математического отделения философского факультета Московского университета, увлёкся философией Гегеля ещё в студенческие годы, под влиянием своего старшего друга Александра Герцена. До 70-х годов он перевёл все главные труды великого немецкого учёного: три тома «Логики», том «Феноменологии», том «Философии природы» и том «Энциклопедии философских наук». А затем, как узнаём из автобиографической записи: «1895 год. 40-летие Свадьбы Кречинского», «Наступила Эпоха самостоятельной Работы, которая и по днесь ежедневно продолжается»[2]. И Сухово-Кобылин создаёт свою собственную философскую концепцию — неогегелизм или учение Всемира.

В 1899 году, за четыре года до смерти, Сухово-Кобылин вместе со своим секретарём готовит к печати два тома «Этюдов по Спекулативной Философии в её Поступании за Гегеля». Он больше всего опасается, что «этот огромный Сорокалетний Труд сгниёт так же, как сгниёт мой Труп — и это неминуемо случится, если я скоро умру. Кто станет терять время и разбирать бумаги, которые всем неведомы, никого не интересуют»[3].

Вероятно, Сухово-Кобылин так и не завершил подготовку для печати своего капитальнейшего труда. Он, многократно продумывавший на нескольких черновиках даже частные письма, десятки раз возвращавшийся едва ли не к каждой реплике, каждой ремарке своей великой трилогии «Картины прошедшего», не поспел довести философские исследования до окончательной редакции, которую он мог бы спокойно передать в типографию, — не хватило ни сил, ни времени, ни жизни. Но Сухово-Кобылин охотно давал философские фрагменты своим друзьям, добрым знакомым, ища у них поддержки, совета, проверяя свои тезисы, находки, догадки. В ноябре 1899 года введение к сочинению о Гегеле читали в Больё, на вилле у выдающегося историка М. М. Ковалевского. Как написал А. П. Чехову врач и литератор В. Г. Вальтер, слушатели «сначала смеялись, а потом подчинились его талантливости и искренности»[4].

Единожды при жизни Сухово-Кобылина и читатели чуть было не познакомились с его философскими воззрениями. Анатолий Александрович Александров, редактор выходившего в Москве литературно-политического и научного журнала «Русское обозрение», готов был опубликовать введение в философию, но предложил некоторые редакторские изменения и сокращения. Ну скажите, кто из авторов устоял бы пред соблазном в первый раз увидеть свой труд в печати, не смирился бы с почти неизбежными поправками? Но Сухово-Кобылин непреклонен: никаких компромиссов! 9 декабря 1893 года он ядовито отвечает Александрову, что не может «согласиться на предложение ваше обрезать моё Введение, начиная с Го-

[1] РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 2 об.

[2] Там же. Ед. хр. 251. Л. 1.

[3] Там же. Ед. хр. 268. Л. 9 об.

[4] Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 331. Карт. 38. Ед. хр. 6[6]. Л. 22 об.

ловы, и приставить к нему механическую Голову, которая будет криком кричать, что Головы, мол, нет. На эту Операцию у меня не поднимется рука»[5].

XX век, казалось, с лихвой подтверждает самые скорбные предчувствия драматурга-философа. Если спектакли по его пьесам нередко воспринимаются как художественное и общественное событие, если о нём как о драматурге публикуются статьи и книги (академическое литературоведение, правда, так и не удостоило его своим просвещённым вниманием и изучением), то Сухово-Кобылин-философ, казалось бы, намертво позабыт.

И вот почти через семь десятилетий после смерти никем не признанного философа его имя начинает выходить из забвения[6]. Эпоха космических полётов вдруг припоминает, что среди её выдающихся предвестников был не только хрестоматийно известный Циолковский, но и неизвестный Сухово-Кобылин. Тот самый, который предугадывал три этапа развития человечества: теллурический, или земной; солярный, или солнечный; сидерический, или звёздный[7]. В 1988 году опальный (и при Хрущёве, и при Брежневе) учёный Вячеслав Всеволодович Иванов возмущается, почему мы так и «не удосужились издать его философские произведения...»[8].

Ещё через два года С. Г. Семёнова цитирует — впервые! — философские сочинения Сухово-Кобылина[9]. Она же доказывает, «что именно в России уже начиная с середины прошлого столетия вызревает уникальное, космическое направление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX веке. В его ряду стоят такие философы, как Н. Ф. Фёдоров, А. В. Сухово-Кобылин, Н. А. Умов, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский, В. Н. Муравьёв, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, Н. Г. Холодный, В. Ф. Купревич, А. К. Манеев»[10]; публикует — опять впервые! — фрагменты философских трудов Сухово-Кобылина[11]. В 1993 году, ровно через сто лет после первой и, насколько известно, последней активной попытки писателя пробиться в печать со своими научными исследованиями, он, вместе с другими замечательными отечественными мыслителями, занял своё достойное место в первой антологии «Русский космизм»[12].

Читатель вправе спросить: восторженные оценки, публикация цитат и фрагментов, призывы издать философские труды Сухово-Кобылина — всё это замечательно. Но когда же и где их можно будет прочесть? Не каждый же доберётся, да не каждого и пустят, в Центральный (сегодня он переименован в Российский) архив литературы и искусства, где хранятся тысячи листов беловых и черновых философских рукописей русского поклонника и продолжателя Гегеля.

Но вот — свершилось! Нежданно-негаданно в столице нашей Родины выходит книга самого Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Название — «Учение Всемир». Подзаголовок — «Инженерно-философские озарения». Тираж — 2 (две) тысячи экземпляров. Выпущена книга издательством, укрывшимся под нерасшифрованной аббревиатурой «С. Е. Т».

Издание, очевидно, разошлось мгновенно. Заказываю его в нескольких магазинах Саратова — и всё без толку. Звоню друзьям в Москву — ищут-рыщут, да ничего не находят. Наконец, мой добрый знакомый, от которого не спрячется ни одна дельная книга ни в одном из городов, добыл последний экземпляр в магазине «19 октября».

Нетерпеливо открываю книгу... И, честное слово, не знаю: то ли смеяться, то ли слезу смахнуть; то ли возрадоваться за нас и за Александра Васильевича, то ли воскипеть благородным негодованием опять-таки за нас и за философию Александра Васильевича.

Предложу свою версию рождения этой книги. Два кандидата технических наук — А. А. Карулин и И. В. Мирзалис

---

[5] РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 5.

[6] История философии в СССР. В 5 томах. Т. 3. М.: Наука. 1968. С. 321—323.

[7] Ю. А. Школенко. Космос, человек, книги//Новый мир. 1983. № 10. С. 229. Его же: Философские аспекты космонавтики//Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1985. № 6. С. 19. Константин Феоктистов. К звёздной мечте. Беседу вёл Валерий Родионов//Альманах библиофила. Вып. 18. М.: Книга, 1985. С. 48.

[8] Александр Шуплов. Книга умирает... Книга живёт! В гостях у лауреата Ленинской премии Вячеслава Всеволодовича Иванова//Книжное обозрение. 1988. № 29. 15 июля. С. 3.

[9] С. Г. Семёнова. Николай Фёдоров. Творчество жизни. М.: Сов. писатель, 1990. С. 312—316.

[10] Светлана Семёнова. Русский космизм//Свободная мысль. 1992. № 17. С. 81—82.

[11] Светлана Семёнова. «...Бесконечное ближение человечества к Богу». А. В. Сухово-Кобылин как мыслитель//Свободная мысль. 1993. № 5. С. 105—111.

[12] Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С. Г. Семёновой, А. Г. Гачевой. Вст. статья. С. Г. Семёновой//М.: Педагогика-Пресс, 1985. С. 3, 10—11, 28, 49—62.

посидели в архиве, почитали некоторые рукописи Сухово-Кобылина. Как и все, восхитились глубиной и оригинальностью его суждений, его провидческим даром. Как и все, изумились: неужто до сих пор не опубликовано? Сделали выписки, сгруппировали их по темам, написали краткое предисловие. Посчитав на этом своё дело завершённым, кандидаты технических наук начали в 1989 году (судя по дате предисловия) поход по столичным издательствам, где им, вероятно, вежливо объяснили, что философия и текстология — это тоже определённые науки, которые им бы не худо изучить, прежде чем готовить к печати сборник философа. А. А. Карулин и И. В. Мирзалис проходить философские и текстологические ликбезы порешили зазорным и продолжали стучаться куда только можно. Пока упомянутое таинственное «С. Е. Т» не рискнуло напечатать их сборник в его первозданном виде, без всяких там редакторских придирок. Да и кому же цепляться к составителям сборника, ежели они, то есть составители, сами себя назначили и редакторами!

Клянусь, я не подозреваю редакторов-составителей ни в погоне за славой, ни за валютой. Намерения у них наверняка были самые благородные, просветительско-альтруистические: познакомить читающую публику с учением Сухово-Кобылина. И, конечно, какой спрос с советских кандидатов технических наук за познания в области философии, литературы, истории, текстологии. Но дивно, что учёные, оформлявшие свои диссертации по строгим ваковским правилам, не имеют хотя бы туманного представления не токмо об основательном справочном аппарате, но даже о самых простецких примечаниях.

Да, в книге, где впервые печатается сложный философский текст, который с ходу не разгадает и специалист, обошлись без всяких примечаний, без элементарных пояснений, без перевода хотя бы не так часто встречающихся терминов. От читателя засекречены точные даты (или приблизительное время написания) публикуемых фрагментов и цитат.

Орфографические и синтаксические особенности стиля Сухово-Кобылина (скажем, написание важных для него, ключевых, как нынче принято говорить, слов с прописных букв; отточия, как правило, с четырьмя точками) почти сплошь преспокойно переводятся на язык родных осин. Опубликованная на с. 105 фотокопия начала философского фрагмента красочно иллюстрирует текстологическую выучку редакторов-составителей. У Сухово-Кобылина все важные понятия выделены прописными буквами, а у наших публикаторов эти принципиальные выделения ликвидированы. Не разобрали они по-гречески написанное знаменитое выражение Гераклита «всё течёт» (кстати, тут же переведённое Сухово-Кобылиным!) и без всяких там мудрствований заменили его тремя точками: кто поймёт, чьи это точки — то ли самого философа, то ли его редакторов-составителей. Текст «...определил Модальность Времени как Т е к у ч е с т ь...» переиначен так: «...определил модальность времени, наз. текучесть...».

Иногда монтаж цитат из рукописей Сухово-Кобылина абсолютно фантастичен. Читаем подряд три предложения, разделённых точками. Запомните: точками, а не отточиями. Вы думаете, что это единый текст философа? Как бы не так! Первое предложение, судя по сноске, переписано с л. 51, второе — с л. 79, третье — с л. 107 единицы хранения 67 (редакторы-составители почему-то называют единицу хранения — дело). Не воскликнул бы снова Александр Васильевич, доведись ему узреть этакое самоуправство, что голова «будет криком кричать, что Головы, мол, нет».

Правда, у А. А. Карулина и И. В. Мирзалиса, редакторов-составителей книги «Учение Всемир», есть в запасе серьёзный контраргумент. Хорошо ли, худо ли, но они первыми опубликовали множество уникальных записей Сухово-Кобылина, наиболее полно познакомили читателей с его философским учением. Почему же научной публикацией философского наследия Сухово-Кобылина до сих пор не удосужились заняться ни авторитетные учёные, ни солидные издательства? И в самом деле — почему?

ВИКТОР СЕЛЕЗНЁВ

В. Н. ТОПОРОВ. **Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Москва, 1995.**

Выход этой новой большой книги академика Владимира Николаевича Топорова — событие в русской, да и мировой культуре. Но прежде — несколько слов об авторе. В. Н. Топоров — фигура пока что несколько загадочная для нас. Он уже в 60-е годы прочно занял своё место в науке, удивляя окружающих фантастической

работоспособностью и глубиной, разносторонностью своих познаний в гуманитарной сфере мысли — будь то древние и новые языки, индология, балканистика, славистика, мифология, фольклор, историческая поэтика, семиотика, античность, русская литература от житий святых до поэзии Ахматовой и пр. Очевидно, из-за этой его невероятной продуктивности у него не остаётся времени ни на какую общественную деятельность. В любом случае, он уже давно в одном ряду со своими великими учителями — А. Н. Веселовским, А. Ф. Лосевым, М. М. Бахтиным, Ю. М. Лотманом (двум последним Топоров посвящает отдельные работы из книги «Миф. Ритуал...»).

Что характерно для манеры Топорова-исследователя? Прежде всего это широта взгляда, неторопливость и спокойствие тона. Ведь учёный пишет, так сказать, sub specie aeternitatis, под знаком вечности, как выразился Б. Спиноза о деятельности духа. В. Н. Топорову ничего не стоит создать работу, в которой около половины текста будет отдано примечаниям (ср. постоянные дополнительные параграфы в текстах Гегеля), развернуть на двух-трёх страницах аргумент, основанный на индо-европейском языковом корне «стер», «стор» — «распространяться, расширяться», откуда и праславянское «стор-н» — сторона, пространство, иностранный и пр. (Миф. Ритуал, стр. 564—566). Учёному чужды как гелертерство, снобизм интеллектуала, так и тяга к популярности. Его идеал — естественность стиля, свободное соединение простоты и подлинной учёности, предполагающей высокий уровень читателя. Кстати, аналогичный сплав сложности, глубины и простоты исследователь обнаруживает у Достоевского, Гоголя, Гёте и других гениальных творцов. Учёный не снизойдёт до того, чтобы растолковать нам такие редкие термины как «вербигерация» (повторение бессмысленных фраз сумасшедшим) или «айсхрологический» (безобразный, страшный). Он зачастую даёт без перевода латинские, древнегреческие, польские, немецкие и прочие иноязычные тексты, хотя, если ему нужно, сопоставляет их с русскими версиями. Так поступали учёные в XIX столетии, к этой манере пора возвращаться и нам.

В 1998 году учёный мир будет отмечать семидесятилетие академика В. Н. Топорова. В дальнем преддверии юбилея попытаюсь хотя бы наметить ту главную цель, реализации которой посвящены труды русского филолога. Частично он сам формулирует её в кратком предисловии к работе. Это «проблемы мифологического, символического, архетипического как высшего класса универсальных модусов бытия в знаке» (стр. 4). А если проще, то это значит, что В. Н. Топоров мечтает внести свой вклад в раскрытие глубинных основ бытия (и Небытия-Ничто, смерти) и того, как человеческая культура способствует бытийствованию этого — космического в пределе — Бытия-Небытия.

Задача, что и говорить, грандиозная. Отсюда и неистовый темп работы учёного. И надо лишь надеяться, что никакие инфляции не остановят потока публикаций его работ, которые, судя по замыслу автора, должны выстроиться в новую энциклопедию человеческого духа в той стадии его, какой он достиг на рубеже третьего тысячелетия нашей эры.

А теперь о самой книге. Её композиция, на первый взгляд, может казаться случайной, подбор работ — гетерогенным. В самом деле, что общего между анализом образа Плюшкина и «минус»-пространством у С. Кржижановского? Или между «Петербургским текстом русской литературы» и «психофизиологическими основами «поэтического» комплекса моря»? Но автор смело располагает всё это и многое иное в пространстве своей книги, ибо он уверен в истинности своей исходной посылки: «вся совокупность текстов русской литературы» — это единый текст, отмеченный «семантической связностью», «кросс-жанровостью, кросс-темпоральностью, даже кросс-персональностью» (стр. 194). Сие означает: русская литература — это не только совокупность таких-то авторов, таких-то книг, но и прежде всего общая природно-историческая, материально-духовная, запечатлённая в мифопоэтических системах основа, которая в процессе исторического бытования порождает литературные тексты, которые, в свою очередь, накладывают свой отпечаток на жизнь русского народа.

Одной из заслуг академика В. Н. Топорова является то, что он настойчиво и во всеоружии современных научных аргументов приобщает русскую филологию к тому уровню мышления, который давно уже освоен крупнейшими представителями мировой гуманитарной мысли. Учёный исходит из того, что текст — это гибкое, диалектическое и «игровое» понятие, текст живёт по-настоящему лишь в сложной и бесконечно развивающейся системе

превращений и взаимопревращений: тексты природы-ноосферы-культуры воздействуют на творца литературного текста, который, в свою очередь, «организует» как жизнь и личность своего создателя, так и хронотоп культуры. Или, как пишет автор, «поэтика текста всё настоятельнее нуждается в освещении со стороны поэтики «творения», позволяющей... сформулировать тезис об изоморфизме творца и творимого, поэта и текста» — вплоть до парадоксальной формулировки «текст творит автора» (стр. 428).

Этот тезис и позволяет Топорову спокойно (и, надо полагать, не без доли томасманновской иронии) выстраивать единый текстовый ряд своей книги, в котором на равных правах располагаются страницы Гоголя, Достоевского, А. Белого, Мандельштама и кладбищенские эпитафии, устные апокрифы, личные воспоминания автора, графитти на лестничных клетках такого-то дома, наконец, ...вполне обсценные надписи в общественных уборных (см. стр. 391—392, 399). А почему бы и нет? Ведь последний вид «низового» творчества тоже имеет свои «мифопоэтические» корни, которые автор на полном серьёзе исследует, обнаруживая, например, в карнавальном стишке типа «Для царя здесь кабинет...» жанр архаической авто-загадки и трансформацию модели мирового дерева!

Теперь выскажемся по отдельным работам, составляющим книгу. Начинается она статьёй, носящей «дерзкое» название «Апология Плюшкина». Учёный вступает в спор с самим писателем и пытается доказать, что Гоголь явно несправедлив к своему персонажу. Я бы не назвал эту полемику большой удачей В. Н. Топорова, но вообще диспут подобного рода не бесполезен, он лишний раз свидетельствует о гениальности творца, сумевшего создать образ такой силы и такой живости, что он, этот образ героя, может даже обращаться против своего создателя (что, в конечном счёте, и имеет в виду учёный). По мысли исследователя, образ Плюшкина был «опасно деформирован» Гоголем — острейшим наблюдателем жизни, заострившим в этом типе наше внимание на бездушном «вещизме» в противовес всему живому, что сам же писатель внятно прорисовал в персонаже (предыстория Плюшкина, ландшафт плюшкинского сада, система лирических отступлений, «обрамляющих» его фигуру и т. д.). Странно, что при этом исследователь не заметил (или не захотел принять во внимание? бог весть) такую «острую» деталь: сам Н. В. Гоголь в письме к Н. М. Языкову сказал: «если бы ты мог сказать... то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома...». Речь шла, судя по контексту всей переписки Гоголя с поэтом, об идеях христианских и патриотических.

Так что Гоголь и сам прекрасно сознавал, что его «Мёртвые души» открыты для критики, он надеялся на некое чудо духовного воскресения и для Плюшкина. Не учитывая этого, исследователь обедняет свою работу, хотя и в ней мы находим целые россыпи интересных наблюдений, неожиданных параллелей, частных и обобщающих мыслей.

По-другому полемична следующая статья в книге, посвящённая повести Достоевского «Господин Прохарчин». На этот раз учёный спорит не с писателем, а с критиками, которые, по мнению В. Н. Топорова, всё ещё не оценили в должной мере эту вещь. Между тем повесть представляется ему «лабораторией» новых форм, «вехой в эволюции русской прозы» (стр. 114). В принципе можно согласиться с этим выводом, но с одной оговоркой: автор, увлечённый своими выкладками, заявляет, будто «поэтика Достоевского ещё не написана» (стр. 117), хотя сам же анализирует её, то опираясь на Бахтина, то отклоняясь от него, но не упоминая своего учителя. Любопытны три приложения к статье, в которых «архетипический» и мифологический пласт повести расширяется и дополняется биографическими и историческими ассоциациями, находимыми учёным в тексте произведения.

Следующая и специально посвящённая М. Бахтину работа рассматривает структуру романа «Преступление и наказание» в аспекте «архаических схем мифологического мышления» Достоевского. При этом — как и вообще во всей книге — В. Н. Топорова особенно интересуют проблемы организации художественного пространства в литературе. Здесь я, кстати, нахожу лестный для себя момент: независимо от этой, неизвестной мне тогда работы В. Н. Топорова я в статье о «Тропике Рака» Г. Миллера (1992) ставлю на первое место, вопреки М. Бахтину, в хронотопе пространство, подчиняя ему время. Учёный поступает так же, только его аргументация в пользу данного положения звучит куда весомее, солиднее. Чисто внешним выражением этой основательности служит хотя бы «шлейф» из десяти приложений к статье, не считая ещё ста сорока двух примечаний.

Статьи о Достоевском подводят нас к центральной части книги — к работам

о «Петербургском тексте русской литературы». Автор подчёркивает, что это вводимое им в нашу филологию понятие не равнозначно понятию «литература о Петербурге» (стр. 259—261). Для исследователя важно здесь всё — и сами тексты, порождаемые в литературе петербургской реальностью, и город как таковой, который «говорит нам своими улицами, площадями... людьми, историей, идеями и может быть понят как своего рода гетерогенный текст», а этот последний, вместе с литературой о нём, войдёт в «некий синтетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели» (стр. 274—275). Читая эти работы В. Н. Топорова, мы многое узнаём о великом городе, о быте его и о истории, о «мифе» Санкт-Петербурга. Естественно, что не в меньшей мере автора интересует и «московский текст» нашей литературы, многообразные виды его сцеплений и взаимоотталкиваний с текстом «петербургским», хотя учёный понимает, что охватить все аспекты проблемы он один не в силах.

Чрезвычайно ценна статья о «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама, в которой В. Н. Топоров, опираясь на учение К.-Г. Юнга о коллективном подсознательном и на феноменологию Гуссерля, реконструирует семантику раннего творчества поэта, в основе которой — «переживание собственного тела», причём переживание, связанное с нашей «прапамятью», с тем, что было с нами «до речи и даже до рождения» (стр. 435), с тем, что только настоящий поэт улавливает и воплощает в своих образах и «ритмообразующих структурах».

Не менее увлекательна большая работа о «минус»-пространстве Сигизмунда Кржижановского (1887—1950), этого оригинального писателя, который был при жизни «не востребован» и только сейчас доходит до читателя (хотя ещё в 30-е годы он дал сценарии к фильмам «Праздник св. Йоргена», «Новый Гулливер» и др.). Работа В. Н. Топорова — первое фундаментальное исследование о творчестве этого художника-«маргинала», эксцентричного поэта-мыслителя и одного из творцов «московского текста».

Завершается книга академика статьёй «О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах». Здесь, как и всегда, исследователь основателен и оригинален: он свободно переходит от Пастернака к Гельдерлину, от Тургенева к Томасу Манну и Полю Валери, от бога смерти и моря Варуны к Сартру и Ремизову и пр. Пора и нам заканчивать рецензию, ибо, как пишет автор книги, «здесь нет возможности прослеживать далее изоморфизм пренатального развития (связанного архетипически с образом океана.— **В. В.**) и таких мифопоэтических символов, как мировое древо, мировой столп, мировая нить, пуп и т. п.» (стр. 608). Не удержусь под занавес ещё от одной цитаты, которая была бы вполне уместна в рецензируемой книге. Поэт и мыслитель М. Волошин в статье «Театр как сновидение» (1913) говорит: «Наше «я» — свиток. Наше тело — летопись мира. Оно есть точный отпечаток всей нашей эволюции». Знай мы язык этого свитка (-текста), «мы бы узнали изнутри историю царства позвоночных, в кровеносной системе угадали бы волны, течения, приливы, отливы древнего океана — праотца жизни».

Академик В. Н. Топоров, исследуя тексты природы, человека и искусства на путях их взаимодействия, помогает нам познавать Бытие, его законы и его тайны.

В. ВАХРУШЕВ

«Эта поддержка выражалась в форме гонорара». Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1995, № 6.

Ещё одно документальное подтверждение продуманности, а не спонтанности отношения большевиков к проблемам литературы и искусства.

В середине 1922 года один вождь — Л. Троцкий — поставил вопрос о подкупе наиболее талантливых молодых художников пера, оставшихся, вернувшихся или подрастающих в России, а другой вождь — И. Сталин — безоговорочно и практически его поддержал. «Вестник Архива» публикует заверенные машинописные копии нескольких документов, основной из которых — Записка Л. Д. Троцкого в Политбюро ЦК ВКП(б) «О молодых писателях, художниках и пр.».

Начав с «несомненной» угрозы «растерять молодых писателей, художников и пр., тяготеющих к нам», Лев Давыдович предлагает ряд практических мер к их приручению. Это учёт каждого при Главном цензурном управлении, с целью выработки отношения к ним цензуры, партийной критики и материальной поддержки нужных. Это указание «редакциям важнейших партийных изданий (газет, журналов), чтобы отзывы об этих молодых писателях писались более «утилитарно», т. е. с целью добиться определённого

воздействия и влияния на данного молодого литератора». Это указание цензуре на «педагогический уклон» в работе, для чего предлагаются три категории произведений, для разного к ним отношения. Примечательно, что если **строгость** (подчёркнуто здесь и далее автором «записки») надо проявлять к явно буржуазным изданиям, а **беспощадность** к «меньшевистско-эсеровским», то «внимательного, осторожного и мягкого отношения» требуют «произведения и авторы, которые хотя и несут в себе бездну всяких предрассудков, но явно развиваются в революционном направлении». Этих вовсе не надо запрещать, а если автор упорствует после работы с «подведённым к нему товарищем» и не соглашается на переделки, то произведение следует публиковать, «но в то же время появляется под педагогическим углом зрения написанная критическая статья».

Поскольку партийная печать откровенно официозна, Троцкий предлагает «создать непартийный чисто художественный журнал под общим твёрдым руководством, но с достаточным простором для индивидуальных „уклонений"». Для чего надо «ассигновать некоторую сумму денег».

А? Даже уклонения писателей заносились в расходную книгу режима, и когда, в —22 году!

Уже через 3 дня, по поручению Сталина и с его запиской, членам Политбюро рассылаются материалы для принятия решения «о моральной и материальной поддержке молодых поэтов».

Сталин не просто поддерживает, но развивает положения Троцкого, явно тоньше, изощрённее последнего понимая дело: «Пытаться пристегнуть молодых писателей к цензурному комитету или к какому-нибудь «казённому» учреждению, значит оттолкнуть молодых поэтов от себя и расстроить дело». Опираясь на идеи Записки, написанной по его поручению замзавом агитпропа ЦК Я. Яковлевым, Сталин предлагает создать творческий союз, «скажем, Общество развития русской культуры или чего-нибудь в этом роде», и поставить «обязательно беспартийного, но советски настроенного» писателя во главе. (Он даже называет свою кандидатуру — Всеволод Иванов.) Примечательно, что Сталин, вслед за Яковлевым, идёт дальше Троцкого, ставя на учёт не только молодых, но всех литераторов вообще. Яковлев докладывает о политической лояльности шести групп: старые писатели, примкнувшие к революции (Брюсов, Городецкий, Горький) пролетарские писатели, футуристы, имажинисты, «Серапионовы братья» и «ряд колеблющихся, за которых идёт настоящая война между лагерями эмиграции и нами (Борис Пильняк, Зощенко и т. д.)», а также «идущие к нам через сменовеховство» — Алексей Толстой, Эренбург.

И Сталин и Яковлев подчёркивают «значительную» материальную поддержку дела.

А ещё через 3 дня, 6 июля, выносится Постановление Политбюро по этому вопросу, в основе которого откорректированная, с учётом сталинских, очевидно, поправок, Записка Троцкого. Вот когда машина заработала! А то ведь заслуга в создании Союза писателей кладётся целиком на совесть Алексея Максимовича в 30-е годы. Верность предложенного Троцким и мгновенно оценённого Сталиным и другими курса на прикармливание писателей подтверждается всей долгой историей советской литературы. Было на этом пути много «нюансов», и пряник с годами всё успешнее сочетался с кнутом, но сущность оставалась неизменной.

К. Симонов вспоминал, как собранная вождём писательская верхушка с удивлением услышала от него предложение превратить худосочный еженедельник «Литературная газета» в некий неофициальный, с оппозиционным душком орган, «который может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения». Возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать своё дело.

Я хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах».

И, естественно, затем было сказано: «А то, что вам будет надо для того, чтобы выпустить такую газету, вы должны попросить, а мы должны вам помочь».

И разумеется, «помогли», взяли на содержание «оппозиционный» орган, чья «смелость» нередко восхищала на протяжении многих лет читателя.

Взаимоотношения власти и литературы наглядно иллюстрируют верность курсу, взятому ещё в 22 году, по идее злейшего врага дядюшки Джо — иудушки Троцкого.

Серьёзные всё же соратники были у автора «Партийной организации и литературы».

Б.

ВАЛЕРИЙ ПОДОРОГА. **Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992—1994 годов. Москва: Ad Marginem, 1995.**

Среди многочисленных новых издательств московское «Ад маргинем» выделяется подчёркнутой элитарностью издаваемых научных текстов — без всяких скидок по отношению к читателю. Это и хорошо и — немножко плохо, о чём разговор ниже. Да взять хотя бы само латинское название издательства, что оно значит? Редсовет (В. Подорога, А. Иванов и др.) переводит как «Философия по краям». На мой взгляд, неудачно. О каких «краях» речь? Может быть, это края, обочины магистральной мысли? Нет, конечно. Не лучше ли было сказать «философия без берегов», подражая нашумевшей в своё время книге Р. Гароди. Или хотя бы «выходящая за края» общепринятых направлений.

Но обратимся к самой книге. Её автор весьма требователен к студентам, которым он читал свои лекции — от них ожидается отнюдь не поверхностное знакомство с избранными страницами мировой философии и культурологии — с маркизом де Садом и Ницше, с Бергсоном и Фрейдом, Гуссерлем и Сартром, Ж. Делезом и Ф. Гваттари, с трудами С. Эйзенштейна и М. Мамардашвили и т. д. Много ли у нас таких студентов? К тому же, работа Валерия Подороги не только «феноменологична», но и по-своему «феноменальна», это первый, насколько я знаю, в русской культуре оригинальный и фундаментальный труд, посвящённый телу или образам тела, взятого, естественно, вне его топологических (или анатомо-физиологических) характеристик.

Исследователь в первой же фразе книги предупреждает нас, что он даёт лишь «фрагменты введения в современную философскую антропологию», «именно фрагменты», поскольку он сознаёт невозможность представить это направление мысли в сколько-нибудь законченном и систематическом виде. Ведь перед нами не наука, и даже не философская система, а более или менее свободный набор текстов (-лекций), которые, легко соединяясь, могут в принципе столь же легко, хотя и не просто, деконструироваться, перегруппировываться, дополняться или сокращаться в стиле грамматологии Жака Деррида — а этот выдающийся учёный как раз и входит в редсовет издательства «Ад маргинем». Как бы то ни было, а В. Подороге удалось придать своей книге связную и гибкую форму: из трёхсот с лишним страниц почти треть в ней занимает глава «Понятие тела», намечающая сразу весь круг проблем, интересующих автора, а затем идут девять глав-лекций, ведущих нас от «образов тела» как целого и от впечатляющих символических картин «телесного низа» — через поиски метафорической «точки-в-хаосе» телесно-духовных построений — к лицу и «лицевости» как к феноменам высшей «объективной субъективности», либо как к некоему аналогу бахтинского диалога, где вместо голосов, их полифонии «звучат» и мучительно общаются Лицо и Не-Лицо, Лицо и Маска, плоть одухотворённая и «человек-машина», «человек-растение», какими их описывал слишком уж трезвый французский просветитель Ламетри.

Для студентов Российского гуманитарного университета, слушавших эти лекции, аргументация и стиль В. Подороги, видимо, были легко доступны, чего о себе сказать не берусь. Мне удалось воспринять лишь фрагменты мысли учёного — да ведь он и сам предупредил, что его штудии фрагментарны.

Очень ценно хотя бы то, что в работе идут рука об руку наблюдения «чисто» философские, культурологические и художественно-эстетические. Ибо — и автор этого не скрывает — вся его аргументация экзистенциальна: вдобавок к приведённым многочисленным цитатам он мог бы дать выдержки и из книги Сартра «Бытие и Ничто» (1943), где этот писатель-философ свободно-субъективно соединяет «науку» и «художество». Мне нравится, как В. Подорога «стыкует» опыт шаманского камлания с наблюдениями К. Леви-Стросса, мыслями Лейбница и образами сказочника Андерсена (раздел второй «Тело и символ» — сюда ещё просится и Э. Кассирер). Нравится и то, как лектор строит седьмой раздел, «Мераб Мамардашвили читает Марселя Пруста». Молодые Маркс и Энгельс в своё время сочинили «Критику критической критики». В. Подорога-лектор читает лекцию о том, как строятся лекции грузинского философа по поводу романа французского автора, который утончённо и мудро комбинировал впечатления бытия и искусства в прозе... Впечатляет и то, что для Мамардашвили Пруст был одновременно и художником и философом — в одном ряду с Декартом и Кантом. А почему бы и нет? Ведь и Гегеля, например, можно рассматривать как ху-

дожника, выстраивавшего готические храмы своих бесконечно ветвящихся текстов.

Каждую из лекций В. Подороги можно рассматривать и как отдельную работу, насыщенную глубокими мыслями, оригинальными наблюдениями, серьёзными выводами. Не претендуя на оценку авторской концепции в целом, выскажу отдельные соображения по тем или иным страницам книги.

Автор много и охотно пишет о «негативной диалектике» человеческого тела, которое, если можно так выразиться, поражает нас двояко — своей «космичностью», соответствием макрокосму, и своей «жалкостью», хрупкостью, бренностью. На философском языке лектора это звучит иначе и, в частности, так: «Целое нашего собственного тела не дано (и тем более не может быть протяжённо представлено), так как его образы изменяются в своих конкретных представлениях со скоростью потока переживаний. Образ нашего тела колеблется в потоке интенциональных переживаний...».

Обратим внимание на то, как с самого начала автор упорно говорит не столько о теле, сколько об «образе» и «образах» его. Между тем, в книге ни разу не разъясняется, как именно понимается учёным этот самый «образ» — понятие, как известно, близкое символу и в принципе неисчерпаемое. А ведь образ — это чрезвычайно «опасное» для науки явление, на что обратил внимание Ницше, заявивший: «истина — это армия метафор».

Увлечённый своими изящными и зачастую очень ёмкими, продуктивными научными построениями, В. Подорога не всегда замечает, как коварная система образов (не столько даже система, сколько динамическая совокупность их) иногда оборачивается незаметно против той или иной авторской мысли. Так, В. Подороге показалось необходимым вступить в спор с М. Бахтиным по поводу концепции диалога и карнавала применительно к творчеству Достоевского. Спорить с Бахтиным сейчас стало почти модно среди «высоколобых», да это и вправду интересно — см. хотя бы последние номера издающегося в Витебске международного журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (редактор — Н. А. Паньков). В. Подороге, например, важно «развенчать» бахтинские концепции во имя своего собственного прочтения Достоевского, но во имя этого учёному, как нам представляется, приходится прибегать к «художественным» построениям. Он считает, что Бахтин явно переоценил «неофициальность» телесного низа и что вообще «гротескно-карнавальное тело — это не тело «низа» (с. 62), оно — всего лишь «тело нормы, возведённое в степень» (там же). Здесь исследователь как будто забывает, о чём вообще речь. Он же прекрасно знает, что в «гротескном теле» Бахтина не один «низ», но парадоксальное переворачивание верха и низа. И что это за «норма» и какова её «степень»?

Подорога считает, что диалогическая форма, выявленная Бахтиным у Достоевского, есть всего лишь «теоретический конструкт, наложенный на подвижную... романную структуру» (с. 57). Он упрекает Бахтина в том, что тот «останавливает» процесс чтения Достоевского и этим искажает «психомиметическую вибрацию» его текстов (с. 57). Но если это так, то почему же буквально рядом, на с. 54, Подорога декларирует свой метод познания писателя: «я останавливаю процесс чтения» и пытаюсь из им самим выбранных «стоп-точек» «визуализировать читаемое». Где гарантия, что эти «остановки» лучше бахтинских? А заодно почему бы автору не сообщить читателям-студентам, что подобный метод постижения литературы назывался в англо-американской «новой критике» 30—40-х годов XX века способом «close reading», «пристального чтения». Которое, как известно, вовсе не служит гарантией точности и глубины восприятия текста.

В. Подороге так дорога и близка эта манера «пристального чтения» художественной литературы, что он посвятил целую лекцию аналогичному способу прочтения романа М. Пруста Мерабом Мамардашвили (лекции грузинского философа о Прусте вышли недавно в том же издательстве «Ад Маргинем»).

Мне особенно по душе те разделы книги, где автор демонстрирует виртуозное искусство шаманов магически оперировать с телом роженицы, когда в процессе буйного и вольного фантазирования это страдающее тело одновременно как бы «гиперболизируется», вырастает — в мелодекламации шамана — до космических размеров и как бы «литотируется», уменьшается мысленно до точки. Эта вторая глава книги, названная «Тело и символ», помогает «визуализировать» тот факт, что бахтинский хронотоп в искусстве есть прежде всего динамическая совокупность образов-метафор.

Чрезвычайно ценны и рассуждения автора о символике точки, о связях этого

древнего символа с образами «дыры», «круга», «криволинейного движения» и пр.

Многое ещё можно сказать о «Феноменологии тела», но лучше пусть читатели, которых она заинтересует, сами обратятся к этой оригинальной и серьёзной работе.

В. ВАХРУШЕВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА: **Сборник статей. Саратов: Издательство Саратовского государственного педагогического института, 1995.**

Сборник статей о В. В. Ерофееве открывает серию тематических изданий Саратовского межрегионального центра по изучению художественного текста. В дальнейшем планируются выпуски, целиком посвящённые поэтике Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, А. С. Пушкина, А. П. Платонова, Н. В. Гоголя, Б. Л. Пастернака.

Случайно ли Венедикт Ерофеев оказался во главе ряда?

Усталость литературы неизбежно провоцирует усталость филологической рефлексии. Ерофеев — один из последних героических персонажей не только истории русской литературы, но и филологии — отечественной и зарубежной. Поскольку, кажется, именно «Москве — Петушкам» было суждено стать пока последним по времени коллективным переживанием текста как явления экзистенциального. Триумфом Венедикта Ерофеева в конце 80-х закончилась «прекрасная эпоха» русской литературы, что бы ни подразумевал под этими словами читатель: утрату «литературоцентричности», «смерть советской (или вообще —) литературы», «смену культурной парадигмы» или всеобщее запустение и оскудение. Здесь не Ерофеев выступил в роли пограничной фигуры, а запоздалая публикация его поэмы стала границей, отделяющей героический период русской словесности XX века от нынешней литературной повседневности.

Воздействие ерофеевской прозы на читателя времён «перестройки» ещё предстоит по-настоящему осмыслить, прежде всего, потому, что в первую очередь она несла представление о другой поэтике, о художественном языке, отличном от того, который «самый читающий читатель» привык понимать с полуслова. Во многом благодаря трагически-праздничному явлению «Москвы — Петушков» на официальном литературном горизонте, возник известный критический миф о «другой прозе», точнее, о том, что Ерофеев — только «один из...», только верхушка на редкость монолитного айсберга. И хотя дискуссии на эту тему уже стали достоянием истории, немногочисленная литература о Ерофееве, в основном, поспешно-мемуарная, продолжает поддерживать жизнеспособность упомянутого мифа, доказывая, что этот писатель вне «обоймы» немыслим. Именно поэтому теоретик, исследующий художественный мир ерофеевской прозы, сегодня ближе к тайне личности Венедикта Ерофеева, чем мемуарист или публикатор, выступающий в роли историка литературы, а сборник исследований в области поэтики его прозы претендует на нечто большее, чем просто заметный факт научной жизни Саратова.

Каждый из четырёх авторов сборника разрабатывает определённое направление анализа художественного текста, но, как бы строго ни соблюдался научно-теоретический этикет, выводы выходят за рамки теории.

К. Ф. Седов («Опыт прагма-семиотической интерпретации поэмы Вен. Ерофеева «Москва — Петушки») заканчивает свою статью следующим образом: «В свете категории авторского кругозора поэма «Москва — Петушки» предстаёт в виде апокрифического евангелия от Ерофеева, в котором пьяница и сквернослов Веничка обретает облик Сына Божьего, посланного в мир людей, вкусившего все страдания человеческие и распятого злой силой этого мира».

В статье В. И. Догалаковой «Структура и функции пространства-времени в поэме Вен. Ерофеева „Москва — Петушки"» поездка Венички в электричке на разных композиционных уровнях превращается в «странствие героя сквозь мифы истории и рифы культуры» и одновременно — в «блуждания героя в онтологическом пространстве (метасюжет философского романа): «Таким образом, анализ структуры и функции хронотопов позволяет глубже понять не столько литературный, но и экзистенциальный феномен Ерофеева, отразившего трагедию одиночества человека в условиях исторического абсурда и трагедию одиночества человека, оставленного Богом один на один с самим собой и миром».

Работа Ю. Б. Орлицкого смотрится несколько обособленно в таком заметно

философском контексте, поскольку посвящена сравнительному анализу текста «классического» и текста постмодернистского: «Кому на Руси жить хорошо» и пьесы Ерофеева «Шаг командора». Но и здесь автор не удержался от философского резюме: «Пиру на весь мир, пусть и не слишком весёлому, противостоит Пир во время чумы». Несомненный интерес для читателя эта публикация представляет ещё и потому, что она снабжена приложением, содержащим некоторые сведения о частотном словаре имён собственных в прозе и драматургии Ерофеева.

Завершающая книгу статья И. В. Вольфсон интересна не только исчерпывающе подробным исследованием моделей патологического сознания на материале произведений де Квинси и Ерофеева, но и своей приложимостью к некоторым явлениям современного литературно-издательского процесса. Тому, кто прочтёт эту статью, возможно, станет понятно, почему, например, маргинальный герой У. Бэрроуза (см. «Голый завтрак», «Глагол», 1994) по-русски заговорил на языке, довольно удачно временами имитирующем пьяную речь Венички. Именно поэтому многое в этой статье вызывает протест, поскольку изгойство Венички, как убедительно доказывают авторы предыдущих статей, имеет прежде всего экзистенциальную природу. Но попытки автора обнаружить в тексте Ерофеева признаки жанра исповеди, причём не с позиции теоретика, а с точки зрения психологии, при всей своей рискованности кажется неслучайной в контексте сборника.

Все четыре работы объединены, разумеется, не влиянием, а духом филологической мысли М. М. Бахтина, несмотря на то, что их авторы в теоретическом отношении отстоят от его метода довольно далеко. И дело здесь не только и не столько в том, что магические четырнадцать признаков мениппеи раз и навсегда срослись с ерофеевской поэмой, словно Вен. Вас. так и писал её, раскрыв перед собой «Проблемы поэтики Достоевского». Именно для теоретического стиля Бахтина характерно то неуловимое и ненасильственное перетекание мысли, когда труд теоретика неожиданно касается метафизических глубин бытия.

К этому остаётся добавить, что этот сборник, вышедший в Саратове тиражом 300 экземпляров, по нашим сведениям, остаётся пока единственным тематическим изданием, полностью отданным проблемам поэтики Ерофеева.

О. Л.

ЛЕВ ГУРСКИЙ. **Перемена места. Саратов: Изд-во «Труба», 1995;** ЛЕВ ГУРСКИЙ. **Опасность. Саратов; Изд-во «Труба», 1995.**

Романы Льва Аркадьевича Гурского, саратовца, ставшего гражданином США, завоевали в последние годы широкую международную известность и нуждаются ныне не столько в рекламе, сколько в аналитическом исследовании. В виде подступа к таковому я хочу дать сравнительную характеристику двух его романов, недавно выпущенных издательством «Труба». Сие название вызывает невольно юмористические ассоциации и хочется шутить, пусть и банально: мол, с таким Львом «Труба» не вылетит в трубу и пр. Но приглядевшись к шмуцтитульному листу романов, замечаем издательский знак — это же галилеева подзорная труба, которую учёный наводил на небо. Следовательно, юмор соединяется у издателей со вполне серьёзной заявкой на освещение тайн жизни.

Романы Гурского, судя по двум образцам авторской продукции, пишутся в популярном жанре «кремлёвского» постсоветского триллера-детектива, вбирающего в себя элементы «хоррор-фикшн» (литературы ужасов), фантастики, сатиры и юмора и пр. Такая гротескность и даже налёт карнавальности объяснимы русской историей. Маркс и Энгельс неоднократно отмечали, что великие всемирно-исторические события проходят две фазы — трагедии и фарса (так строились, кстати, и представления в аттическом театре). Не то у нас: ужасы кровавых разборок сразу и одновременно превращаются в комедию, пусть и наичернейшего юмора.

Лев Гурский, уловив эту закономерность, пишет свои триллеры весело, и это резко выделяет его книги из тысяч других образцов подобного жанра. Выделяет в лучшую сторону — хотя не обходится дело и без издержек.

Говоря иными словами, автор ведёт с читателем умелую игру, точнее, ловко организованную серию игр, переходящих друг в друга. Издатели, кстати, включаются в эти игры, оформляя, например, форзац романа «Перемена мест» как коллаж вырезок из якобы реально существующих сейчас московских газет, причём эта подборка «подыгрывает» содержанию романа. В то же время романист в специальном предуведомлении внушает нам, что он «не несёт никакой ответственности за возможные случайные совпаде-

ния имён, портретов, названий учреждений и населённых пунктов», за «непредсказуемое проникновение чистого вымысла в реальность». Зачем же тогда эта «газетная» маскировка под реальность на форзацах? И хорош «чистый» вымысел, если автор водит нас по хорошо знакомым улицам Москвы и Саратова, с жюльверновской обстоятельностью даёт описания реально существующих кладбищ и монументов, торговых комплексов и гостиниц, не говоря уж о разнообразных намёках на тех или иных живущих ныне и так или иначе известных деятелей. Сбить по возможности с толку читателя простодушного и дать читателю проницательному возможность насладиться разного рода догадками и предположениями о мере совпадений и расхождений между вымыслом и реальностью в романах — такова игровая стратегия Льва Гурского.

При этом не забыты и основные законы детективного жанра. Скажем, сколь бы ни был «крут» его сюжет, главный герой обязан оставаться живым и невредимым до конца романа, да и на протяжении всей серии романов о нём — независимо от количества (и качества) этих самых романов. А если в произведениях речь идёт об опасностях, грозящих целому государству или человечеству, то они, эти напасти, должны быть героем, по крайней мере, локализованы. Поэтому читать подобные книги — одно удовольствие. Когда-то великого химика Д. И. Менделеева спросили, почему он любит «Трёх мушкетёров». Смысл ответа был таков: «Убивают много, а никого не жалко!». Химик уловил игровую природу жанра и его психотерапевтический эффект. Вот почему, когда на сыщиков-персонажей Гурского обрушиваются с неумолимой ритмичностью одна беда за другой, читатель спокоен за наших суперменов: они и державу спасут (хотя бы на данный момент) и себя в обиду не дадут. И сколько бы ни наводили на них стволов, сколько ни давали зуботычин, сколько ни издевались вербально или ещё как-то, мы спокойны, и нас интересует лишь одно — как именно выйдет герой из очередной и, ясное дело, не последней смертельно опасной ситуации.

Лев Гурский прекрасно чувствует «изношенность» жанра, и он, играючи — в прямом и переносном смысле,— побеждает эту трудность тем, что идёт в бой с ней с открытым забралом. Он вводит в действие самопародию. Его сыщики, явно говорящие голосом автора, подчёркивают: все триллеры «давно придуманы американцами и поляками», а у одного из них фамилия — на «ский» (уж не сам ли г-н Гурский?), в том числе и фильм, то ли «Угроза», то ли «Опасность». Итак, в романе «Опасность» высмеян фильм «Опасность». В этом же романе муровец Маковкин «смакует» некий американский боевик «Кремлины» и пересказывает его сюжет так, что Максим Лаптев, главный герой «Опасности», не хочет с этими «Кремлинами» знакомиться. Но из анонсов издательства «Труба» мы узнаём, что «Кремлины» — роман опять-таки г-на Гурского. Автор как будто заранее раскрывает карты перед читателем: вот видите — мои темы, сюжеты, всё расхватано другими, всё затаскано, но всё равно это моё и я от него не отказываюсь.

Главные герои Гурского, видимо, похожи на своего создателя — они веселы, остроумны, говорливы, активны, оптимистичны, хотя и им знакомы приступы меланхолии, раздражительности, ожесточения. В принципе они не хотят стрелять и убивать и предпочитают, чтобы их враги либо убивались кем-то другим (а эти «другие» часто подворачиваются кстати!), либо погибали бы сами, напоровшись на непредвиденные обстоятельства. А поскольку этими врагами обычно бывают «гоблины», киллеры, подонки, то и смерть их нас, читателей, только утешает.

И если сыщик Яков Штерн вдруг признаётся, что в нём сидит «циничный мерзавец», который шутит даже «на тему смертоубийств», то эта меланхолическая нота быстро исчезает и шуткам снова нет конца: убийство — шутка, смертельная опасность — шутка, чудовищный монстр не ушёл от возмездия и над ним тоже надо посмеяться.

Конечно, не нужно думать, будто персонажи Льва Гурского — близнецы-братья, нет. Частный детектив Яков Семёнович Штерн («Перемена мест») — еврей со своим «еврейско-русским» комплексом — он переживает из-за своего носа-«шнобеля», он ненавидит русских фашистов и смеётся над русским «квасным патриотизмом» (образ издателя Пряникова), он повторяет выпад В. Гроссмана против русских (здесь они названы «нашими бабульками и дедульками»), у которых-де «уже в крови страсть к какому-нибудь ильичу, к какому-нибудь отцу родному» (стр. 120). Максим Лаптев, напротив, русак и исправный работник МГБ, лишённый как будто комплексов. Но его роднит с Штерном нелюбовь к отечественным фашистам («неистинным арийцам», как

он их называет), суперпрофессионализм, ненависть к врагам государства и прочие добродетели. Впрочем, стоит отметить ещё одно небольшое различие между этими положительными героями. В личной жизни Яков Штерн несколько разнообразнее, что ли, своего коллеги. Сначала он почему-то страдает буквально под пятою супруги (мазохизм?), а затем берёт реванш в интимных отношениях со своей клиенткой Жанной («птичкой»), оказываясь вдруг в роли маленького гиганта большого секса. У Максима Лаптева (друзья, очевидно, за глаза зовут его ласково «Лапоть») любовь вообще как-то за скобками: изредка он вспоминает о какой-то Ленке, хотя ни ему, ни читателям до этой мифической дамы дела нет.

Но выше всех этих сходств и различий — коренное, изначальное единство образов. Оно — в воплощённости героев словом, речью. Штерн и Лаптев наделены функцией рассказчиков, их повествование занимает львиную долю текста в обеих книгах. И как же охотно, с каким вкусом и удовольствием они говорят! Не забывая, впрочем, о своей основной цели, наши детективы охотно выступают и в роли гидов для любопытного читателя: мы узнаём от детективов, например, о различных книжных магазинах и издательствах в Москве, о топографии центральных улиц Саратова и т. д. Мало того, эти увлекательные рассказы то и дело превращаются в искусные юморески, которые вполне годятся для эстрады. Такова, например, имеющая вполне самостоятельное значение историйка с художником-модернистом, едущим из Раненбурга в Саратов. Вообще, юмор г-на Штерна подчас приобретает самоценный характер, герой «играет в слова», как он сам выражается, даже в опасные для него моменты. Штерн («звезда» в переводе с немецкого) — это как бы повзрослевший аксёновский «звёздный мальчик» — недаром один из романов Гурского посвящён Василию Аксёнову. Но основной, пожалуй, источник этого неиссякаемого юмора в романах — это Ильф и Петров. Есть и отсылки к соответсвующему тексту (глава «Телефонограмма от братьев Карамазовых», упоминание гробов мастера Безенчука и пр.) и прямая «наводка» — Максим Лаптев у книжного лотка советует покупателю: «Читайте классику... Ильфа и Петрова, к примеру. Тут вам и сюжет, и юмор» (стр. 160).

И эта классика мгновенно и творчески воплощается в саратовских эпизодах «Опасности», которые сам автор скромно, но уверенно считает «не скучными». Ещё бы! Да это просто цирк, фейерверк, карнавал, да ещё в увлекательной форме детектива. Как бравый чекист Лаптев пародирует жест руки каменного Ильича (хорош разведчик, привлекающий этим внимание к себе!), как он мчится от преследователей на «гибриде велосипеда и пылесоса», как бежит мимо музея Федина по лестнице во двор дома (угадывается набережная Космонавтов, дом № 3), где разыгрывается комедия ареста героя, достойная пера автора «Ивана Чонкина», и как ловко в гостинице «Братислава» муровец Юлий Маковкин мечет ананас в физиономию группенфюрера Миши Булкина — всё это читаешь на одном дыхании. Гурский — мастер подобных сцен, ловко комбинирующих «крутой» детектив с клоунадой. Кстати, автор не скрывает своего пристрастия к цирку и буффонаде: в обрамлении романа «Перемена мест» фигурирует милиционер — Пиноккио, Штерн, скрывшись за урной-пингвином, бросает пакет с йогуртом во вражескую машину и побеждает её, а Максим Лаптев разрядом из новогодней хлопушки превращает двух «гоблинов» в пару клоунов. Все эти «клоуны», ясное дело, вскоре погибают, но их ни капельки не жаль — ведь они уходят со сцены, отыграв свои гротескно-цирковые амплуа.

Щедро снабжает автор своих сыщиков и цитатами из самых различных произведений, причём этими цитатами герои просто играют, каламбурят, сплетают гирлянды из цитат, мифологических, сказочных, литературных, театральных, киношных, политических и иных артефактов и реалий. Майор Окунь воображает себя Цербером, но остаётся «рыбой», впрочем, говорливой. Юноша, выходящий из дома с книгой, похож и на Тома Сойера, и на «юношу бледного со взором горящим» (цитата из Брюсова), грызущего, однако, гранит науки (цитата из Троцкого) так, что слышна работа его челюстей (комическая метафора). Иногда эти «языковые игры» остроумны и удачны, иногда — нет. Очень хорошо, скажем, ложится в сюжет эпизод с немецко-русским словарём, в котором Штерн исследует гнездо слов с основой «доппель» (двойной). Но неприятно обыгрывание прозвища И. Курчатова «Борода» — тем более что художник Евг. Савельев на рисунке почему-то изобразил памятник не академику-атомщику, а Ленину. Неуместна насмешка над эпизодом убийства царевича Дмитрия в г. Угличе и т. п.

И ещё одно замечание под занавес.

Ю. В. Андропов у нас обычно изображается очень серьёзным человеком, таковым он явлен и в романе «Опасность». А вот лично знавший его работник Президиума Верховного Совета СССР Ю. А. Королёв в книге «Кремлёвский советник» (М., 1995, стр. 227) пишет, что Юрий Владимирович «был большим знатоком Ильфа и Петрова», «частенько пользовался бессмертными строками» их хрестоматийной дилогии. Льва Аркадьевича Гурского, по-моему, этот факт (если он верен, конечно) мог бы заинтересовать.

Остаётся добавить, что «Труба» сделает доброе дело, продолжая снабжать нас по сходным ценам добротной серийной продукцией, выходящей из-под пера (или из личного компьютера) писателя Гурского, мастера триллерно-детективно-познавательно-юмористического жанра.

В. ВАХРУШЕВ

На титульной странице рисунок Е. Мальцевой

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своём решении. Рукописи просим высылать бандеролью — посылки редакция не принимает.

При перепечатке материалов ссылка на «Волгу» обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **С. Г. БОРОВИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Ф. ВОЛОДИН, Н. В. ДЕГТЯРЁВА, А. Н. КИСИНА, В. Н. ПАНОВ, В. И. ПЫРКОВ, А. И. СЛАПОВСКИЙ, Н. В. ШУЛЬПИНА

Технический редактор **Г. И. Иванова** *Корректоры* **Е. Н. Белозёрова, Г. Б. Смольянинова**

Адрес редакции: 410002, Саратов, набережная Космонавтов, 3

Телефоны: гл. редактор — 26-26-44, ответственный секретарь — 26-44-92; отделов журнала, производственный и снабжения — 26-07-98, бухгалтерия — 26-06-63

Сдано в набор 20.02.1996 г. Подписано в печать 29.04.1996 г. Формат $70\times100^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 14,19. Уч.-изд. л. 16,197. Тираж 2950 экз. Заказ № 4.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Комитета Российской Федерации по печати. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59

Индекс 73067

ISSN 0321 — 0677 «Волга», 1996, № 4, 1—176